

РАССКАЗЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Любимый цирк



РАССКАЗЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ



Ульрих Бехер. *Гиакса и Гиакса*
Конрад Эйкен. *Два викинга два*
Ярослав Ивашкевич. *Зигфрид*
Агапито Хоакин. *Сын акробата*
Джованни Арпино. *Лилипутка Габи*
Элберт Карр. *Похищение кошки*
Г. К. Честертон. *Отсутствие м-ра Кана*
Марсель Эме. *Лилипут*
Стивен Винсент Бене. *Ангел был чистокровным янки*
Ивар Лу-Юханссон. *Лилипут и королева трапеции*
Лазар Добрич. *Трапеция смерти*
Вольфганг Хильдесхаймер. *Почему я стал соловьем*
Джордж Гаррет. *Прыжок*
Джордж Гаррет. *Лев*
Владимир Михал. *Под градом ножей*
Владимир Михал. *Кобыла на трапеции*
Владимир Михал. *Безмолвный кларнет*
Владимир Михал. *Индус и его змеиная семейка*
Элери Куин. *Смерть акробатки*
Франц Фюман. *Жонглер в кино, или Остров мечты*
Филлис Боттом. *Кусочек тюля*
Говард Майер. *За стеклом аквариума*
Бернар Кламель. *Хлыст*
Томас Вулф. *Цирк на рассвете*
Станислав Бубеничек. *Павиан Ферда*
Абраам Вальделомар. *«Полет кондора»*
Луиза Спитцер. *Странные люди*
Вильгельм Буш. *Любимый цирк*
Эрик Фрэнк Рассел. *Немного смазки*

*Любимый
цирк*

Москва
«Искусство»
1974

Сб 3
Л 93

Составитель Р. Л. Рыбкин

Предисловие Л. Г. Енгибарова

Л 80108-101 66-73
025(01)-74

© Перевод на русский язык, издательство «Искусство», 1974 г.

Шар на ладони

Дорогой читатель, перед вами книга о цирке.

Как все хорошие книги, она о людях. И как бывает с очень хорошей книгой, в ней много о каждом из нас.

Нет, нет, я понимаю, что далеко не каждый читатель смотрел вниз из-под купола цирка, когда тринадцатиметровая арена кажется дном глубокого колодца, а деревянный некрашенный кусочек потолка в полутора метрах над головой становится таким дорогим и близким.

Не каждый из нас знает, сколько стоят секунды победы на арене цирка, победы над собой, над немощью и слабостью тела, а главное — духа...

Единицы знают горечь и тоску одиночества, которыми приходится расплачиваться за проникновение в тайны смеха...

Но в каждом из нас, даже если мы в этом не сознаемся, живет мечта о сказке, в которой возможен полет без пропеллеров и турбин, где вещи подчиняются людям, а не наоборот, где смех вдребезги разбивает серость, обыденность и скуку. У этой сказки много названий, и одно из них — цирк.

Я никогда в своей жизни не встречал людей, которые бы говорили: «Я не люблю живопись».

Никогда не видел людей, которые бы презрительно бросали: «Не люблю музыку».

Не попадались мне и такие, кто бы хвастался тем, что в театре был раз в жизни.

Но довольно часто я слышал фразу: «Я не люблю цирк».

Впрочем, я не совсем прав — история знает одного человека, который совершенно откровенно говорил: «Я не люб-

лю живопись». Кто это? Это великий поэт Джордж Гордон Байрон. Что ж, возможно и такое. Неплохо было бы только перенять у великого поэта одну особенность: перед словами «я не люблю» он мог уверенно сказать «я знаю».

Авторы этого сборника знают и любят цирк. Да, любят, несмотря на то, что многие из рассказов — о неприглядном, старом цирке, но удивительно, что и самые «жестокие» из них написаны с любовью к человеку, к обычному человеку, живущему в трудном и всегда загадочном мире цирка.

Вы будете восхищаться мужеством большого артиста клоуна Гиаксы, о котором рассказал Бехер.

...Смеяться, переживая забавные приключения с семьей чешских артистов в юморесках Владимира Михала.

Вас ждет пронзительная новелла Филлис Боттом.

Вы почувствуете запах горячего хлеба и вкус хрустящих яблок в чудесном этюде Томаса Вулфа.

...И очаровательная стилизация Ярослава Ивашкевича.

И многое другое в этой доброй книжке ждет читателя.

Конечно, мир цирка, искусство цирка нельзя понять, не зная достижений советских мастеров.

Не думайте, пожалуйста, что я хочу поправить или дополнить великолепных авторов этого сборника, но не могу не сказать вот о чем.

Самым главным в цирковом искусстве во все времена было создание идеального героя. Его можно называть по-разному, но смысл в том, что это человек сильный, красивый, добрый, человек-победитель. И цирк всегда стремился к созданию такого образа, по создал его только советский цирк, и мне кажется, среди многих актеров и у нас и за рубежом сегодня один достиг сверкающего совершенства.

На манеж выходит атлет. Гибкий и стройный, безукоризненны черты мужественного лица. И — о чудо! — он не подвластен законам земного притяжения, над ним не властна гравитация. Он парит, взлетая с подкидной доски, уверенный и бесстрашный, ввинчивает в пространство пируэты и сальто, немыслимые, неповторимые.

Человек, победивший природу и слившийся с ней, ставший частью ее, как птица, вернувшийся к ней умудренным, всемогущим и щедрым.

Он стоит на манеже в белоснежном костюме, и кажется, что вскинутые вверх руки поддерживают купол цирка, иначе он рухнет от оваций.

Но вот вы узнаете, что это человек — один из победителей, раздавивших фашизм, что его тело и руки бро-

сали ревуший бомбардировщик на черную громаду Берлина сорок третьего года... Согласитесь, в этом есть что-то поражающее воображение, почти сказочное.

Имя этого советского артиста Владимир Довейко.

И вот еще по какой причине мне было необходимо вспомнить о нашем советском цирке. В этом сборнике во многих рассказах проходит мысль о том, что талант художника, виртуоза, природный дар, отшлифованный годами труда, в мире, где главное — деньги, превращается в нечто стоящее на уровне аттракционов «женщина с бородой».

Древнее искусство цирка, оплаченное засаленным золотом мещанина, становится поводом для издевательства над человеком, искусство перестает быть таковым, становится пародией на само себя.

Федерико Феллини недавно создал для итальянского телевидения фильм «Клоуны».

Умирает искусство клоунады.

Вот что вынес для себя Феллини в процессе работы над фильмом, вот о чем он говорит в нем.

И это о клоунах, о тех, кто является лучшим творением цирка, кто поднимает цирк до уровня высокого искусства.

Нет, не хочется в это верить, и не надо.

Не умрет клоун.

Грустный чудака или веселый забияка, иронический глупец или философ в глупейших ситуациях, в маске или без нее, с детства до глубокой старости он будет с нами, насмешливый мудрец с глазами нечального ребенка.

Чарльз Спенсер Чаплин: «Я клоун».

Спасибо вам, великий Маэстро, что вы именно клоун. Насколько с вами легче жить на земле.

Вспомните описанного профессионально и точно клоуна Бальтазара Гирла в романе Лиона Фейхтвангера «Успех».

Только клоун, отчаянный клоун продолжал жить и смеяться в жуткие коричневые годы правления сумасшедшего Адольфа. И он был на самом деле. За персонажем романа Фейхтвангера стоял реальный человек. Клоун № 1 довоенной Европы Вилли Грок. И сквозь смеющееся, хохочущее лицо на зрителя смотрели скорбные глаза, потому что смех в этом мире мог быть только нарисованной маской.

Клоун перешагнул барьер арены с приходом кино и телевидения, но он всегда останется клоуном, потому что клоунада — это, наверно, не профессия, это мировоззрение, способ глядеть на мир.

Перечитайте старого сказочника Ганса Христиана Андерсена — и вы побываете на представлении самого доброго клоуна в мире, хотя он и не надевал никогда больших клоунских башмаков.

Клоун будет необходим на космическом корабле будущего, утверждает в своем рассказе Эрик Фрэнк Рассел. Приятно с ним согласиться. И не важно, что это, может быть, будет выглядеть не так буквально, как в его рассказе «Немного смазки», но обязательно люди, покоряя световые годы, встречаясь с другими мирами, будут нести с собой частичку юмора, иронии и добра, которому учил их смешной человечек с маленькой желтой планеты диаметром в тринадцать метров, с коротким названием «цирк».

И на прощание.

Я долго жил среди людей цирка.

Видел совсем рядом непревзойденного жонглера и сидел за одним столом с рекордсменом-акробатом.

Разговаривал с королем гирь и делил тяготы передвижных цирков с семьей чешских музыкантов.

Дружил со слонихой Аидой и пользовался покровительством бегемота Матвея.

И не буду скрывать: как все, был безнадежно влюблен в королеву трапеции.

За многое я им благодарен, многое уже стирает время, а многое можно уже забыть: усталость от тренировок, боль от ушибов и падений. Не забывается только одно: когда в притихшем, переполненном цирке в центре манежа, в скрещении двух прожекторов, вы стоите на руках, медленно отрываете одну руку от пола и вдруг начинаете понимать, что у вас на ладони лежит земной шар.

Л. Енгибаров

Ульрих Бехер

Гиакса и Гиакса

Годонц де Колана
Д-р юр. п., адвокат
и нотариус
Санкт-Мориц, 13.VI.1938 г.

Господину К. Гиаксе
Радкерсбург
Германия (Остмарк)

Мой драгоценный Косто!

В сладостной надежде, что ты и твоя супруга пребываете и полном здравии, хочу, порядка ради, довести до вашего сведения, что собираюсь отбыть на Хвар. У нас в горах, как вам известно, в начале июля открывается курортный сезон; к тому времени мне, по профессиональным соображениям, следует вернуться из прекрасной Далмации. Жду, что и ты вместе с твоей глубокоуважаемой супругой придете туда не позднее 19-го с. м.; будучи твердо уверен в твоем согласии, я резервировал в гостинице Душана комнаты для вас и для себя. Отказа твоего, извини, я никоим образом принять не могу. Повторяю: никоим образом. Стало быть, никаких отговорок!

До радостного свидания.

Почтительно приветствует тебя старинный почитатель

д-р Год. де Колана

Несмотря на славяно-гермапо романские влияния, благодаря которым любители морфологии определяли Гиаксу при случае как помесь Гарибальди с Бисмарком, в облике

этого невысокого человека было что-то ветхозаветное; казалось, он принадлежит к куда более древнему народу, чем, скажем, евреи. Несмотря на раздвоенный подбородок, свидетельствующий о неиссякаемой энергии, едва ли не шаровидная форма носа и кустистые брови придавали ему неуловимое сходство с первобытным человеком, или, говоря языком мифологии, нечто кентаврообразное, что он и сам прекрасно сознавал и что лежало в основе одной из его терпких острот: «После моей кончины прошу снабдить мой череп эмалированной визитной карточкой — «Гиакса»; вовсе не желаю, чтобы спустя тридцать лет меня откопали как неандертальца номер два».

Десятки раз в различных городах Европы я заходил в его уборную то в цирке, то в варьете... Гиакса, как правило, являлся за час до начала своего номера, чтобы «рот-мистр» Магруч, в остальное время радевший о безупречной форме другого Гиаксы, а именно липицанского жеребца, мог без спешки сделать ему массаж, а сам Гиакса — сосредоточиться. В эти минуты он любил общество членов семьи или своего импресарио, одного из друзей по цирку или критика, заглянувшего с просьбой об интервью. Когда я впервые посетил Гиаксу в венском цирке Ренца, ему было около пятидесяти пяти, и моя старая приятельница Пола Полари, которая, собственно, и ввела меня в святилище, доверительно шепнула мне, что непосредственно после выступления, обычно длящегося 35—40 минут, Гиакса никого не хочет видеть, кроме Магруча и костюмера, даже жену или дочь: он испытывал потребность без свидетелей осилить усталость, равно как и боли в спине, вспыхивающие часто, а с возрастом едва ли не регулярно после выхода. У Гиаксы, надо сказать, было свое «слабое место» — тяжелая травма, полученная им в армии еще на рубеже нового века, когда ремонтный жеребец лягнул его в позвоночник; «нокаут», нанесенный конем, решил окончательно вопрос его перевода в резерв. Когда я входил в уборную, Гиакса, сидя перед зеркалом, тщательно покрывал фиолетовой краской нос, смахивающий на половинку граната и отличную вешалку для ярко-оранжевых, неестественно громадных усов, торчащих двумя лисьими хвостами. На соседнем стуле висел наготове мундир Полковника Полковина. Гиакса сидел, обнажив корпус, накинув на плечи махровое полотенце; меня неизменно вновь и вновь повергала в изумление не выправка и мускулатура стареющего артиста, а его белокурая с проседью растительность. Его грудь, сильные руки, лопатки густо покрывала поросль осенней

окраски с, золотистым оттенком, сквозь которую голубела разбросанная повсюду, и даже на спине, исполненная шрифтами различной величины и рисунка несмываемая татуировка: «Аида».

Неизменно возвращался Гиакса на свой родной остров, где его друг детства Душан Млич впоследствии открыл опрятную гостиницу без единого клопика.

Когда великий Гиакса пребывал на Хваре, островитяне не слишком-то с ним носились: делов-то, наш местный хочет отдохнуть. Но в июле 1936 года из Венеции на остров приехал один из величайших артистов — Паоло Фрателлини, — а по пути в Дубровник остановилась, желая приветствовать Гиаксу и почтить его исполнением ночной серенады, цыганская капелла лилипутов из Загреба под управлением Хуссейндиновича. Сидя в лоджии гостиницы «Сплит», Гиакса слушал концерт в свою честь бок о бок с Паоло, а на берегу росла толпа, пока лилипуты вынимали инструменты — четвертушечные скрипки, крошечные, как скрипка Грока¹, которой он выпиликал себе мировую славу, виолончель размером с альт, детский ксилофон. Меня глубоко изумило фортиссимо, которое удавалось извлекать малюткам из своих инструментов.

Под вечер следующего дня Гиакса, Млич, лилипуты и я предприняли небольшую прогулку на яхте. Паоло с нами не поехал, — известный библиофил, он пытался раздобыть инкунабулу хорватского гуманиста Ганнибала Лучима. Гиакса, с необычной для него экстравагантностью, украсил себя вишнево-красным герцеговинским беретом, точно воспоминанием о своем далеком островном детстве. Яхта оставила позади себя Пальмицан и устремилась на всех парусах к Иеролиму, на берегу которого паслось большое стадо овец. Гиакса поднял на руки протестующего Хуссейндиновича, первую скрипку цыганской капеллы, и спрыгнул на берег. В оливковую рошу, по которой пробежал ручеек, снесли две корзины с закусками — маринованные стручки, жареных цыплят, печеную каракатицу, овечий сыр, халву; батарею бутылок белого вина поставили и холодный источник, присоединив к ним водку разных сортов. По хорватскому обычаю, Душан провозгласил Гиаксу и меня тамадами.

— Позволь, милый Треблиан, — так порой называл меня Гиакса, — позволь, дорогой, взять тебя bras-dessus —

¹ Г р о к — псевдоним Адриена Веттаха (род. в 1880 г. в Швейцарии), пользующегося мировой известностью клоуна со скрипкой.

bras-dessou¹, — он редко брал кого-нибудь под руку, — и покинем-ка на четверть часика наш цирк.

Шагая сквозь редкую рощицу олив и ясеней, мы срезали угол островка. Вдали, на мраморной гальке, одна выделяясь на фоне белоснежной скалистой отмели, как вкопанная стояла белая лошадь. Она словно застыла и на расстоянии сотни шагов казалась наскальным рисунком — древнейшим в мире изображением лошади.

Мы прохрустели по гальке, подходя к отмели, и Гиакса, остановившись, позвал неподражаемым, глубоким на низких тонах и хрипловато-гнусавым на высоких, голосом — точно подал фаготом команду; отрывистая или протяжная, но всегда резкая, она звучала под куполами не одних только европейских цирков:

— Аргон!

Лошадь, едва очерченная на мраморном фоне отмели, силуэт, высеченный на камне рукой доисторического художника, не шелохнулась.

— Ар-гон! — позвал Гиакса, придавая голосу резкость Полковника Полковина.

Лошадь едва заметно приподняла голову. В двадцати шагах от нее я счел, что предо мной необычайно благородный, по величине и контурам чистокровный, еще молодой конь, неприрученный, пожалуй, едва прирученный белый жеребец. Не ускачет ли он в следующую секунду, выбывая копытами искры из гальки?

— Аргон? — спросил я, поглупевший от *dolce far niente*² жаркого вечера. — Ты его знаешь?

Гиакса поначалу не дал мне ответа. Когда же мы, соблюдая известную осторожность, приблизились к лошади, причем я невольно подражал Гиаксе, мне стало ясно, что мой правый, слабовидящий глаз здорово меня подвел: ухоженная старая коняга, которую возраст не в состоянии был лишить благородства, кляча, исполненная иллюзорной красоты.

— Мне ли не знать моего Аргона. Гиакса Пятый, — представил его Гиакса. — Липицанский жеребец на пенсии. Пенсионер номер шесть три года назад сломал себе, как ты, верно, помнишь, здесь на Хваре ногу, пришлось его умертвить. А это номер пять, мой липицанец времен инфляции. Перед выходом иной раз чуть нервничал. Я, впрочем, тоже, когда вспоминал, что мой гонорар за ве-

¹ Под руку (*франц.*).

² Сладостного безделья (*итал.*).

чернее представление утром наполовину обесценится. Обитает ныек здесь, на Иеролиме, вместе с овцами. Душан ежедневно справляются о нем... Аргон, — шептал Гиакса древней коняге — тот точно оцепенел, приподняв невзнузданную голову, и едва шевелил ушами — и ласково трепал его по нижней челюсти. — Да-да-да, мой милый, не нервничай — нет, не нервничай, нет-нет-нет.

Мы возвращались, хрустя по гальке, одолели небольшую дюну, на которой раскинули свои мечеподобные листья агавы, увидели по другую ее сторону толчею любопытных овец, еще раз оглянулись и увидели: дряхлый ли-ианец удаляется на одеревеневших ногах. Но вдруг он остановился, поднял голову, медленно повернул ее, застыл в этой позе, словно глядел единственным зрячим глазом в нашу сторону, и так, не отрывая от нас взгляда, он внезапно издал дрожащее, почти растворившееся в едва ваметном шуме прибой ржание.

— Черт побери, — тихо проговорил Гиакса. — Точно из иного мира донеслось.

Еще не достигши восемнадцати лет, Константин Гиакса поступил в качестве одногодичника-вольноопределяющегося унтер-канонира в императорский и королевский полк артиллерийского корпуса принца фон Лобковица № 13 в Аграме. Капитан его батареи — Венцель Грубаски.

«Всякий, кому случалось иметь дело с Венцелем Грубаски, мог быть уверен заранее, что сведет знакомство с профосом. Восемьдесят дней ареста ежедневно записывались в приказ и без разбора распределялись на восемьдесят одногодичников, и неизменно в строжайших условиях. Их отсиживали на нарах в арестантской, сущем клоповнике, а то и в «карцере», где на шесть часов надевали наручники и правую руку крепили к левой лодыжке».

(Из мемуаров Гиаксы
«Клоун-наездник»)

Как не утеснял капитан Грубаски Гиаксу, однако ж ничего поделать не мог, когда спустя год того отправили в Грац на экзамен офицеров запаса и он вернулся оттуда в первом офицерском чине — «одногодичник-вольноопределяющийся взводный командир, фейерверкер, намеченный к испытанию на практике с целью перевода в

кадровые офицеры». И все-таки Грубаски сорвал его производство в лейтенанты, аттестовав его только как «пригодно-го» вместо «особливо пригодного». Но Косто взял отпуск и отправился к Янко Пеячевичу, под командованием которого служил его отец. Тот похлопотал за него перед двумя своими венскими кузенами, фельдмаршал-лейтенантом графом Юксюл-Гилленбаидом и викарным епископом («перед Икспуп-пластырьбаптом и блудливым епископом»). С подобной протекцией сын капрала был произведен в артиллерийские лейтенанты, а капитан Грубаски к тому времени получил чин майора.

«Майор Грубаски — истязатель, лиходея и служака, сорокасемилетний старикан с короткой рыжей с проседью бородой для прикрытия зоба, красным бугристым носом, что вовсе не было следствием алкоголизма, и густым басом, срывающимся в команде на фальцет, — одним словом, дубина стоеросовая».

После императорских маневров в Беловаре лейтенант Гиакса сменил артиллерию на верховую езду и выиграл первые скачки в Сисанской степи, а его рыжий жеребец Кад стал победителем в охотничьем паркуре.

Удовольствие службы в аграмском гарнизоне Гиаксе отравила любовная драма; он просил о переводе в венскую императорско-королевскую тренерскую школу верховой езды и фехтования в районе Нейштадта — младшим тренером.

— Езжайте с богом, — проворчал майор Грубаски на прощание.

А был у него пунктик — он требовал от подчиненных дословного повторения своих приказов, и потому Гиакса рявкнул в ответ:

— Слушаюсь, ехать с богом!

Глаза майора застыли в две грязные ледышки.

Следующим летом в Пратере живую изгородь кафе «Зимородок» перемахнул всадник в мундире, увенчав свой прыжок в гущу испуганно заахавших и тут же разразившихся аплодисментами посетителей — среди которых сидел и брат директора будапештского цирка Ратай — превосходно выполненной левадой.

— Господин лейтенант, если когда-нибудь вы будете поставлены перед необходимостью уйти в отставку, приходите к нам, — обратился к нему прославленный артист, — Ратай сделает из вас «звезду» цирка.

Гиакса задумчиво усмехнулся и, пустив лошадь рысью, выехал на аллеи Пратера.

Со временем он вернулся в свой полк уже обер-лейтенантом (между тем как Венцель Грубаски остался, как и был, майром), сократив дистанцию между чинами, что Грубаски считал непозволительной дерзостью. Этажом выше прежней квартиры Гиаксы поселился тем временем чахоточный преподаватель гимназии, с которым Гиакса любил при случае поболтать о Лукиане. Однажды ночью пьяная орава офицеров, зафрахтовавшая цыганскую капеллу, ввалилась к Гиаксе, дурачась и распевая песни; испуганный со сна педагог, высунувшись из окна, пожелал всей этой солдатне провалиться в преисподнюю.

«Офицер, оскорбленный в присутствии третьего лица слогом или действием, обязан незамедлительно отомстить за оскорбление имеющимся у него холодным оружием».

Оснащенный подобным кодексом чести, капитан, старший по званию в этой пьяной компании, обнажил саблю. Гиакса, удержав его, рекомендовал возмущенному педагогу тотчас извиниться. Что тот, заикаясь, и поспешил сделать. Инцидент казался исчерпанным, однако он дал майору Грубаски желанный повод созвать полковой суд чести. Против обер-лейтенанта Константина Гиаксы было возбуждено «дело» в связи с тем, что он воспрепятствовал старшему по чину осуществить право на «оборону чести».

Гиакса «держался перед судом чести как клоун», был уволен из армии и переведен в резерв. Казалось, Венцель Грубаски торжествовал победу.

Год и три месяца спустя в Аграм, проведя часть отпуска в Будапеште, возвратился уланский ротмистр и, хохоча, рассказал в казино о новехоньком аттракционе, который публика ежевечерне встречает с восторгом и который ему также довелось лицезреть в цирке Ратай: клоун-наездник, именующий себя «Полковник Полковин». Нос артиста величиной с кулак, размалеван фиолетовой краской, пышные рыжие усы скрывают огромный зуб, исполинская сабля и фантастическая форма чертовски смахивают — кивером, увенчанным метровым черным конским хвостом, кофейного цвета мундиром и небесно-голубыми шароварами — на форму 13-го артиллерийского корпуса Лобковица. Конь его выступает с чрезвычайной важностью, но внезапно резко спотыкается о саблю. Клоун взлетает вверх и, совершив сальто, вновь оказывается в седле. Натужась, он хрипло-гнусаво, фаготным басом бранится до тех пор, пока не лопається его зуб — обычный воздушный шар. В подсумках его жеребца припрятан реквизит: труба, головные уборы и знаки различия разных чинов. Да, он не только

«полковник», но и полковой трубач, так фальшиво трубивший к атаке, что полковника трясло от ярости. Он канонир, который вместо орудийного выстрела добывается лишь трезвона будильника. Он канонир, капрал, лейтенант, капитан, майор и полковник в одном лице, и ему удастся не только самого себя ругать ругательски то визгливым стакато фагота, то громовыми раскатами трубы — нет, ему удастся даже величайший трюк иллюзионистов — перед самим собой вытянуться по стойке «смирно».

Но при всех его коленцах и кувырках он показывает совершенное искусство верховой езды, высшую школу, какую и в Вене, в Императорской придворной школе верховой езды, показать не стыдно. Аграмский ротмистр ни на секунду не усомнился: это Косто Гиакса. Но когда он после циркового представления пожелал узнать подлинное имя клоуна и навестить его, ему, как он ни скандалил, было и в том и в другом отказано.

Майора Грубаски, когда до него дошел этот слух, едва удар не хватил. Он поднял ужасный крик, дошел до военного министерства. Но выгнать из армии резервиста потому только, что тот избрал себе артистическую профессию, едва ли было допустимо. Да и за его прозвание, за бессмысленно искаженного «полковника», этого «Полковина», тоже, пожалуй, не накажешь. Ибо Венцель Грубаски, суть которого в столь фантастической форме была высмеяна в номере Гиаксы, вовсе не был полковником, — напротив, он остался майором (ежели не принимать во внимание повышение его в следующий чин клоуном цирка Ратай). Тем не менее суд чести вынес решение: разжаловать.

Однако один из старых полковых приятелей своевременно дал о том знать Косто, который успел уже перекочевать в Мюнхен — в те времена цитадель свободомыслящих художников — и выступал там с номером «Гиакса и Гиакса» в цирке Кроне. Когда ему вручили заказное письмо с решением суда, он ухитрился не принять его. Военное министерство забросало его двадцатью заказными письмами — двадцать раз он отказывался принимать письма. В конце концов документ погряз по нерадению чиновников в казенной пыли.

...А что Гиакса в 1908 году рассорился с Альбертом Шуманом (его цирк был в те времена знаменитейшим в Европе) и перешел к его злейшему конкуренту, Бушу, вышло не случайно. Посвятить лошадь в тайны «высшей школы» — для этого надобно от шести месяцев до полутора

лет. Если новоприобретенная красавица — тех, что имели успех, Шуман нежил, словно содержанок, — не обнаруживала способностей, он приговаривал ее к смертной казни: задешево сбывал торговцу кониной; с этим Гиакса не желал мириться. Своих партнеров (все липищанцы белой масти) Гиаксу Первого, Второго и Третьего он купил на придворном императорско-королевском конном заводе под Триестом; Гиаксу Четвертого, Пятого, Шестого и Седьмого, после кончины австро-венгерской монархии, — в Штирия. Всех их, достигших «преклонных лет», кроме Гиаксы Седьмого, прозванного «Гиакса Последний», он посылал на «заслуженный отдых» на Хвар.

...Когда разразилась первая мировая война, грубаски сочли, что пробил час отмщения. Кентавро-клоун, ходили слухи, будет призван в конную артиллерию рядовым и послан с маршевым батальоном на Восточный фронт. Вот уж истинно австрийская ситуация — с Балхаусплаца выпалили по Сербии объявлением войны, а венские газеты дискутировали, можно ли такого артиста, как Гиакса, отдать на произвол нескольких мстительных военных бюрократов. Одним из его почитателей был генерал Хен — начальник только что созданного военного управления печати при ставке; и так как артист с «офицерским прошлым», одаренный многими способностями, обладал и бойким пером, генерал без дальних слов вытребовал Гиаксу и качестве военного корреспондента, оскорбив смертельно всех грубаски. Либеральная газета «Нейе фрейе прессе» заручилась его сотрудничеством. Два года разъезжал Гиакса верхом — зимой в громадной меховой шапке — по передней линии восточного театра военных действий. Однажды он телеграфировал в редакцию целиком весь «Колокол» Шиллера, чтобы занять телеграф и чтобы его газета могла сообщить о падении Лемберга (Львова) на час раньше специальных выпусков конкурирующих газет. Но вот что с неудовольствием отмечали «наверху»: он не утаивал в своих сообщениях достоинств врага, писал, что русские мужики-солдаты предпочтут подставить грудь под пулю противника, но не вытопчут ниву, ища укрытия, писал, что австрийцы, точно одержимые, вешают без разбора сербов штатских, подозревая в каждом шпиона. К тому же он довольно скоро перестал скрывать от читателей свой пессимизм касательно исхода войны. А на третий военный год разразился крупный скандал.

Одна из статей Гиаксы вышла под заголовком «Долго ли еще продлится война? — Народ остался без подтяжек».

И хотя заголовок был взят в кавычки, а из текста следовало, что передавал он всего-навсего горестные раздумья бравого ездового, у которого фронтовой корреспондент взял интервью, грубаски, чуя близкий конец их власти, подняли истошный крик, слившийся с пронзительными ура-воплями, выпускаемыми над человеческой бойней. Левое крыло венских социал-демократов, памятуя об Аустерлице, воодушевленное речами Либкнехта против военных кредитов в рейхстаге, подхватило лозунг о «подтяжках». Бенедикт, главный редактор «Нее фрейе прессе» дрожал за свое место. А Гиакса вновь подвергся дисциплинарному взысканию: его лишили корреспондентского удостоверения. Дедушка Куят выхлопотал Гиаксе и его семье право убежища в Швейцарии.

...Я мысленно вижу Гиаксу с Гиаксой, ожидающих выхода, они стоят в усыпанном опилками проходе перед гигантским занавесом в цирке Фаверозинаги, в цирке Ренца или Гагенбека, Буша, Кроне или Кни, везде, где Гиакса выступал под именем Полковника Полковина. (В романских странах он гастролировал как командующий иностранным легионом полковник Дю-Совак, в англосаксонских — в шотландской национальной юбке, ниспадающей едва ли не до сапог, — как полковник Мак-Мак.) С высоты незримого из коридора балкона цирковой оркестр гремит выходной марш — пародийный сплав маршей Ракоши и Радецкого. Широченные черные шаровары, лакированные сапоги со сверхъестественно огромными шутовскими шпорами, на левом боку болтается чуть не до полу палаш, черный кивер с медным четырехглавым орлом и черным султаном, кофейного цвета мундир с золотыми пуговицами, ярко-красные воротник и обшлага, нос-гранат, едва не скрытый кудлатыми рыжими усами, огненно-красные кустистые брови — в таком наряде клоун-наездник ждет выхода, ласково треплет шею своего липицанца и, прежде чем вскочить в седло, гладит его по холке. Оглушительный грохот барабанов, буря рукоплесканий встретят Гиаксу, когда он по всем правилам верховой школы выедет на манеж. В цирке не приходится ждать придворной чинности Императорской школы верховой езды, а породистые липицанцы — это не бельгийские тяжеловозы, они легко начинают волноваться. И потому эксцентрик-наездник скорее успокаивает своего белоснежного коня внушением.

Но вот он легко вскакивает в седло; один из служителей — по традиции чех — поддерживает его палаш. Сзади стоят в ожидании два арабских полукровка, чаще всего во-

ронные, впряженные в бутафорские лафеты, на которых съезжились два ездовых (куклы, чуть меньше человеческого роста). Гигантский, шитый золотом занавес пурпурного бархата распаивается. Небольшая кавалькада предстанет взорам зрителей с номером «Гиакса и Гиакса».

«...Ксаночка, любимый мой соболеночек!

„Думалось мне поначалу, лучше уж пусть твой муж сообщит тебе злую весть: они, как нарочно, реквизируют нашего старого Гиаксу VII, да будто бы для нужд вермахта... Но когда я писала твоему мужу об этой напасти, то и в мыслях не держала, какое в миллион раз большее несчастье обрушится на нас в пятницу... а может быть, все-таки держала?»

Вместо того чтобы тотчас обратиться по этому делу к одному из знаменитых грацких адвокатов, твой отец, — а ты знаешь его внезапные приступы ярости — учинил чудовищный скандал... И вот в пятницу ни свет ни заря к нам и двух черных мерседесов пожаловали гестаповцы и забрали его; но тут-то Гиакса был спокоен, как никогда.

...Ты спросишь, моя единственная, любимая Ксаночка, что же я решила предпринять. Бежать топиться в Мур или глаза себе выплакать — толку мало... И я послала три телеграммы. Одну — президенту Франклину Делано Рузвельту... вторую — английскому королю и третью — Михаилу Ивановичу Калинин, Председателю Президиума Верховного Совета, причем сослалась на то обстоятельство, что Гиакса был знаком с Лениным — это ведь должно возыметь действие. Я слышала, что Советы обменивают у нацистов политических заключенных, и я — если нам иначе не выпарапать Гиаксу — вижу в этом надежду на успех, хоть он и не коммунист, но во внимание к его славе и благотворительным представлениям, которые он давал в свое время в пользу ленинского кружка в Цюрихе...»

Однако, как справедливо заметил дедушка Куят, у Гиаксы и без Гиаксы рыльце, по нацистским понятиям, было и пушку: в 1933 году он опубликовал во всей заграничной прессе свой отказ «когда-либо выступить в тысячелетнем рейхе даже в том случае, если тот продержится более десяти лет».

Во вторник заместитель коменданта штандартенфюрер СС Гизельхер Либхеншль самолично изволил пожаловать на перекличку. Выдающееся ничтожество и пакостник. Ку-

да более мерзостный спесивец, чем сам комендант Дахау, который в этот день в Берлине, на Принц-Альбрехт-штрассе, получал инструкции; фат, любитель верховой езды, цветовод и эстет, он упивался «Экспромтом» Шопена в собственноручном исполнении, цитировал Д'Аннунцио и предпочитал гелльголандских омаров свинным отбивным с клецками. Одним словом, как он сам любил говорить, олицетворял «нового германского человека старой западноевропейской культуры, преданного идее Вечной Римской империи германской нации, не знающего пощады к ее врагам».

Над трехтысячным каре наголо обритых, застывших в стойке смиренно заключенных (большая часть находится в этот час «на внешних работах») разносится визгливо-наглый голос штандартенфюрера Либхеншля, срывающийся в напыщенное верещание:

— Завтра утром с восточным экспрессом — разумеется, в спальном вагоне первого класса — из Вены для пребывания на нашем курорте пожалует некая знаменитость. В лучшие свои годы знаменитость эта демонстрировала свой талант за деньги всему миру, — возможно, и кое-кому из собравшихся господ не раз доставляла удовольствие!

К остроумным причудам штандартенфюрера относилась и его манера титуловать арестантов то грязными свиньями, то господами.

— Но великая Германия, — звенит фальцетное верещание Гизельхера Либхеншля, сопровождаемое взмахами хлыста, — это вам не манеж для дряхлых шутов, разлагающих волю немецкого народа к победе! К счастью, у нас уже имеется парочка-другая профессиональных паяцев, хотя и меньшего калибра! Они-то и подготовят высокому гостю, который почитит нас завтра поутру, достойную встречу.

Шарфюрер Мерцхаз, выкликнув пять фамилий, приказывает названным выступить вперед; все пятеро венцы, трое из них иудейского вероисповедания: характерный актер немецкого Народного театра Нейгрешль; кабареист Грюнцвейг из «Симпля»; Пауль Астор, вернее говоря, Ашкенази, во времена Веймарской республики стяжавший себе славу конференсье в берлинском «Кабаре комического актера». (В лагере Пауля Астора использовали в качестве носильщика трупов.) Четвертый, Леопольд Хабингер, помощник режиссера в Театре оперетты, имел несчастье принадлежать к секте «свидетелей Иеговы», а на

Яна Кейршика, служителя цирка, чеха, донесли как на коммуниста.

— Гляди-ка, — Верещал штандартенфюрер. — Три живые свиньи, большевистская да иеговистская свинья, вот так «комитет» по приему почетного гостя, вот так будит потеха!

Вечером всем пятерым приказано явиться в служебную квартиру Либхеншля, и вскоре весь лагерь слышит как он барабанит на своем «бехштейне» знаменитую кантату из третьего акта комической оперы «Царь и плотник» Лорцинга, а ему неуверенно подтягивает хор...

На следующий день все «внешние команды» задержаны и лагере. Всем приказано собраться на чрезвычайную переключку. После нескольких дождливых дней в среду утром как-то нерешительно начало светлеть. Но клубы тумана еще висят над Дахаускими болотами. Строй ожидающих на аппельплаце, тысячи серополосатых фигур, наголо бритых голов; сквозь двойную ограду с колючей проволокой и проводами под током высокого напряжения они впервые за много дней вновь видят пакостника-штандартенфюрера, совершающего утреннюю верховую прогулку. Напряженная фигура всадника, точно он вцепился в своего буланого жеребца Мьельнира, расплывается в белесом тумане.

Дна часа заставляют стоять ожидающих, ни один человек — такого напустил Либхеншль туману — ни малейшего представления не имеет, кого ожидают здесь на коварную потеху. В концлагере есть два въезда: один — за крематорием, второй, главный, украшенный девизом «Труд освобождает», — со стороны города. Но вот наконец штандартенфюрер возвращается с прогулки. Он приказывает — видимо в качестве реквизита к намеченной потехе — подать свой розоватый, шитый дубовыми листьями парадный мундир и встает в центре открытого в сторону аллеи каре заключенных, сам себе конная статуя.

Шарфюрер Мерцхаз, долговязый нескладень, над кем на неотесанность постоянно издевались начальники, а он отыгрывался за это на заключенных, приказывает Грюнцвейгу, Астору, Кейршику и Нейгрешлю выстроиться под самой мордой драгоценного тракенского жеребца Мьельнира. (Поставь он их вплотную за лошадей, быть бы им, видимо, трупами.) Хабингер должен встать, вытянувшись, лицом к ним. Мерцхаз сует ему в руку резиновую дубинку. Слышно, как Хабингер спрашивает:

— Извините, мне что, дубинкой?..

Ответом ему служит здоровенный удар каблуком по ноге.

Длинная улица тянется между бараками к обширному апельсиплацу, а к ней, точно идилический подъезд к поместью (из такового и был создан лагерь), ведет липовая аллея. В конце аллеи едва видны в тумане главные ворота. Вот они раскрываются. Поначалу там едва различимы какие-то тени: часовые перед воротами, затем пятеро эсэсовцев с карабинами через плечо, которые вводят в ворота троих штатских.

Восемь человек двигаются по аллее к апельсиплацу. Наконец удаётся разглядеть: два новичка идут в наручниках, третий без них.

Аллея высоченных лип тянется несколько сот метров. Эсэсовцы вместе с двумя заключенными в наручниках сворачивают за один из бункеров, исчезают из виду. Третий остается на аллее один.

И тут белесое, точно непропеченная лепешка, лицо штандартенфюрера Либхеншля искривляется в ухмылке. Ухмылке, точно говорящей: отлично вытанцовывается потеха. Пробиваясь сквозь густой туман, лучи июньского солнца быстро пригревают; потный жеребец отливает золотом, он пережевывает пену на губах, и она хлопьями падает на плечи «арестантского жида» Грюнцвейга. Но тот не смеет шелохнуться.

— Все — и выстроенная в каре многотысячная армия затерзанных, и несколько сотен их терзателей, и даже пулеметчики-часовые на вышках, — все неотрывно глядят на Одного. Он идет, будто прогуливается, да, прогуливается совсем один по липовой аллее. Изящный, невысокий человек — быть может, он кажется таким между огромными лицами, — не приземистый, а именно среднего роста, стройный, с непокрытой головой, без галстука, в застиранной синей штирийской куртке, бриджах и серых замшевых полусапожках. Вот он приблизился к «комитету», осталось не более двадцати шагов, и все еще никто из заключенных его не узнал. Судя по моложавой фигуре и по изборожденному морщинами лицу, ему могло быть и пятьдесят пять и шестьдесят пять. И хотя был куда мельче и жилистее, но лицом напоминал Бисмарка: мясистый нос, пронзительный взгляд, кустистые брови. И одновременно — истинного ученого.

Первым, да, первым узнает его Кейршик, служитель цирка. От удивления он не в силах совладать с собой, и... имя произнесено, но тут же он — раз! — и получает от

шарфюрера Мерцхаза такой пинок, что едва не грохается наземь. И тотчас вспышкой пробегает по рядам шепот: — Кто это? Не может быть! Исключено! Гиакса в Да- ---? Гиакса и Гиакса? Гиакса без Гиаксы?

«День блаженный, день счастливый,
К нам явился ты сюда.
Дидельдум, дидельдит, дидельда!
Это ведь только игра», —

поют пятеро членов «комитета»...

«Дидельдум, дидельдит, дидельда!
Это ведь только игра».

Горячей струей бьет моча. Пауль Астор, он стоит под самым боком жеребца, Пауль Астор, конференсье, которому некогда бурно аплодировали больше за элегантность, чем за остроумие, до пояса залит конской мочой (но и на шаг не смеет он отстраниться, отстраняться запрещено под угрозой наказания).

«Ах, давно мы не видались,
Не припомним, с каких пор,
Дидельдум, дидельдум, дидельда!
День блаженный, день счастливый,
К нам явился ты сюда».

Вот она, вот она задуманная штандартенфюрером Гизельхером Либхеншлем потеха. Эсэсовцы хихикают, вслед за ними, ради опыта, кое-кто из команды капо, составленной в основном из «зеленых» (профессиональные преступники). Любхеншль, эта конная статуя, впервые оглядывается назад. Шепоток «...акса... акса...» замирает на губах заключенных. Ни один из них не улыбается, ни намека на смехок, не говоря о хохоте. А ведь капо как подопытные хихикалы доказали, что в этом особом случае смех разнообразия ради не воспрещен. Не только поощрительная, нет, поощряющая, одобряющая ухмылка штандартенфюрера, казалось, говорит: эй вы, враги народа, грязные свиньи, на сей раз разрешаю, хохочите, хохочите во всю вашу тысячекратную глотку. Но вместо этого над плацем царит великое молчание, и даже у эсэсовцев из дивизии «мертвая голова» что-то точно застревает в глотке: их собственный смех. А им бы по долгу службы досыта нахохотаться над самолично комендантом задуманной потехой; да вот потеха из-за чего-то не клеится. Да. из-за самообладания. Самообладания, которое сохра-

няет не переодетый, не пронумерованный новичок, заключенный номер Икс. И, как нарочно, номер Икс именно с певца Нейгрешля, с его разбитой в кровь физиономии, смахивающей на топорный грим клоуна, не сводит глаз. Номер Икс, которого все знают и которого почти никто не видел без грима. Номер Икс с его характерным, изборожденным глубокими морщинами лицом неутомимого ученого и обликом скромного помещика, номер Икс, в котором ровным счетом ничего не напоминает клоуна.

С высоты своего коня штандартенфюрер демонстративно громко осведомляется:

— Ну, господин Гиакса и Гиакса и Гиакса и Гиакса, по вкусу ли вам пришелся музыкальный номер, подготовленный для вас на нашем курорте вашими менее знаменитыми коллегами? Но правда ли, разве это не мило с их стороны?

Лагерфюрер обратился на «вы» к заключенному! Однако номер Икс и не смотрит на всадника, нет, он смотрит на лошадь. И отвечает, как тугоухий тугоухому, тем самым хрипло-рыкающим голосом, каким Полковник Полковин гремел свои команды на манеже:

— Буланый остынет, нужно обтереть!

Шарфюрер Мерцхаз дернулся было, чтобы вмешаться, но Либхеншль взмахом хлыста удержал его, соскочил; широким шагом на негнущихся ногах, подражая тем самым своему фюреру, приблизился к номеру Икс и визгливо предложил:

— А что, если бы вы — известный знаток лошадей — проделали это собственноручно!

— Почему нет! — рывкает номер Икс. — Вот господин Кейршик, мой знакомый по цирку Ребернига, может мне помочь! Сервус, господин Кейршик!

— Се-ервус, гос-с-с-подин Ги-ги-акса, — заикается побледневший заключенный № 4329.

Опять Мерцхаз, долговязый выродок, скорчив злобную гримасу, пытается вмешаться. И опять Либхеншль небрежно отмахивается.

— Прекрасно! Почему бы номеру сорок три двадцать девять ему не помочь? Скребницу для Мьельнира!

В мгновение ока все подано.

Восьмилетний жеребец — неоднократно премированный участник скачек — опасно своенравный конь. Исключая штандартенфюрера, к которому он привык, и заклю-

ченного-конюха, он никому не дает сесть в седло. Он не кусает, он взлетает на дыбы и мощно бьет копытами; в полном смысле слова коварный, он бешено лягает, если кто-нибудь приближается к его заду. Уже трижды ничего не подозревающим новичкам отдавался злодейски задуманный приказ — проверить заднее копыто Мьельнира. Два новичка получили смертельные удары в живот, третья жертва была отправлена в лазарет с тяжелым повреждением позвоночника...

Номер Икс и номер 4329 снимают с Мьельнира седло. Заключенному Кейршику известна «скверная привычка» жеребца. По его лицу можно прочесть, что сейчас он попытается предостеречь новичка. Но прежде чем он успевает открыть рот, шарфюрер Мерцхаз рывкает:

— Молчать!

Кейршик бледнеет еще больше. Однако Гиакса уже почувствовал нервное «подергивание» жеребца и выразительно вскинул кустистые брови. Краска понемногу возвращается на щеки Кейршика.

Конюх притащил два ведра воды. Гиакса держит жеребца на коротком поводу, Кейршик окатывает водой его спину. Опытный конюх, он надевает скребницу, как перчатку, чистит шею, правый бок, холку до крупы, плечо, и Мьельнир, которого крепко держит Гиакса, стоит не шелохнувшись.

И еще некто стоит не шелохнувшись. Мерцхаз. Не распространяя на себя его приказ, Гиакса, беспрерывно вполголоса уговаривая Мьельнира, все время дает указания бывшему служителю цирка. А Мерцхаз не вмешивается. Неотесанный грубиян шарфюрер Мерцхаз — вот уж неожиданное открытие! — в конце концов тоже человек. Его родные или знакомые (а может быть, и сам он ребенком) во все глаза глазели в Мюнхенском цирке Кроне на великого эксцентрика, хохотали над его номерами до упаду, бурно аплодировали ему, восхищались им, память об этом так просто — раз-два! — со счетов не сбросить, и она, видимо, дает себя знать, несмотря на муштру. На вопросительный взгляд, который он бросает лагерфюреру, он не получает ответа. С небрежным вниманием, точно выродившийся Цезарь Август, следящий за боем гладиатора и со смертельным, по всей вероятности, исходом, наблюдает Либхеншль эту сцену.

А сцену эту надо себе точно представить: выстроенная в каре серая армия «зрителей из-под палки», в их рядах и конюх и члены «комитета», кроме Яна Кейршика;

тот — полосатый, обритый — чистит под наблюдением Гиаксы скребницей желтого копя — точно самый обычный каторжник, переданный в распоряжение помещика в синей куртке для работы по хозяйству. И задник к этой сцене — липовая аллея едва ли, да, едва ли не идиллического поместья...

Мельник позволяет номеру 4329 чистить себя вплоть до крупа, но тут вновь начинается «подергивание». Номер Икс подзывает коллегу, и, растолковав, как держать поводья, набрасывает на коня попону, сам надевает скребницу, и, тяжело переступая, проходит к конскому задку и начинает (не укрылось ли в складках его изборожденного морщинами лица слабое предчувствие улыбки или это лишь кажется?) чистить ему задние ноги, от хвоста вниз до копыта.

Дважды взбрыкивает Мельник. Но Кейршик железной хваткой держит его морду и тем лишает копыта смертельной мощности. К тому же Гиакса, стоя вплотную к животному, с поразительной для его возраста ловкостью уклоняется от копыт, точно матадор.

И тут происходит нечто заранее не предусмотренное. Язвительное хихиканье эсэсовцев замирает. Зато в рядах армии затерзанных вспыхивает невольный смех; подавить его нет сил, ибо рожден он редкостным до ужаса мгновением счастья.

— Тихо! — пронзительно вопит Либхеншль, наливаясь от натуги кровью. Задуманная потеха, видимо, не увенчалась успехом.

— Тихо! — рычит, точно эхо, Мерцхаз; и эхо прокатывается над анпельплацем, его тысячекратный отклик гудит из барачных проулков: «и-хо, и-хо, и-хо!!!», гудит, прорезая глубокую тишину, мгновенно воцарившуюся за оборванным смехом.

— Кто смеялся? — визжит лагерфюрер.

Великое молчание. Наконец Мерцхаз докладывает:

— Вся висельная команда, мой штандартенфюрер!

— Так-так! — взрывается ларегфюрер. — Господа, кажется, полагают, что они в цирке? — Великое молчание.

А Кейршик между тем уже оседлал жеребца.

— В ци-ирке... — повторяет Либхеншль, внезапно изменившимся голосом. — Ведь это же... это же ваша профессия, не правда ли, господин Фрателлини и Фрателлини?

Жиденькое хихиканье, явно по долгу службы, пз группы эсэсовцев. Шарфюрер приказывает номеру 4329 встать

в строй. Номер Икс остается один рядом с оседланным жеребцом.

А что, если... если вы покажете нам вашу легендарную «высшую школу»? Хотя такой заядлый враг народа едва ли достоин сидеть на моем несравненном Мьельнире — личном подарке рейхсшпортфюрера фон Чаммер унд Остена, — да, господин дезертир семнадцатого года! Видите, мы хорошо информированы! Не станете же вы отрицать, что дезертировали в семнадцатом?

— Должно это значить, — гремит Гиакса командирским тоном Полковника Полковина, — что я испугался ураганного огня?

У заключенных засосало под ложечкой. Но лагерфюреру вопрос, кажется, пришелся по душе, ответ его звучит высокопарно.

— Уклонившись — что самое позорное для бывшего кадрового офицера — от защиты с оружием в руках священных интересов рейха и его союзников, вы пребывали на фронте в качестве военного корреспондента одной еврейской газетенки! Но обратили свое перо в кинжал, дабы ударами в спину ослабить оборонную мощь кайзеровского рейха, за что были вновь подвергнуты дисциплинарному взысканию и разжалованы в солдаты. И тогда-то дезертировали в Швейцарию! Да, мы досконально изучили наши мемуары! И присоединились там к международной шайке пацифистов, сбежавшейся туда со всего света! И даже запели в Цюрихе знакомство со смертным врагом западноевропейской культуры, с Лениным! (Гиакса встречался с Лениным в Цюрихе не в семнадцатом, а в тысяча девятьсот десятом году, как заметил впоследствии дедушка Куят.)

— А теперь позабавьте-ка нас да покажите один из ваших хваленых трюков.

— Пожалуйста.

— Пожалуйста?!

— Пожалуйста.

— Ваша готовность льстит нам, господин Растелли и Растелли! — жиденькое одобрение эсэсовцев. — Но будьте начеку, чтобы мой великолепный конь, победитель десятка скачек и охотничьих конкурсов...

На какую-то долю секунды — внимательный наблюдатель мог бы заметить — Гиакса выпрямился столь же внезапно, сколь неумовимо.

— ...чтобы Мьельнир не уготовил вам кое-каких неприятностей! Вы далматинец — или кто вы там есть из

адриатической национальной мешанины, — и потому вам неизвестно значение этого имени! Мельнир — молот германского бога Тора! Молот Тора! Мельнир означает — Всесокрушающий! Ясно? Пенсионеров-циркачей Молот Тора до сей поры еще на себе не нашивал! Ясно? Вот так, будьте начеку! Весьма будет огорчительно, если в первый же день у нас вы сломаете себе шею!

— О-о-о, я только в очень, очень редких случаях, — гремит Гиакса, — ломал себе шею.

На этот раз громко рассмеялся кто-то один-единственный. Не эсэсовец, не капо, нет; как можно догадаться по внезапной трансформации невольного, непреодолимого смеха — это рядовой заключенный в самом последнем ряду. Ибо пока номер Икс скупыми движениями подтягивает стремя, одинокий, *volens-volens* восхищенный смех трансформируется в дикий крик боли, постепенно удаляющийся. Видимо, молота прикладами, эсэсовцы уволокли несчастного с апельплаца.

Глубокие складки на лице Гиаксы — точно высеченные руны на сером камне.

И точно по волшебству он уже в седле.

Только на какую-то долю секунды взмывает на дыбы Мельнир и бьет в пустоту, но это всего-навсего каприоли старого кентавра, слитого воедино с четырьмя своими копытами. И вот уже дивный — да, поистине сказочно-дивный человек-конь ровным шагом двинулся вперед.

Копюх-заключенный восторженно таращит глаза. Слетает злобно-насмешливая маска с лиц эсэсовцев, и они тоже таращатся, разиня рот, едва ли не благоговейно. Один только лагерфюрер сохраняет самодовольно-подстерегающее выражение, оно, видимо, означает: дайте срок — Молот Тора разгорячится, и старый кентавр треснет и расколется надвое.

Из открытого каре замордованных Гиакса импровизирует манеж. Но никакой «высшей школы» не демонстрирует: ни шага, ни рыси, ни галопа, ни траверса и ранверса. Внезапно выезжая из каре, он собранной рысью скачет по липовой аллее, по которой не так давно шел пешком.

Шарфюрер Мерцхаз:

— Куда это он поскакал?

Либхеншль поднимает взгляд. Часовой-пулеметчик на ближайшей к главным воротам вышке, прижав к глазам полевой бинокль, перегнулся через перила: он держит всадника в поле зрения.

Тот вновь появился с другой стороны длинного лагерного склада. Рысью приближается он к загрузочной эстакаде, стоящей под острым углом к стене с колючей проволокой. Резко останавливает коня, оглядывает внимательно очень длинную эстакаду; поворачивает, рысью объезжает ее; вторично, легко приподнимаясь в стременах, останавливает Мельнира, да, это владелец поместья проверяет, все ли у него в порядке.

Но тут раздается гнусавый оклик лагерфюрера:

— Что вы там выведываете? И э-т-т-то называется «высшая школа»?

Шарфюрер Мерцхаз хватается за свисток, подает сигнал часовому на вышке.

— Эй, там! — орет часовой со своей верхотуры и что есть силы машет всаднику: — проваливай!

Тот, не собираясь выполнять приказ, тщательно осматривает прицеп грузовика, вплотную придвинутый к концу эстакады. Дальше, за прицепом, двойная стена — каменная с колючей проволокой; это не забор, а двуслойная стена; снизу камень, вверху — проволочное ограждение на высоченных, в четыре с половиной метра, бетонных столбах, отстоящих на семь метров друг от друга; верхушки столбов вогнуты во внутрь, стало быть, к обитателям этой чудовищной клетки; на их изоляторах натянуты провода под высоким напряжением. За стеной — нейтральная четырехметровая полоса и вторая стена той же конструкции.

Длинный склад — в данное время полный торфяных брикетов, нарезанных заключенными в Дахауских болотах и высушенных до загрузки на воздухе, — стоит к ним под острым углом, вплотную к едва ли не пятидесятиметровой эстакаде; и, точно ее продолжение, поставлен прицеп на четырех двойных колесах; его борта опущены для погрузки брикетов; днище, как и эстакада, усеяно крошками торфа.

Еще раз проскакал наездник вдоль эстакады и прицепа, еще ближе к ней, и вновь осадил жеребца, чтобы осмотреть также ее конец, обращенный к лагерю, — мягко спадая к земле, точно въездные мостки, он устлан переносимым, порос травой.

Часовой на вышке прижал к губам мегафон:

— Эй, ты, гоп-гоп, проваливай отсюда!

Наездник будто не слышит.

— Эй, клоун! — ревет мегафон. — Эй, клоун!! Проваливай!!

Гиакса возвращается не торопясь, элегантно рысью.

— Очень мило с вашей стороны, что вы у нас осмотрелись, господин Гагенбек и Гагенбек, — верещит лагерфюрер с выражением мягкого упрека на лице. — Я, правда, немного встревожился, ведь вы так близко подъехали к проводам! К проводам под напряжением в тридцать тысяч вольт, если хотите знать!

— Благодарю, — рыкает Гиакса.

— Кстати, где же «высшая школа», которую вы сулили продемонстрировать почтенной публике? — Редкие смешки в группе эсэсовцев.

В ответ Гиакса ставит Мьельнира в леваду.

Поначалу тут буйно взлетает на дыбы, так, что штурмбанфюрер непроизвольно отшатывается, да, он отступает па несколько шагов. Мерцхаз за ним: что дозволено заместителю лагерного коменданта, то разрешено и шарфюреру. Но вот жеребец уже подогнул задние ноги и застыл, недвижимый, подтянув передние; солнце золотит его брюхо. А к спине его прирос — и все же кажется, что он парит в воздухе, — его покоритель в синей куртке.

Либхеншль:

— И это все?!

Тогда Гиакса решается на курбет.

Трижды, продвигаясь вперед, прыгает Мьельнир в леваде, вот так, не опускаясь на передние ноги. Но не к шарфюреру, который точно во сне нащупывает свой револьвер, — к Либхеншлю. И всяк видит: теперь, когда Молот Тора подобным образом замахнулся на него, пришла очередь лагерфюрера побледнеть.

Незабываемое зрелище для армии заключенных: «Мертвоголовый» перетрусил и, неверным шагом отступив, поднял, защищаясь, ручку хлыста. Но Гиакса спокойно опустил жеребца на передние ноги.

— Уже лучше! — взвизгивает штандартенфюрер; сверхчеловек в нем пересиливает недопустимый приступ слабости. — Уже лучше, господин Как-бишь-вас и Как-бишь-вас! Но когда же мы увидим обещанный забавный трюк?

— Трюк? А-а, забавный трюк! — рыкает стаккато Гиакса, и повторяет, по на сей раз так тихо, про себя, что заключенные его едва слышат. — Забавный трюк.

Он медленно расстегивает куртку, протягивает вниз правую руку. Хлыст, который Либхеншль все еще держит над головой, точно сам собой переходит в руку всадника. Несколько бесконечно долгих секунд смотрит старый кен-

тавр вниз, на человека в розоватом мундире. Заключенные затаили дыхание. И кажется, что на лице его рунами высечено мрачно-зловещее решение. Еще сильнее засосало у заключенных под ложечкой, и тяжело забились сердца: возможно ли это? Хлыст, который лагерфюрер отдал из рук в руки заключенному номер Икс, обратившись в бумеранг, свистанет по его собственной белесой физиономии? И внезапно оживает окаменевшее лицо всадника — не мрачной ли усмешкой? Да, да. Гиакса весело щурится на солнце.

Последующие события разыгрываются с крайней стремительностью и поистине с полной для всех неожиданностью.

Гиакса вторично выезжает из каре. Но не собранной рысью и не к аллее — он напрямик гонит туда, откуда прискакал: к лагерному складу. Дважды его хлыст, извиваясь, опускается на спину Мьельнира. Того точно кольнуло. Крупным галопом мчит жеребец к въездным мосткам эстакады; всадник как жокей склоняется к самой шее лошади; синяя куртка вьется над его спиной, точно знамя Бава-рии.

Понял штурмбанфюрер замысел Гиаксы?

— Стрелять! — взвизгивает он.

Долговязый шарфюрер все еще словно во сне не снимает руку с кобуры.

— Стре-ля-я-ять!

Но когда Мерцхаз выхватывает свой «пулемет», всадник уже вне досягаемости пистолетного выстрела и скачет к эстакаде.

— Стре-ля-я-я-лять! — ревет шарфюрер, свистит, истерически жестикулируя, сигнализирует часовому-пулеметчику на ближайшей к хозяйственному корпусу вышке. Часовой постепенно опускает пулемет.

— Не-е-е пуле-ме-е-е-том! — пронзительным дискантом вопит лагерфюрер. — Внимание — Мьельнир! Карабин-и-ном.

— Стреляй в спину! Не задень коня! — ревет Мерцхаз. Огонь!!

Шеренга эсэсовцев распадается. Кое-кто выскакивает вперед, останавливается, срывает карабин с плеча, целится. Но выстрелов не раздается. Черно-коричневые оловянные солдатики с карабинами наизготовку, они застывают точно пораженные громом.

Поросшие травой мостки премированный рысак взял, едва снизив темп. Теперь его стремительные копыта грохо-

чут по бесконечно длинной эстакаде, теперь гремит Молот Тора. Даже если бы удалось в эти летящие, скачущие во весь опор, гулко громяющие секунды снять снайперским выстрелом седока, то конь, лишившись мускулистой руки своего всадника, неминуемо сорвался бы с эстакады и сломал себе шею. Это как будто понимает и владелец жеребца. Пронзительным воплем он отменяет свой приказ.

— Отста-а-а-вить!!

Но Мьельнир, по всей вероятности, все равно поскользнется. Свежие крошки торфа, которыми устлана эстакада, делают невозможное возможным, превращая ее в импровизированный ипподром. По нему грохочет Молот Тора — вплоть до прицепа с опущенными бортами, который как сказано, удлиняет конец эстакады и днище которого тоже покрыто торфяной крошкой. Он играет роль трамплина. Теперь Молот Тора выбивает дробь по прицепу, резонирующему па иной лад. Да, теперь Мьельнир мчит по прицепу, искры вместе с торфом летят из-под копыт.

— Но это безумие! — задыхается воплем лагерфюрер. — Бе-е-е-зу-у...

Открытое исполинское каре заключенных, три живых серых гласиса, неподвижных до этого мгновения, внезапно приходят в движение. Короткий, нечленораздельный тысячеголосый вскрик, и сине-золотой кентавр делает скачок. Второй вскрик, далекое жутко-взвизгнувшее ржание, вмиг обрывающееся — кентавр уже повис высоко наверху между столбами внутренней стены на проводах под высоким напряжением и тотчас начинает дымиться. Третий вскрик в следующую секунду, перекрывший второй, и кентавр раскалывается надвое. Человек в развевающейся синей куртке перелетает четырехметровую нейтральную полосу и повисает на проводах внешней стены. Он слегка дымится, да, он тоже дымится в уже ярких лучах июньского солнца; и кажется издали, что в двух натянутых одна за одной паутинах повисли два разных насекомых — впереди большое, желтое, позади гораздо меньшее, синее. Но вот желтое безжизненно рухнуло в пропасть, разрывая провода, в окружении крошечных блистающих молний. Синее висит в вышине.

И тут с деревянной вышки раздается до ужаса дурацкий, чертовски нелепый, несказанно бессмысленный, ибо начисто бесполезный треск пулемета.

Конрад Эйкен

Два викинга два

I

Разумеется, я впервые услышал о нем — и о них — от неукротимого Поля.

Вполне естественно. Обо всем, что случилось в этом тихом английском городке, Поль узнавал немедленно, а то, что узнавал Поль, становилось всеобщим достоянием через пять минут. Он был вездесущ, — казалось, его длинный аристократический нос и ястребиные, блестящие, льдистоголубые глаза можно было увидеть одновременно повсюду: то он быстро заносил в свой блокнот заметки для этюда, то набрасывал этот этюд, то тщательно фотографировал какую-нибудь не вполне понятную «тему», которая в дальнейшем должна была, как он выражался, стать «идеей».

Вы натыкались на него где угодно. Примостившись на перелазе посреди заболоченного луга в двух-трех милях от ближайшей деревни, он терпеливо ждал, чтобы солнце создало на камышах какой-то особый, необходимый ему эффект, а сам тем временем записывал четким бисерным почерком цветовые схемы для предполагаемого пейзажа — и схемы эти читались, как стихи, как имажинистские стихи.

Однажды я обнаружил его сидящим верхом на останках парового катка, который давно ржавел над излучиной мутной речки. А в другой раз я наблюдал, как он, распростершись на животе посреди дороги, ведущей к верфям, снимал с позиции земляного червя торчавшие из ям столбы будущего забора, добываясь своеобразного ракурса. Короче говоря, его интересовало что угодно.

И люди тоже — люди увлекали его и будили в нем любопытство не менее, чем все остальное. Он «коллекциони-

ровал» людей, и особенно — странных, не укладывающихся в обычные рамки или в чем-то блиставших. И если его поразительная студия была настоящей кунсткамерой, где можно было увидеть раковины, старые бутылки, причудливые камни, сухие листья, мертвых насекомых, сломанные куклы и все остальное, что на миг завладело его фантазией, то его «салон» переполняли удивительные, немислимые люди. Ему было совершенно все равно, откуда они взялись и чем занимаются, если только они отвечали одному из трех обязательных условий: обладали личностью, или были красивы, или были забавны. Общество на его полуимпровизированных приемах собиралось невероятно смешанное: женщины с голубыми волосами, йоги, композиторы-алкоголики, лилипуты из цирка, графини, манекенщицы, хористки — но это ничему не мешало, и все они проводили время очень приятно, при немалом содействии Поля.

Приятней же всех проводил время, конечно, сам Польш. Обсуждал ли он психологическое воздействие сюрреализма с бледным бельгийским поэтом или давал шутиливо влюбленные советы хорошенькой, чересчур хорошенькой фотографше из общества о том, как ей следует краситься, — ему было совершенно безразлично. Он безмерно упивался жизнью.

Поэтому я нисколько не удивился, когда в один прекрасный летний теплый вечер он в довольно-таки поздний час остановился под моим освещенным окном и, возбужденно посмеиваясь, объявил, что хочет мне кое-что показать.

— Что именно? — спросил я.

— Идемте — и увидите.

Когда я вышел к нему на мощенную булыжником улицу и повторил мой вопрос, он ответил вопросом — знаю ли я, что в городе открылась ярмарка. Я это знал.

Утром я видел, как устанавливались первые яркие шатры и павильоны, видел пестрые цыганские фургоны, которые выстроились кругом на пустыре, видел, как за растянутой на кольях парусиной копали канаву для будущей уборной, видел, как сказочные красно-золотые карусельные кони появлялись на свет божий из грязных чехлов. Ежегодная ярмарка — неделя грошовой игры и громкой музыки, но в этом не было ничего особенного. Я так и сказал ему.

— А! Но все ли вы видели? «Мотодром Смерти» вы видели?

— «Мотодром Смерти»?

— Да. И моих двух викингов.

— Викингов? Двух викингов? О чем вы говорите?

— Значит, всего вы там не видели! Отнюдь! Мой милый, ним наверняка никогда еще не приходилось встречать двух таких изумительных образчиков человеческой породы! Идемте, или мы опоздаем.

Мы торопливо зашагали по Главной улице к небольшому обрыву, выходившему на пустырь, и внизу под нами засияла и зашумела ярмарка — толпы, вопли, нелепая пискливая водянистая музыка карусели, кружащей своих подрагивающих коней, ряды качелей, где в расписных лодках, напряженно и молча вцепившись в канаты, люди взлетали из света в тень, чтобы вновь стремительно рухнуть в свет, — все это было абсолютно обычным, обсолютно таким, как всегда. То есть так я думал, пока не услышал звук, который показался мне незнакомым. Словно мотоцикл рывками набирал скорость, ревя все громче и громче — крещендо механического грохота, затем замирающий спад, еще одно крещендо и еще одно. Опираясь на парапет, я поискал глазами место, откуда доносился этот рев, и в первый раз увидел «Мотодром Смерти», а потом у его подножия, в ослепительном свете прожектора, на маленьком, обтянутом красным плюшем помосте возле двух мотоциклов я увидел викингов.

Хотя до них было очень далеко, я сразу понял, что Поль, по-видимому, прав. В гордой небрежной позе двух голубых фигур было что-то царственное. Они возвышались над толпой с ленивым патрицианским высокомерием, с каким смотрит на вас из-за решетки лев или тигр в зверинце.

А когда мы спустились по крутой лестнице, которая четырьмя зигзагами расчерчивала отвесный обрыв, протолкались сквозь праздничную толпу возле игорных павильонов и тиров и вышли к красному плюшевому помосту, я обнаружил, что Поль не только не преувеличил, но, наоборот, был повинен в преуменьшении. Мальчик и девочка — они казались совсем детьми — были ослепительно, ангельски красивы. Ангельски потому, что оба они были невероятно белокуры, белокожи и синеглазы, и еще потому, что в них чудилась яростная чистота, что-то неукротимое, отвергающее всякое сомнение. Викинги — о да!

Поль, по обыкновению, уловил самую суть. И, как я осознал, поглядев еще раз, это впечатление усугублялось

тем, что на девочке, в остальном одетой совершенно так же, как мальчик, — голубая, открытая у горла рубашка и синие широкие брюки, — была, кроме того, плотно прилегающая к ее светлым волосам голубая шапочка с сияющими серебряными крылышками по бокам. Эффект был поистине колдовским — она смотрела поверх наших голов, несколько не ослепленная светом прожектора, в луче которого стояла, и казалось, что она уже упивается стремительным движением, почти летит. Она была воплощением скорости, она была стрелой. И таких синих, таких яростных глаз я еще никогда не видел.

Тем временем мальчик три или четыре раза заставил взречь мотор своего мотоцикла; кассир объявил в маленький мегафон, что представление — последнее сегодня — сейчас начнется, и публика принялась карабкаться по шатким ступеням на вершину гигантского лакированного цилиндра, носящего название «Мотодром Смерти». Сложнейшая паутина проволочных оттяжек удерживала его в вертикальном положении, и я заметил, что эти проволочные канаты, как и сам мотодром, были совершенно новыми — факт, впоследствии подтвердившийся. Мальчик и девочка одновременно покатали свои мотоциклы по пандусу к двери, которая вела внутрь мотодрома, и помощник запер ее за ними. Поль купил два билета, и мы поспешили наверх.

— Неужто они будут крутиться в этой бочке? — спросил я, когда мы сели и заглянули в деревянную внутренность мотодрома. При взгляде сверху он больше всего походил на гигантский стаканчик для бросания игральные костей. Викинги стояли внизу возле своих мотоциклов, вытирая ладони.

— Конечно! Весь секрет в центробежной силе. Это ведь очень просто; если не ошибаюсь, и в Штатах такие аттракционы существуют уже много лет, и тем не менее зрелище остается захватывающим. А эти двое... бог мой, вам приходилось когда-нибудь видеть что-либо подобное? Поглядите на девушку! Поглядите, как она стоит. Это язычок пламени, мой милый, — она вся пламя. И он точно такой же... Я думаю, они муж и жена.

— Муж и жена? Эти дети?

— Во всяком случае, она носит обручальное кольцо. Вы его увидите, когда она поднимется сюда.

— Сюда?

— К самой вершине. То есть почти к самой вершине. Оттого тут и поставлена предохранительная сетка...

Мальчик, подняв кверху прекрасное невозмутимое лицо, говорил:

— ...в этом, как вы видите, все дело — риск считается настолько большим, что мы не можем застраховаться. Ни одно общество не соглашается застраховать нас, какие бы проценты мы ни предлагали. Вот почему я прошу вас о пожертвовании — пусть самом незначительном: оно поступит в особый фонд, который мы завели в предвидении несчастного случая.

Он стоял там и смотрел вверх спокойно и словно оценивающе, положив руку на бедро, а девочка безучастно прислонилась к своему мотоциклу, никуда не глядя и откровенно скучая, — все это было ни с чем не сравнимо. И голос мальчика — голос воспитанного человека, твердый, уверенный, интонации джентльмена. По полу мотодрома покатались, подпрыгивая, пенсы, шестипенсовики, несколько шиллингов, и он, говоря «благодарю вас... благодарю вас...», неторопливо, с безукоризненным достоинством нагнул, чтобы подобрать их. Девочка несколько секунд смотрела на него, а потом принялась разглядывать свои ногти.

Она продолжала стоять так, совсем не изменив позы, и тогда, когда он, заведя свой мотоцикл, начал кружить со все нарастающей скоростью по наклонному полу, а потом внезапно оказался уже на стене. Шум стоял оглушительный.

Одного рева мотора в тесном помещении было бы вполне достаточно, но вдобавок весь мотодром начал ужасающе скрипеть под тяжестью стремительно несущегося мотоцикла; и, следя за крутыми виражами гонщика, я видел, как прогибаются сверкающие стенки и все сооружение меняет форму. А гонщик поднимался все выше и выше, спираль виражей все сжималась, и вот он уже кружил у самого верха на расстоянии вытянутой руки от нас: наши лица обдавал горячий ветер, светлые волосы мальчика бились, как выпел. Затем он понесся вниз, сняв руки с руля и раскинув их, кружа беззаботно, как ласточка. Это было так же прекрасно и казалось столь же простым. Это был настоящий полет.

Я как раз собирался сказать об этом Полю и как раз подумал, что из всех птиц только ласточки летают словно ради чистого удовольствия летать, когда случайно взглянул на девочку. Она стояла все в той же позе. Гордое лицо, осененное серебряными крыльями, было чуть наклонено — она снова рассматривала свои ногти, все еще равно-

душно прислонясь к мотоциклу. Только один раз она посмотрела вверх на кружащую над ней фигуру, по и этот взгляд был обращен не столько на мальчика, сколько в пространство над ним. Действительно ли она испытывала к нему такое безразличие? Или ее поведение было всего лишь профессиональной маской? Но как бы то ни было, она осталась такой же, когда он, сбрасывая скорость, спустился на наклонный пол и остановился возле нее и когда он что-то сказал ей вполголоса. Что-то очень короткое — слово или два, — глядя на нее, пока она глядела в сторону. Какое-то указание, может быть совет. Она же продолжала смотреть мимо него в никуда, пока он сообщал нам своим вежливым, культурным голосом, что он и его жена — первые в мире, кто решился ввести в этот аттракцион два мотоцикла одновременно, и с нотой предостережения в голосе попросил зрителей не наклоняться к предохранительной сетке. Одну-две секунды спустя девочка уже мчалась кругами на своем мотоцикле, набирая скорость для того, чтобы взлететь на стену; и вот она уже на ней, и два сверкающих крыла стремительно возносятся к нам. Мне показалось, что она одолела стену гораздо быстрее, чем он, — или я ошибся? И что теперь она тоже неслась гораздо быстрее. Через одно мгновение она кружила у самого верха прямо под предохранительной сеткой. Прекрасное лицо — лицо викинга — застыло в яростном упоении скоростью, голубой воротник, отогнутый воздушной струей, открывал белую шею. И тут снизу внезапно рванулся второй мотоцикл; под невообразимый рев, который, казалось, разносил мотодром на куски, две фигуры описывали молниеносные круги одна над другой — она держалась точно на одной высоте, а он то нырял вниз, то взмывал вверх. И я не знал, на что смотреть — на ликующее лицо девочки или на блистательные виражи мальчика под ней. Но вскоре я обнаружил, что слежу только за ним, он вновь парил, точно прекрасная птица, сняв руки с руля.

Затем он достал что-то из кармана — квадратик черного шелка — черный шелковый платок, который бился в его пальцах, точно пламя, старающееся вырваться из его рук, — из двух рук, поднесенных к лицу. Да... он действительно собирался ехать дальше вслепую! Черный квадратик облепил ему лицо, закрыл глаза и не спадал, удерживаемый на месте огромной скоростью, с которой несся мальчик, — вновь раскинув руки, он ласточкой кружил по сверкающей стене мотодрома, легко, без усилий, а дево-

чка над ним, чуть замедлив ход, казалось, в первый раз смотрела прямо на него...

Но смотрела она все с той же яростью, с той же надменной и несокрушимой гордостью, без малейшей примеси страха — и за него и за себя. Нет, скорее, гневно или презрительно, словно с нетерпеливым желанием, чтобы он кончил, чтобы все было уже позади. Вы физически ощущали, как она думает: «Довольно, ну, довольно же! Хватит. Ты достаточно показал себя, так спускайся же со стены, и пойдем домой!» Но одновременно — и ее собственное упоение скоростью и опасностью, словно эта сверкающая вертикальная стена была для нее чем-то, что дороже самой жизни.

Однако номер уже завершался. Мальчик смахнул с лица черный платок, спрятал его и все более замедляющимися виражами спускался вниз, а взрывы выхлопов становились неровными и прерывистыми. И вот он уже снова стоял на полу, а девочка в свою очередь спускалась красивой спиралью, все медленнее и медленнее — серебряные крылья указывали вниз, гордая голова была яростно откинута. Менее чем через минуту она спокойно присоединилась к мальчику, и они уже закрепляли мотоциклы на ночь, а зрители рядом с нами вставали и направлялись к лестнице. В стене мотодрома внизу распахнулась выпуклая дверь, и вошел помощник с деревянным молотком. Первой, не сказав ни слова, вышла девочка; мальчик задержался, чтобы сделать какое-то замечание помощнику, а потом последовал за ней. Наши десять золотых минут истекли.

— Ну, — сказал Поль, когда мы начали спускаться по узкой лестнице, — я был прав?

— Да, вы были правы. У меня нет слов. Уникальная пара. Невероятная. И насколько в вашем духе — отыскать их.

Он усмехнулся.

— Да... это получилось удачно.

— Но скажите... почему не было аплодисментов?

— Странно, правда? Но им не аплодируют. Я ни разу не слышал ни одного хотя бы робкого хлопка. Вероятно... я думаю, это объясняется тем, что зрители по-настоящему потрясены, оглушены... Как вам кажется?

— Пожалуй... пожалуй. Во всяком случае, я был оглушен.

Ярмарка закрывалась на ночь. Огни карусели были потушены. По сторонам гасли и гасли огни; последние за-

поздашие посетители шли по замусоренному пустырю. По занавескам в окошках фургонов скользили тени — ярмарочный народ ложился спать. Возле огромного зеленого грузовика — передвижного электрогенератора — на деревянном стуле сидел ночной сторож. Он читал газету при свете лампочки, ввинченной в борт грузовика, и прислушивался к прерывистому гулу работающего мотора. От грузовика по траве тянулись кабели — к карусели, к мотодрому, к фургонам. Мы осторожно перешагивали через них, решив вернуться домой по берегу речки.

Мальчика и девочки нигде не было видно.

2

Разумеется, мы снова отправились посмотреть их — и не один раз, а много. Как мы могли удержаться? И не могли и не хотели. Нас буквально тянуло на мотодром, мы сидели там представление за представлением, мы приводили с собой друзей, — короче говоря, мы снова и снова приходили туда, не в силах отказаться от этого упоения, как пьяница от бутылки. Конечно, Поль брал с собой свой фотоаппарат и сделал десятки прекрасных снимков (а сколько он сделал набросков, известно одному богу). Теперь эти чудесные создания были известны нам буквально наизусть — так обычно знают только тех, кого любят. И все это время до самого конца они оставались такими же великолепными, прекрасными и недоступными, какими показались в самом начале. То есть во время выступлений. И, собственно говоря, это ощущение только усилилось благодаря тем сведениям, которые нам удалось о них собрать; теперь мы знали, почему они ведут себя именно так, — и это усугубляло драматический эффект. И насколько он усугубился бы, знай мы, какой конец им был сужден и как скоро!

Последнее было, разумеется, невозможно, и никто ничего не предвидел, а нам тем временем было вполне достаточно изо дня в день наблюдать яростное и презрительное равнодушие девочки, ту гневную гордость, которая так увеличивала ее красоту и — как контраст — хладнокровное, безмятежное, терпеливое мужество мальчика, тихое мужество того, кто знает, что он способен ждать дольше всех.

Начало было положено, когда Поль решил пригласить их в воскресенье на чай и пригласил, и они приняли приглашение. Оно их удивило, но и очень обрадовало. Они

пришли, и все было отлично, и — об этом мне рассказывала Маргарет, так как, к большому моему сожалению, сам я там быть не мог, — держались они чудесно, ну просто чудесно. Почему-то никто не ждал от них особой благовоспитанности — ни на чем не основанное предубеждение, от которого тотчас не осталось и следа, когда почти немедленно выяснилось, что мальчик — сын сельского священника где-то на севере. Короче говоря — настоящий джентльмен, а девочка — настоящая леди! У Маргарет камень с души свалился, а Поль только посмеивался, и все, как всегда, провели время очень приятно. Выяснилось множество интересных подробностей. Им обоим по двадцать два года, и поженились они меньше года назад. Мальчик провел несколько месяцев в Нью-Йорке — там-то он и научился своему трюку, когда работал механиком аттракциона «Стена Смерти» в «Кони-Айленде» или еще в каком-то увеселительном парке. И тогда же он решил, что вернется в Англию и первым покажет здесь езду на мотоцикле по вертикальной стене. Когда ему исполнился двадцать один год, он получил право распоряжаться деньгами, которые оставила ему мать, и купил на них права и планы первого «Мотодрома Смерти» в Англии и построил его в Саутгемптоне. И там же, в Саутгемптоне, неделю назад он и его жена впервые выступили со своим номером. Все их деньги истрачены — они и в них уложились еле-еле и теперь могут рассчитывать только на свой заработок, но они уверены в успехе. И так далее.

Бросалось в глаза, рассказывала Маргарет, что говорил только он. Но как-то нервно, все время посматривая на жену, словно втайне опасаясь неодобрения или упреков. А та почти все время молчала. Она держалась свободно и любезно, но ясно показала, что предпочитает слушать, а не говорить, и иногда оглядывалась на мужа с выражением, которое Маргарет показалось слегка скептическим. Особенно когда речь зашла о его успехах — о его прежних успехах. Не то чтобы он хвастал, вовсе нет! По-видимому, он был очень скромен — даже чересчур. Но когда он рассказывал, как ему удалось выиграть приз острова Мэн, и о гонках от Лэндс-Энда до Джон-оТротса, и еще о чем-то в том же роде, Маргарет впервые заметила, как она выразилась, почти презрительный изгиб губ и гневный блеск в глазах его жены. Это было странно и немного неприятно. И было как будто очень неприятно мальчику.

Но тем все и исчерпалось, и ничего больше тогда узнать не удалось; только за день-два до того, как ярмарка закры-

лась и аттракционы отправились дальше, в Фолкстон, по-
доплека ситуации наконец выяснилась.

И все — благодаря пачке сигарет и еще благодаря тому, что я должен был зайти к ювелиру за часами, которые отдавал почистить. Мастерская ювелира находилась в конце главной улицы, почти над обрывом и пустырем. Делать мне было нечего, и я спустился по зигзагам лестницы на ярмарку. Официально по утрам она была закрыта, и, хотя несколько тиров работало, кругом не было никого, кроме ребятишек. Однако когда я дошел до «Мотодрома Смерти», то увидел, что на краю обтянутого красным плюшем помоста, болтая ногами в синих брюках, сидит в полном одиночестве юный гонщик. Он мне дружески улыбнулся, словно знакомому.

— Конечно, вы меня уже видели? — предположил я.

— Много раз! Вы ведь друг мистера Нэша, не правда ли? По-моему, он говорил о вас.

Я подтвердил это и сказал, как был огорчен, когда не смог прийти в воскресенье к Полю и познакомиться с ним и его жепой, а затем восторженно отозвался об их номере, что доставило ему большое удовольствие, и он пригласил меня сесть. Я сел. Но когда я предложил ему сигарету, он обрадовался с такой непосредственностью, что буквально просиял.

— Знаете, — сказал он, — я умирал от желания покурить, просто умирал! Мой запас кончился полчаса назад, а вокруг — никого, и я один здесь и не мог сбегать сам — ведь когда рядом цыгане, ничего нельзя оставлять без присмотра. Спасибо!

— Вы много курите?

— Боюсь, что да. Видите ли, в подобном деле в промежутках необходимо чем-то себя занимать, как-то успокаивать нервы... ну, вы понимаете? Когда не едешь. И по утрам, особенно по утрам!

— По утрам?

— Ведь все утро ждешь... мы испытали большое разочарование, когда этот город оказался таким маленьким, что об утренних представлениях не могло быть и речи. И тем более неприятно, что нам сейчас очень пригодились бы лишние деньги. Вообще в подобном деле плохо, когда нечем занять себя. Пить ни в коем случае нельзя, и значит, остаются сигареты. Я курю их одну за другой. И малыш тоже.

— Малыш?

— Моя жена.

— Ну, полагаю, это естественно. Было бы странно, если бы ваши нервы не требовали разрядки.

— Да. Хочется все время быть в движении. Не застаиваться... Маленькие третьесортные ярмарки вроде нашей тем и плохи — только маленькие города, а этого недостаточно...

Он улыбнулся, синие глаза скользнули по моему лицу и устремились вдаль, в будущее, где ждало что-то, что было несравненно больше и лучше этой третьесортной ярмарки. Но тут он указал сигаретой в сторону карусели и добавил:

— Но, знаете, и это неплохо, ведь с чего-то надо начать, не правда ли? И, наверное, нам даже повезло.

Наступило молчание, он стряхнул пепел, и тогда я сказал ему, как меня восхищает сам мотодром — со мной тут согласен и Нэш, а он художник. Его это очень обрадовало.

— Он ведь правда красивый? Да, очень. Его построили на маленькой саутгемптонской верфи, и получилась игрушечка. Посмотрите, какое дерево; он же как яхта — все самое лучшее! Далеко превосходит то, что строят американцы. Никакого сравнения нет. И знаете, это ведь очень сложная задача — нужна большая упругость, без жесткости, но и без слабину. Вы заметили, как по стене вместе с нами словно бежит рябь? Ну, так тут требуется строжайшая точность. Нам приходится постоянно его настраивать — совсем как скрипку. Вот почему растяжек так много — мы их натягиваем или немного отпускаем, и так все время. А потом он станет еще лучше, когда мы его обкатаем. Ему ведь требуется дозреть, как всему прочему. И он уже становится лучше — чуть более упругим.

Мы вместе посмотрели вверх, на лакированную стену мотодрома, на блики, рассыпанные солнцем по глянцевиному коричневому дереву, а мальчик протянул руку и потрогал толстый проволоочный канат растяжки... Да, он был прав, мотодром и в самом деле походил на яхту... и на скрипку.

— Нэш несколько раз фотографировал его. Снимки получились превосходные.

— Да?

— Он снимал и вас и вашу жену.

— Неужели? Мне бы хотелось их посмотреть... очень хотелось бы. Он ведь настоящий художник?

— Настоящий, и один из лучших.

Около минуты мы молча курили, а потом, к большому моему удивлению, он сказал:

- А что вы думаете о моей жене?
- О вашей жене? Я не понимаю...
- О том, как она ездит?
- А, да, конечно! По-моему, она великолепна.
- Вы так считаете?

Он тревожно и недоуменно сдвинул брови. Я не совсем понял, куда он клонит, а потому просто повторил:

— О да! Мы все так считаем. И, конечно, она замечательно красива...

— Да, это так... Извините, могу я стрелкнуть у вас еще одну сигарету?

Я протянул ему пачку, он взял сигарету, прикурил от собственного окурка и, снова нахмурившись, продолжал:

— Видите ли, в этом-то и трудность.

— Трудность?

— Да. Ведь все не так просто. Конечно, она прекрасно ездит, я знаю...

— Прекрасно!

— Она великолепно ездит, но ведь дело не только в этом. Нам приходится думать об общем эффекте. О впечатлении зрителей.

— Я не совсем понял вашу мысль...

Он несколько мгновений внимательно вглядывался в меня, словно оценивая меня в свете того, что собирался сказать, — это был тревожный взгляд и чуть-чуть жалобный.

— Ну, — сказал он, — вот возьмите себя. Или мистера Нэша.

— И?..

— Вы приходите смотреть наш номер, и, как вы сказали, вам, конечно, нравится моя жена, и так оно и должно быть. Но тут встает вопрос о том, кому быть «звездой». Вы понимаете, о чем я говорю? Ведь «звезда» должна быть обязательно. Один из участников номера обязательно должен показывать что-то особенное, иначе не будет кульминации.

— Понимаю. Да, конечно.

— Вы понимаете? — Он явно испытал большое облегчение, когда я согласился с ним, и продолжал уже увереннее: — Кульминация необходима. Публика требует, чтобы в номере было нарастание и завершение. А малыш отказывается это понять.

— Отказывается?

— Да. В том-то и трудность. Мы же не можем оба проделывать все сложные трюки, ведь правда? И я утверж-

даю, что зрители хотят, чтобы их проделывал мужчина, а не женщина. Вы согласны?

— Да, пожалуй, вы правы.

— Конечно, я прав! Но она не хочет этого понять, не хочет, и все.

Он покачал головой, с недоумением посмотрел на свои болтающиеся над травой ноги, на дымящийся окурок в этой траве и повторил еще раз:

— Она просто не хочет этого понять. И учтите, я ведь знаю, что она могла бы выполнять эти трюки, то есть некоторые из них — храбрости и уверенности у нее достаточно, — но дело же не в том. А кроме того — риск. Женщина всегда будет хуже мужчины, у нее скорее могут слать нервы, она скорее может допустить промах, а в нашем деле промах — это конец. Ну, я все это ей говорил, но толку нет никакого. Она с утра до ночи настаивает, чтобы я позволил ей попробовать то или это — попробовать один раз или попробовать два раза... Ну, вы знаете, как это у женщин, и, если где-то уступишь, тогда уж все...

Он быстро посмотрел на меня и сразу отвел глаза. И мне стало жаль его.

— Ну, — сказал я неловко, — по-моему, вы совершенно правы. Номер уже доведен до совершенства, и лучше его сделать нельзя. Ваша жена благодаря своей красоте добавляет абсолютно верный штрих, на вашем месте я, разумеется, не позволил бы делать что-нибудь еще. Ни за что.

— Вы так считаете?

— Безусловно.

— Вот если бы кто-нибудь мог ее убедить! Но когда она что-то задумала...

Он рассмеялся от души, по-мальчишески и, кроме того, с нежностью, словно вдумываясь в прекрасное упрямство своей жены, а потом прыгнул на землю, и я увидел, что к нам подходит механик, его помощник.

— Ну, — сказал я, — наверное, вы увидите нас вечером!

— Надеюсь. А вы не скажете мистеру Нэшу, что мне очень хотелось бы посмотреть его фотографии?

— Разумеется, я передам ему.

Он отошел, быстро и нервно махнув мне рукой, и я уже повернулся, направляясь к лестнице, которая вела в город, когда услышал, как он прибавил:

— И, пожалуйста, извините меня. Мне нужно заняться настройкой.

Я помахал ему, он помахал в ответ — и это был последний раз, когда мы обменялись приветствием, хотя аовсе не

последний раз, когда я его видел... Последний раз я увидел его год спустя.

Год спустя... совершенно точно. И почти день в день. К тому времени мы совсем забыли его — и что удивительного? — а также и красавицу, которая погибла в Фолкстоне, когда ехала вслепую в «новом аттракционе» (так писали газеты), называемом «Мотодромом Смерти». Мы прочли об этом менее чем через неделю после того, как они уехали от нас, и были невыразимо поражены и опечалены; а потом мальчик написал Полю, спрашивая, нельзя ли ему получить некоторые из тех фотографий. И Поль их ему выслал...

Но год спустя в наш город вернулась та же маленькая ярмарка, а с нею, к большому нашему недоумению, и «Мотодром Смерти». Сперва мы решили, что это какой-то другой мотодром, потому что он был чем-то непохож на прежний и, безусловно, выглядел совсем не так щеголевато, как будто им мало занимались. Наши сомнения разрешились, когда мы подошли поближе.

Там на выцветшем красном плюше помоста стоял мальчик — но и сам какой-то выцветший, заурядный, почти изможденный. Его красота исчезла. Рядом с ним стояла девушка, маленькая брюнетка с тусклым лицом и тусклыми глазами. Те же голубые костюмы, но серебряных крыльев не было. Мальчик курил сигарету, и, когда он увидел нас, его лицо стало виноватым. Мгновение словно решало, узнаем ли мы друг друга, а потом он гордо вздернул подбородок, отвернул голову, отвел взгляд и холодно, яростно не допустил нас к себе...

И я с болью понял, что он прав.

Ярослав Ивашкевич

Зигфрид

Недавно я задумался: отчего из современной литературы совсем исчезла тема цирка? Ведь в XIX веке цирк дал много богатого материала писателям, и в том числе писателям выдающимся, таким, как Гонкур или Сенкевич. В детстве, помню, меня до слез трогала сентиментальная повестушка Кармен Сильвы, из которой память сохранила только неизбежную, прямо-таки необходимую катастрофу в конце. Однако последнее время мне уже давно ни у наших, ни у иностранных авторов не попадались рассказы на цирковые сюжеты.

А ведь жизнь цирка, в особенности цирка бродячего, не замерла, напротив — она вступила в пору своего развития, даже, можно сказать, расцвета. Тому есть несколько причин. Во-первых, распространение средств сообщения, что позволяет достаточно быстро и без большого труда перебрасывать с места на место фургоны с людьми и животными. Во-вторых, безработица среди цирковых актеров: в поисках заработка многие из них сколачивают бродячие труппы, собирая в самых глухих уголках Европы сотни зрителей, алчущих дешевых развлечений любого пошиба. В наши дни мне нередко — и не только на дорогах Польши — приходилось встречать тракторы, волокущие за собой желтые или синие домики на колесах с надписью «Цирк». Я часто бывал на представлениях таких бродячих трупп и, как в детстве, меня одолевало желание узнать, что же чувствуют эти люди, выходя на арену.

Очень может быть, что мы поступаем неправильно, продолжая по старому обычаю водить детей в цирк. И прежде всего потому, что в детстве торжественно-таинственное, в чем-то вульгарное, преисполненное грубой силы зрелище

рождает у маленького зрителя горячее желание постичь его тайну, проникнуть за красный занавес, отделяющий арену от полутьмы цирковых уборных. В душе ребенка на всю жизнь остается неясное чувство досады, привкус неразгаданной тайны, ключ к которой ни за что не подобрать взрослому. Ибо, вновь приблизившись к цирку спустя много лет, мы не найдем там ни глубины, ни таинственности; скорее всего, нам бросятся в глаза деление на сильных и слабых, жестокость и обычные человеческие страсти.

Впрочем, не стану углубляться в так называемую «философию цирка». Перо в руки я взял исключительно ради того, чтобы поведать одну историю, участником или, вернее, свидетелем которой мне недавно довелось быть. Это типичная цирковая история, выдержанная в духе классических канонов, совсем как у Кармен Сильвы: с «хорошим» клоуном, сентиментальным жонглером, «злым» директором и неизбежной катастрофой в финале. И все-таки я решился рассказать эту историю, поскольку, несмотря на всю ее заурядность, она не лишена любопытных психологических оттенков, которые могут кому-нибудь показаться небезынтересными; кроме того, этот рассказ воскрешает некогда популярный, а ныне забытый жанр и с известной стороны демонстрирует нравы провинции — тему эту современные нам писатели либо обходят упорным молчанием, либо пользуются исключительно черной краской в угоду безраздельно завладевшей нашими сердцами столичной суматохе.

В прошлом году я прожил несколько месяцев в маленьком городке на севере Польши, где как архитектор должен был наблюдать за ходом работ по реставрации старинной коллегиаты, сильно разрушенной временем и позднейшими переделками. Реставрация памятника старины производилась за счет одного из жителей города, некоего пана Стефана Б., бывшего австрийского гофрата, человека весьма состоятельного и одинокого. Пан Стефан рано овдовел, подыскал для единственной дочери блестящую партию и теперь безвыездно жил в родном городке. Отношения у нас с ним сразу установились дружеские, хотя, признаюсь, мне пришлось вооружиться терпением, ибо пан Б. в качестве руководителя работ оказался просто невыносим. Он прекрасно разбирался в искусстве, но ничего не смыслил в технике реставрации и, не слушая моих возражений, нетерпеливо подгонял рабочих, во все решительно вмешиваясь. Однажды между нами произошло такое бурное столкновение, что я все бросил и уехал. Но не прошло и недели, как я

получил от пана Стефана на редкость милое и сердечное письмо, где он объяснял причину своей несговорчивости, очень просто и искренне просил его простить и мельком упоминал, что у него участились сердечные приступы и единственная его мечта теперь — успеть перед смертью закончить ремонт коллегиаты. Я вернулся. И не жалею об этом, потому что вскоре после возвращения открыл в правом нефе костела и в пресвитерии знаменитые, выполненные в итальянской манере фрески XV века — единственные в своем роде в Польше.

С паном Стефаном у нас тогда состоялся долгий серьезный разговор. Старик оправдывался точно дитя, чем совершенно меня растрогал, потому что я знал, как он ожесточен, неприступен, замкнут в себе и преисполнен обиды на весь мир. Это был в самом деле бесконечно одинокий человек, опустошенный десятилетиями службы австрийской короне. Он многое, быть может, все сполна, получил от жизни, кроме тепла: нелюбимая жена давно скончалась, дочка боялась и ненавидела отца; раз в год он навещал дочь в ее роскошном замке, где бывал холодно принят в строгом соответствии с этикетом. В родном городе он жил в небольшом доме, окруженный далеко не бескорыстной прислугой. Внуков у пана камергера (в городишке его без всяких на то оснований считали камергером) не было.

Вскоре после того, как я принялся за прерванную работу, в город приехал цирк «Три звезды». Однажды под вечер, возвращаясь из костела, я увидел ревущий от напряжения трактор, тянувший в гору два тяжелых фургона, из которых доносился вой несчастных зверей.

Был жаркий день в первых числах сентября. За фургонами бежала толпа зевак, среди которых были не только дети, но и много взрослых, истомленных однообразием провинциальной жизни. Когда трактор неожиданно увяз в куче щебня посреди дороги, толпа разрослась до таких размеров, что сам пан полицейский Люциан Курек, мой добрый знакомый, вынужден был разогнать любопытных, после чего вступил в переговоры с водителем трактора и высунувшейся из окошка фургона супругой директора и лишь затем, наконец, принял участие в вызволении застрявшего в пути каравана.

Признаться, и я не мог сдержать улыбки при виде полосатых фургонов с маленькими оконцами, задернутыми белыми кружевными занавесочками. На меня разом нахлынули смутные воспоминания детских лет, давным-давно прочитанных книжек, образ моей бонны Калюси и еще

множество теней прошлого, и я почувствовал, что не могу больше ни минуты оставаться в гостиничной комнатухе наедине с грудой представленных мастерами счетов. Я вышел на улицу и направился в сторону парка, который тянулся посреди города от коллегияты до обрыва, откуда открывался раздольный вид на городишко, окрестные луга и полосу Бескидских гор у самого горизонта. Там я невольно остановился, любуясь прекрасным пейзажем и продолжая размышлять о цирке, и вдруг заметил пана Стефана, который сидел неподалеку на скамейке, строго поджав губы и тоже устремив взгляд в сторону далеких гор.

Я поздоровался с одиноким стариком. Он пожаловался, что его замучили сердечные приступы, что он почти не спал ночью и сейчас чувствует себя скверно. Глядя на его розовые щеки, правильные черты лица, прямую осанку и быстрые движения, трудно было поверить, что ему очень много лет и смерть давно подбирается к ослабевшему сердцу.

Большую часть многочисленных недугов, одолевавших почтенного камергера, я относил за счет его разгулявшихся нервов и потому, чтобы немного развлечь старика, предложил ему пойти в цирк. Как ни странно, он охотно согласился. В тот же вечер мы сидели вдвоем в первой от входа ложе перед пустой — хотя назначенный час давно миновал — ареной и слушали громогласные звуки, издаваемые квартетом, состоящим из скрипки, барабана, гармоники и рожка. Доморошенный оркестр старался изо всех сил. С сольным номером выступил скрипач, и я был поражен виртуозностью исполнения. Приглядевшись внимательнее, я, к моему удивлению, узнал в лысом еврее-скрипаче однополчанина, который некогда своей чудесной игрой помогал нам коротать часы на привалах и на маршах.

Наконец представление началось. Жалкие номера и дешевые острооты быстро развеяли всплывший в памяти романтический образ цирка. Пан Стефан, как человек воспитанный, не показывал своего разочарования, хотя, насколько я мог заметить, отчаянно скучал. Программа открылась выступлением черного пони, которому было никак не меньше двадцати лет от роду. Он с явной неохотой передвигался по арене, нахально не обращая внимания на шелканье директорского бича. Из-за кулис выскочили два клоуна, один из них был карлик; они заполняли паузы между номерами, прыгая по арене и развлекая публику глупыми анекдотами; потом вышла какая-то танцовщица и, наконец, директор цирка, не старый еще, мало привлекатель-

ный с виду еврей в соломенном канотье а-ля Морис Шевалье исполнил несколько песенок, которые не показались мне ни забавными, ни остроумными, более того, они не были даже вульгарны. Толпа гоготала и была в ладоши: в зале сидели мелкие мещане, рабочие, солдаты, школьная молодежь. Мне стало тоскливо.

Объявили четвертый номер программы. На арену выбежала труппа акробатов. Она состояла из четырех человек: маленькой девочки, с виду не старше восьми лет, мальчика лет четырнадцати, двадцатилетнего юноши и пожилого атлета с могучими плечами и злыми круглыми черными глазами. Трюки акробатов труппы «Корона», как гласила афиша, не отличались большой изобретательностью, однако исполнялись в хорошем темпе, а молодые циркачи были поразительно грациозны. Девочка, яркая брюнетка с зеленоватым отливом кожи, порхала точно ласточка; мальчики — оба светловолосые, очень похожие друг на друга — были, по-видимому, братьями.

Выступление труппы прошло так удачно, что мы с паном Стефаном приободрились и с возросшим интересом стали следить за другими номерами, поджидая возвращения артистов «Короны».

И в самом деле, состав цирковой труппы был невелик и на арену, сменяя друг друга, выходили одни и те же актеры. Маленькая акробатка выступила соло, потом был объявлен танцевальный номер и трое юных акробатов вместе с немолодой танцовщицей (женой директора) исполнили на деревянной эстраде классическую русскую пляску. Мальчики в голубых шелковых рубашках танцевали легко и стремительно, каждое их движение было отточено и безукоризненно красиво. Своим танцем они внесли в заурядно-унылую, пошлую цирковую программу очаровывшую меня жизнерадостную нотку. Я взглянул на пана Стефана: кривая улыбка исчезла с его губ, лицо стало серьезным и слегка порозовело. Танец вызвал бурю аплодисментов, хлопали и мы, а поскольку наша ложа выдавалась вперед, то львиная доля улыбок и воздушных поцелуев, посылаемых юными акробатами, досталась нам.

Программа заканчивалась эффектным номером: старый акробат, лежа на деревянном настиле, удерживал на поднятых вверх ногах большую лестницу. Старший из братьев взбирался на эту лестницу, устанавливал на ее концах две стеклянные бутылки и, встав на них кончиками пальцев, в течение нескольких секунд жонглировал стеклянными шарами. Все это происходило под самым куполом цир-

ка — лестница была очень длинная, — и юноша, балансирующий на радужном стекле, рассыпающий вокруг себя яркие искры, казался застывшим в заоблачной выси ангелом с картины Джотто.

После представления я зашел за кулисы к лысому скрипачу. Тот от души обрадовался. Ему смертельно надоела бродячая жизнь, вечные ссоры и интриги цирковых актеров, замучила тоска по привычному мирному быту еврейского местечка. Мы за полночь засиделись за бутылкой вина, и я узнал всю подноготную про его жену, детей, братьев и невесток.

Наутро я обнаружил под слоем штукатурки того самого ангела, о котором вскоре узнала вся Польша и чьи фотографии облетели страницы мировой печати. Художник поместил его в верхней части готической арки: взмахнув крылами и раскинув руки, он спускался откуда-то с высоты к земной юдоли. Глядя на звезды у его ног и льющуюся сквозь пальцы радугу, я вспомнил давешнего акробата на лестнице.

Пан Стефан был потрясен, увидев этот шедевр, — ему одному я показал свое открытие, не успев даже хоть сколько-нибудь укрепить фреску. С моей стороны было крайне неосторожно снимать с нее защитные мокрые тряпки, я мог все этим испортить, но мне не терпелось доказать старому меценату, что и я чего-то стою и что реставрация коллегиаты так или иначе станет событием знаменательным.

Моему старому другу ангел на стене коллегиаты тоже напомнил молодого акробата. Вечером того же дня мы, не сговариваясь, встретились в первой от входа в цирк ложе, чтобы, подавляя зевоту, слушать дурацкие куплеты и томиться в ожидании появления легкого мальчика на библейской лестнице, ногами подпирающего искрящееся стекло, с искрящимися цветными шарами в руках. Мой приятель скрипач познакомил меня с актерами труппы «Корона», а я представил их пану Стефану. Мы узнали, что девочка — украинка из-под Тернополя, мальчишки — силезцы, а глава труппы — лодзинский еврей; последний, похоже было, держал своих юных коллег в ежовых рукавицах. Ангелоподобного юношу звали Зигфрид; младший, родившийся уже после плебисцита¹, носил имя Станислав.

¹ Имеется в виду плебисцит 1920—1921 годов, в результате которого принадлежавшая Германии часть Верхней Силезии была возвращена Польше.

На следующий день, отправившись, по своему обыкновению, на прогулку в городской парк, пан Стефан наткнулся на Зигфрида, который в обществе моего друга скрипача любовался прекрасным видом. Обменявшись с циркачами несколькими фразами, пан Стефан пригласил их к себе на чашку чая.

Дом, в котором жил камергер, стоял неподалеку от коллегиаты, на таком же обрыве, как в парке, и раскрывавшийся с его балкона вид был сказочно красив. Река в этом месте делала величественную излучину на фоне ярко-зеленого луга; окрест тянулись плоские поля, среди которых были разбросаны островки старых деревьев, крыши домов, замков и костелов; окоймляли этот пейзаж Бескиды. Квартира пана Стефана состояла всего из четырех комнат, убранных с большим вкусом. В кабинете и спальне стены были уставлены книжными шкапами, в промежутках среди полок висели старые картины; все в целом носило характер мрачноватый, но весьма внушительный.

Гости явились строго в назначенный час. В сером костюме из домотканого сукна и простой бязевой рубашке, коричневой в синюю клетку, с отложным воротничком, открывавшим смуглую шею, Зигфрид выглядел гораздо прозаичнее, чем на арене. Говорил больше скрипач, Зигфрид внимательно ко всему присматривался, жадно слушал рассказы камергера и задал несколько совсем неглупых вопросов, когда же пан Стефан упомянул о Венеции, попросил рассказать об этом городе подробнее. Сели пить чай. Зигфрид держался непринужденно и с большим достоинством, свойственным представителям старинных крестьянских или рабочих семейств. То, что он увидел, как нетрудно было заметить, не привело его в чрезмерный восторг, однако вызвало живой интерес. Пан Стефан с приятным изумлением наблюдал за реакцией юноши.

На следующий день Зигфрид пришел к нему в дом один, без приглашения. Камергер был удивлен. Зигфрид был смущен, но скоро овладел собой и объяснил причину своего появления. Он был настолько поражен увиденным здесь и услышанным, что позволил себе вернуться и попросить пана Стефана, не расскажет ли тот еще о чем-нибудь... Старика такой оборот событий несколько обескуражил. Для начала он во всех подробностях расспросил своего нового знакомого об его жизни. История юноши оказалась предельно проста. «Работает» с шести лет, в школе никогда не учился, а тем, что умеет читать, писать и считать, обязан клоуну-лилипуту, который раньше занимался с

ним, а теперь обучает его брата и черноволосую украиночку. Из этого рассказа пан Стефан понял, что замученный работой, с ранних лет с головой окунувшийся в атмосферу бродячего цирка, мальчик просто-напросто не подозревал о существовании какой-то иной жизни; когда же теперь, в возрасте двадцати двух лет, он неожиданно столкнулся с незнакомым миром и вместо стен домика на колесах увидел книги и картины, венецианское стекло и английское серебро, что-то шевельнулось в его душе. В тот день пан Стефан о многом рассказал юноше: о путешествиях, чужих городах и странах, о людях, о знаменитых театрах и парижских цирках, потом разговор перешел на книги. Больше всего интересовало Зигфрида, для чего их пишут: он наивно и настойчиво допытывался у старика, какой смысл заключен в каждой и «все ли в них правда».

Прощаясь, он обещал на следующий день снова появиться у пана Стефана и попросил его вечером прийти на представление: «Я буду стараться специально для вас, я только о вас буду думать».

Когда мы вечером встретились с паном Стефаном в ложе, нарочно для нас оставленной, меня поразила перемена, происшедшая с Зигфридом. Мальчик не был хорош собою, только милая улыбка освещала его худое лицо. Во время исполнения сложных трюков это лицо обычно застывало, превращаясь в бессмысленно-сосредоточенную маску; такое тупое баранье выражение можно подчас видеть у силачей и атлетов в решающие моменты состязаний. Однако на этот раз я заметил в глазах у юноши проблеск живой мысли, точно легкое облачко, пробежав по лицу, загло светлые искорки в зрачках; и еще я заметил в его глазах, когда он стоял на лестнице под куполом цирка, тень задумчивой грусти. Я поделился своими наблюдениями с паном Стефаном, и тогда он мне рассказал о двух визитах юноши.

К сожалению, несмотря на явные старания, трюки в тот вечер не удавались Зигфриду. И он сам и его товарищи ловко маскировали промахи и неудачи, но мы, свидетели его прошлых успехов, сразу заметили, что мальчику изменила уверенность движений. Мячи выпадали у него из рук; булавы, которыми он жонглировал, рассыпались по арене; лестница, на которой крутилась колесом проворная украиночка, угрожающе раскачивалась, а коронный номер с бутылками и шарами закончился с молниеносной быстротой. Меня это немного встревожило. Но на следующий вечер все прошло гладко, хотя видно было, что Зигфрид на-

прягает все силы, заставляя непокорные мускулы повиноваться.

Как я узнал от пана Стефана, Зигфрид приходил к нему ежедневно и засыпал старика бесконечными вопросами. Когда камергер выходил в город, мальчик оставался в его кабинете, листая старые журналы и восхищаясь иллюстрациями, каждая из которых была для него волшебной новинкой. Чудо человеческого бытия, богатство природы, красоту и уродство — он все открывал для себя впервые. Вволю насладившись картинками, Зигфрид набросился на книги. Каждый день он уносил от камергера по пять-шесть книжек и читал ночи напролет. Он забросил тренировки, по утрам тоже погружаясь в чтение.

Камергер понял, что такой образ жизни может дурно отразиться на профессиональном мастерстве Зигфрида, и попытался ему это втолковать. Однако наблюдение за расцветающей юной душой было для старого брюзги и эгоиста занятием настолько новым и необычным, что ему не хотелось лишать себя этой радости. Он подробнейшим образом излагал юноше смысл многих вещей, как он их понимал, часами рассказывал, как «взаправду», по выражению акробата, живут в далекой Англии — стране, населенной теньями персонажей Шекспира.

Я не узнавал своего старого друга. Он воистину помолодел. При встречах он не уставал говорить о чуде, свершающемся у него на глазах. Чужие жизни его никогда особенно не интересовали, теперь же он испытывал подлинную радость творчества, сознавая, какую играет роль в формировании молодого ума. Он почти забыл о своих недугах, когда внезапный приступ заставил его вспомнить про сердце. В тот день вечером старик вызвал меня к себе. Оказалось, что он изменил свое завещание: часть состояния выделил на учреждение четырех специальных стипендий для выпускников местной гимназии, а все остальное предназначил на реставрацию коллегиаты. И, к большому моему сожалению, избрал меня исполнителем своей последней воли.

Зигфрид пришел при мне. Видно было, что он чувствует себя у камергера как дома, но при этом я не заметил в его манере держаться ни следа развязности или нескромности. Он принес стопку книжек, прочитанных либо просмотренных, расставил их по местам в библиотеке и отобрал себе другие. Узнав, что у пана Стефана был приступ, искренне огорчился. Подали чай. Я остался и принял участие в их беседе.

Нетрудно было убедиться, что Зигфрид и пан Стефан не слишком хорошо понимают друг друга. Камергер, одинокий и замкнутый старый человек, из гордости и упрямого эгоизма обрекший себя на жизнь в провинции, на старости лет прозрел, захваченный процессом рождения человека в молодом акробате. Само сознание этого наполняло его иссохшее сердце глубокой радостью. И потому он оставил без внимания главное — то, что, по моему мнению, составляло суть переживаний Зигфрида. Акробат, интересовался ли он Венецией или Нью-Йорком, Платоном или Словацким, ни в чем не проявлял поверхностного любопытства. Ему не так уж нужна была широта знаний, которую он полной мерой получал от пана Стефана, окрыленного своим успехом: наконец для чего-то пригодилась его высокая эрудиция! Зигфрида мучил один главный вопрос: где найти правду? Простая крестьянская душа юноши, пробудившись и открыв для себя огромный и страшный мир, жаждала как можно скорее отыскать в этом мире надежный путевой компас, нить Ариадны, которая провела бы его сквозь запутанный лабиринт жизни. Пан Стефан — увы! — не мог дать ему этой нити, и я невольно подумал, не скрывается ли здесь опасность.

В то время я со своими помощниками трудился над освобождением из-под слоя штукатурки остальной поверхности, заключенной внутри готической арки. Дойдя донизу, мы обнаружили у ног ангела группу осужденных на вечные муки грешников, которых сей возвышенный ангел сталкивал в преисподнюю. Нам казалось, что он застыл в воздухе, чуть пошевеливая перстами; на самом же деле своей тонкой рукой он низвергал грешников в пропасть, а то, что мы приняли за величавое парение, было стремительным полетом разгоряченного погоней преследователя, швыряющего звезды вослед падшим душам. Композиция стала более грозной и прекрасной, чем была раньше, но я в душе пожалел об одиноком ангеле в тесном полукружье кирпичной арки, чья миссия не казалась тогда столь беспощадной.

Несмотря на слабость и одышку, пан Стефан взобрался на лестницу, чтобы получше разглядеть обновленную фреску в целом. И ему, похоже, было жаль одинокого ангела, тем паче что в своем новом, грозном обличье, попирающий стопами сбившиеся в кучу тела грешников, он утратил сходство с Зигфридом.

Шли последние дни гастролей цирка в нашем городке. Мой приятель скрипач в свою очередь пригласил меня по-

обедать в городской ресторанчик. Я просидел с ним часа три, выслушивая рассказы из цирковой жизни, похожей на сценарий посредственного фильма. Немолодая супруга директора была, по-видимому, влюблена в Зигфрида, но заботилась о нем, как родная мать. Девочка-акробатка металась во сне, и по ночам в тесном фургончике раздавались стоны и восклицания на украинском языке. Скрипач заметил, что атмосфера в цирке изо дня в день сгущается. У него появилось предчувствие, что нынешнее турне не закончится благополучно — слишком высокого накала достигли страсти под брезентовым куполом. Я только посмеялся над пророчествами моего друга, тем более что слово «страсти» он произносил со своеобразным забавным акцентом. На мой взгляд, все, что там творилось, больше смахивало на комедию.

Вечером я пошел на представление только из-за пана Стефана — вид у него был скверный, и мне не захотелось оставлять старика одного. Вскоре я почувствовал, что в цирке, как и в сердце пана камергера, что-то разладилось. Зигфрид исполнял свои номера нехотя и небрежно. Время от времени, в самые ответственные моменты, он бросал в сторону нашей ложи быстрые взгляды: в них были преданность и восхищение, но порой, как мне показалось, мелькал страх. Дело дошло до того, что он упустил лестницу с маленькой украинкой, которая застыла в позе выплывающей из моря русалочки, крепко схватившись левой рукой за перекладину. Находившийся на арене служитель спас девочку и Зигфрида, поймав лестницу на лету. Номер продолжался. Все улыбались зрителям, но нельзя было не заметить, что на арене разыгрывается драма. Когда старый акробат, уперев в живот длинную палку, принялся, точно знаменем, размахивать уцепившейся за другой конец девочкой, я увидел на глазах у Зигфрида, следившего за каждым ее движением, слезы. Они текли, оставляя темные дорожки, по напудренным щекам. Маленький Стась, тоже заметивший эти слезы, улыбался публике, согнувшись в изящном поклоне. Плохо, когда акробат плачет на арене.

Назавтра я узнал от моего скрипача, что вчерашний день был для цирка неудачным во всех отношениях. Утром кто-то поймал маленькую украиночку, когда она отправляла письмо, составленное прислугой доктора, жившего неподалеку от цирка. В письме Дарка умоляла мать забрать ее из этого «ада», потому что она не в силах дольше выносить такие мучения. Девочку раздели донага, и старый акробат выпорол ее ремнем. Точно я не уверен, но,

кажется, подобная участь постигла и Зигфрида за то, что он уронил лестницу.

Настал последний день пребывания цирка в городе. Несмотря на осеннюю пору, стояла жара. Утром пан Стефан, хотя очень плохо переносил такую погоду — ему все время не хватало воздуха, — привел Зигфрида в коллегия-ту, чтобы показать ему возрожденную фреску. Мне это было совсем ни к чему, потому что пришлось снимать с фрески полотно, пропитанное составом, который я согласно собственной системе прописал ангелу. Но сияющий камергер, обмахиваясь соломенной шляпой и тяжело дыша, терпеливо ждал, пока я открою грозного ангела.

Здесь же, в костеле, я заметил первые тревожные симптомы. Зигфрид, взобравшись на леса, долго разглядывал фреску. При непосредственном сравнении сходство между ангелом и акробатом полностью утрачивалось и только больше бросалась в глаза их непохожесть. Наконец Зигфрид отвернулся и понуро отошел в сторону. Лицо его изменилось до неузнаваемости, глаза возбужденно блеснули. Он задумчиво опустил на скамью и с добрых полчаса сидел, склонив голову набок, с огромным внутренним напряжением всматриваясь в картину над алтарем. Мы молча стояли рядом.

Когда вечером того же дня за полчаса до представления я зашел к пану Стефану, то, к своему большому удивлению, застал у него Зигфрида. Юноша взволнованно расхаживал по кабинету, глаза его сверкали, волосы то и дело в беспорядке падали на лоб. Пан Стефан наблюдал за ним с умилением. Он был очень бледен и все время вытирал платочком пот со лба. Я поспешил отправить Зигфрида в цирк, опасаясь, как бы ему снова не досталось за опоздание. Когда мы остались вдвоем, старик рассказал мне, какой спор разгорелся между ним и его учеником. Зигфрид буквально прижал камергера к стенке и потребовал от него прямого ответа на вопрос, чему служит все богатство культуры, в тайны которой старый эстет посвятил молодого актера. Каков ее смысл и значение? Каковы взаимоотношения с истиной? Так приблизительно можно было изложить сущность беспорядочных и бессвязных вопросов, которыми, точно стеклянными шарами, забросал камергера юный циркач. Бедняга совсем запутался, когда пан Стефан сказал, что единой истины не существует, что мы ничего до конца не знаем и даже не располагаем доказательствами о существовании бога.

— Вы не можете себе представить, какое превращение

произошло с мальчиком за десять дней! — воскликнул пан Стефан. — У него стало совершенно другое лицо! Сколько он за это время передумал... — Старик надолго замолчал, потом сказал: — Знаете, я первый раз в жизни испытываю такую радость общения. Я впервые присутствовал при рождении человека. И только теперь понял, что же такое человек. — И, вздохнув, добавил: — Всю жизнь я был слеп.

Я не сумел удержаться от замечания, что, пожалуй, несколько поздновато делать такие важные открытия. Камергер как-то странно взглянул на меня. Я испугался — в его глазах я увидел могильную тоску и холод. Ответ прозвучал подчеркнуто серьезно:

— Нет, не поздно. Никогда не бывает слишком поздно. И мы отправились в цирк.

Ни разу еще Зигфрид не выглядел так хорошо и не исполнял своих номеров с такой виртуозностью. Его движения были легки и радостны, точно он сам упивался своей ловкостью и силой. Мячи так и мелькали у него в руках. В жонглерском номере Зигфрид обычно проделывал такой трюк: кидал в публику большой серый мяч, а когда кто-нибудь из сидящих в зале возвращал его обратно, ловил мяч на конец трубочки, которую держал зажатой в зубах; при этом он смотрел прямо в глаза партнеру. В тот вечер он трижды кидал мяч пану Стефану и трижды ловил его на трубку; их взгляды скрещивались, и я подумал: вот сейчас он три раза задал один и тот же вопрос и три раза получил на него ответ. Глаза Зигфрида, обычно ясные и безжизненные, излучали какую-то темную, затаенную силу.

Я вспомнил легенду о богородице и жонглере и поделился этой мыслью с камергером. Он кивнул головой. На губах у него промелькнуло подобие улыбки. Я видел, каких усилий стоила ему игра с мячом, и теперь он никак не мог прийти в себя. В цирке было душно, сквозь щели в брезенте сверкали отблески молний, в воздухе висела последняя летняя гроза.

Зигфрид превзошел самого себя. То, что он проделывал на арене, нельзя было назвать обычным цирковым номером. На наших глазах происходило священнодействие, воздание почестей некоему великому и таинственному существу, игра, цель которой была вознести хвалу и испросить прощение у всемогущей высшей силы. Жонглерство обернулось молебствием.

Наконец подошло время последнего номера. Когда, точно орудие пыток, внесли лестницу, я взглянул на мо-

его соседа; мне показалось, что лишь остатки жизни трепетали в его немощном теле.

Зигфрид появился на арене неожиданно, одним прыжком выскочив из-за кулис. Он был бледен. Быстро взобравшись на лестницу, он установил там свои бутылки и встал на них кончиками пальцев. В свете прожекторов Зигфрид стройной башенкой высился под небом цирка. Я снова вспомнил ангела с фрески. А мальчик вынул из кармана шесть разноцветных шаров и подкинул их в воздух. Шары сверкали всеми цветами радуги, и каждый из них неуклонно совершал свой путь, обозначенный твердой рукой акробата.

Лицо Зигфрида, оставаясь мертвенно-бледным, снова исчезло под прежней неподвижной маской циркового актера. Белые, полные отраженного света округлившиеся глаза безотрывно следили за шарами, а резкие складки, пролегшие от крыльев носа к губам, выдавали, каким усилием юной воли, стиснув зубы, он управляет полетом колдовских шаров. Цветные бутылки у его ног рассыпали тысячу искр, точно крылышки на ногах Меркурия.

Это продолжалось бесконечно долго. Гораздо дольше, чем обычно. Соскучившаяся, встревоженная публика подняла шум:

— Хватит, довольно!

Внезапно выражение лица Зигфрида резко изменилось. Он широко раскрыл глаза, словно увидел позади своих шаров что-то очень для себя важное, на губах расцвела милая улыбка. Еще несколько секунд он машинально продолжал жонглировать шарами и вдруг швырнул их все вниз движением бога, разгневавшегося на мир, осудившего на небытие звезды, сбившиеся со своих орбит.

Промелькнуло еще одно мгновение, по лицу юноши разлился страх, сверкнули белки закатившихся глаз, губы дрогнули, открывая крепко сжатые зубы. И в ту же секунду две бутылки, будто две кометы, вылетели у него из-под ног, очертив великолепные дуги в сияющем свете прожекторов, и юный ангел, обретя весомость, рухнул вниз, задев головой барьер ложи напротив нас.

Я не мог броситься вместе со всеми на арену в напрасной надежде спасти акробата. Пан Стефан схватил меня за руку, изогнулся и, закрыв глаза, упал в кресло. По лицу его разлилась смертельная бледность. Я попытался отыскать пульс. Старик был мертв.

Агапито Хоакин

Сын акробата

Маринг давно старалась подготовить себя к этой минуте, но, когда увидела, что Нестор уже добрался до конца веревочной лестницы, внутри у нее похолодело. Отсюда, с жесткой деревянной скамьи, казалось, что ее сын стоит под самым куполом, чуть ли не касаясь головой брезента. Нестору уже шестнадцать лет, но она все еще считала его малышом. Конечно, под трапедией натянута сетка, но если Нестор сорвется с высоты в сорок футов...

Маринг принялась горячо молиться про себя. С противоположной стороны по другой веревочной лестнице уже поднимался акробат, который должен перехватить Нестора. Ну, у этого руки сильные, за него можно не беспокоиться. Матерь божия, только сделай так, чтобы Нестор не промахнулся!

С тех пор как Рафаэль начал тренировать их сына, она знала, что наступит этот момент. Знала и с ужасом думала об этом. По ночам она вскрикивала от ужаса и просыпалась, дрожа всем телом и обливаясь холодным потом, а потом долго лежала с открытыми глазами и не могла отогнать ужасное видение: бесформенное тело, распростертое на посыпанной опилками арене... Вот Нестор срывается... падает... а она ничего не может сделать, чтобы спасти, удержать сына, которого она когда-то носила на руках...

Маринг на секунду зажмурилась, а когда снова открыла глаза, то заставила себя смотреть не наверх, а на арену, где у веревочной лестницы стояли Рафаэль и мистер Торрес, хозяин цирка. Лицо мистера Торреса ничего не выражало — он был достаточно опытен и научился с видимым безразличием взирать на молодых людей, которые хотели удивить его сногшибательным номером. Это была его ра-

бота — отбирать зеленых юнцов, готовых рискнуть жизнью, чтобы развлечь публику и заставить ее выложить деньги. Сейчас для хозяина Нестор не человек, который может свернуть себе шею, а просто товар, за который, возможно, стоит уплатить, если окажется, что это принесет выгоду.

Комок подступил к горлу. Что бы там ни говорил Рафаэль, а сейчас они продавали Нестора. Сверстники ее мальчика ходят в школу, гуляют, встречаются с девушками... А Нестор сейчас в пустом цирке будет показывать хозяину свое искусство воздушной акробатики, будет летать под куполом, чтобы заинтересовать хозяина. Если все пройдет хорошо, то в семье будет верный кусок хлеба.

Рафаэль только отводит глаза, когда она заводит разговор на эту тему. Нестору было семь лет, когда Рафаэль сорвался с трапеции. Он остался жив, но уже не мог выступать. И как только он вышел из больницы, то сразу же начал готовить сына к работе под куполом, где уже не мог летать сам...

Она была против этого с самого начала.

— Хватит с нас и того, что ты переломал руки и ноги, — сказала она тогда. — Неужели ты желаешь такого же будущего нашему мальчику?

— Что ты говоришь, Маринг? — ответил Рафаэль. Он еще еле двигался, но тут вдруг встал и взволнованно заговорил: — Цирк — это же вся моя жизнь. Не забывай, там я прилично зарабатывал. И потом — чему еще я могу научить сына? Дать ему образование? Но ведь я теперь не работаю, и у нас нет на это денег.

— Если тебя беспокоят деньги, Рафаэль, — твердо сказала она, — то тогда положишься на меня. Бог нас не оставит! Я буду торговать на рынке, буду брать стирку — как-нибудь выкрутимся и выучим сына.

Рафаэль ничего не ответил, и Маринг пожалела о сказанном. Его молчание свидетельствовало о том, как глубоко задела его ее слова. Рафаэль всегда был хорошим отцом. Он прав — цирк давал семье неплохие деньги, даже сейчас они еще жили на то, что удалось скопить до несчастья с мужем.

— Прости, Рафаэль, — сказала она. — Я только хотела сказать, что я готова перенести любые трудности. Но я не хочу, чтобы Нестор связал свою жизнь с цирком.

— Ты не понимаешь, Маринг, — устало ответил Рафаэль. — Ты ничего не понимаешь. Это не из-за денег... я тоже готов претерпеть любые лишения, но...

— Но что, Рафаэль?

Рафаэль смотрел на жену, но, казалось, не видел ее.

— В цирке знают имя Рафаэля Сельги. И ты тоже знаешь, Маринг, что не было и не будет акробата, который сравнялся бы со мной на трапеции.

— Знаю, это я знаю, — ответила Маринг, все еще не понимая, куда клонит муж.

— А теперь, — продолжал Рафаэль не слушая ее, — хозияин хочет скрыть свою преступную небрежность, не хочет вспоминать о том несчастном случае. Мистер Торрес не признается, что именно он приказал убрать сетку в тот злополучный вечер — ему хотелось загрести побольше денег. Он боится, что придется возместить мне ущерб. Он хочет, чтобы мое имя исчезло из памяти зрителей.

— Бог ему судья, Рафаэль, — сказала Маринг. — Но при чем здесь Нестор?

— Неужели ты не понимаешь? — Рафаэль снова сел и проникновенно сказал: — Я хочу, чтобы Нестор стал знаменитым воздушным акробатом. Дело не в деньгах, понимаешь? Я хочу, чтобы он стал знаменитым артистом, каким был я, и чтобы мое имя не стерлось из памяти людей. Нестор Сельга, сын Рафаэля Сельги, король трапеции!

И вот сейчас Рафаэль стоит у веревочной лестницы и не отрываясь смотрит вверх. У него блестят глаза, и он улыбается. Он всегда улыбался так, когда Нестору во время тренировок удавался новый прыжок, поворот в воздухе, удачный перехват... Но она отлично знала, что при этом у него бешено бьется сердце, а про себя он горячо шепчет молитвы...

После того разговора с Рафаэлем прошли годы, и все эти годы Маринг носила свою боль в сердце одна. Муж тоже переживал, она знала это, но они не делились своими тревогами и опасениями, тем, что больше всего угнетало их обоих.

И когда сегодня Рафаэль предложил ей пойти с ними в цирк Торреса на просмотр, она послушно собралась и пошла.

— Неужели обязательно к мистеру Торресу? — только и спросила она.

— Но ведь это единственная большая труппа на Филиппинах, — ответил Рафаэль. — Только там у него будет возможность проявить себя, поехать на гастроли за границу...

— А примет ли его мистер Торрес? Ты же знаешь, как он поступил с тобой.

— Примет! — уверенно ответил Рафаэль. — Такого акробата везде примут. Я точно знаю, что Торресу позарез нужен воздушный акробат. Он его возьмет с руками и ногами, как только увидит, как наш мальчик работает на трапедии.

Маринг словно пробудилась от кошмарного сна, когда увидела, что Нестор уже спускается по веревочной лестнице. До нее не сразу дошло, что испытание кончилось. До этого она старалась не смотреть под купол, чтобы не видеть, какой опасности подвергался ее мальчик.

Маринг встала и подошла к сыну, которого обнимал Рафаэль. Увидев ее, Нестор высвободился из объятий отца и в свою очередь обнял ее.

— Ты видела, мама? — с гордостью спросил Нестор.

Она хотела ответить, но в это время Рафаэль обратился к мистеру Торресу:

— Ну, что вы скажете о моем мальчике?

Мистер Торрес одобритительно кивнул:

— Недурно. Очень даже недурно.

— Берете его?

Мистер Торрес не отвечал, и в сердце Маринг затеплилась надежда: может быть, хозяин откажет, и тогда ее сыну не придется заниматься такой опасной работой...

Но вот мистер Торрес разжал губы и сказал:

— Беру, Рафаэль. Беру, но при одном условии.

Маринг повернулась к мужу. Рафаэль нахмурился и спросил:

— А что это за условие, мистер Торрес?

Маринг ждала ответа затаив дыхание. Но мистер Торрес снова умолк.

— Что это за условие, мистер Торрес? — не выдержав, повторила она вопрос мужа.

— Ему придется взять другое имя, — сказал наконец мистер Торрес, разглядывая копчики своих туфель. — Он будет работать у меня только при таком условии.

Маринг и Рафаэль словно потеряли дар речи. Увидев, что они не могут вымолвить ни слова, Нестор сам обратился к хозяину цирка:

— Но почему, мистер Торрес?

— Нам и так пришлось понести немалые расходы, прежде чем забылся инцидент с твоим отцом, Нестор. Из-за его ротодейства тогда поползли такие слухи, что чуть не пришлось закрыть цирк.

Услышав эти несправедливые слова, Маринг тем не менее испытала огромное облегчение — все решалось само

собой: Рафаэль никогда не согласится на это, ведь это означало бы крушение всех его надежд возродить свое имя. Вот сейчас Рафаэль возьмет сына за руку, и они уйдут из цирка, чтобы уже не возвращаться сюда...

— А насчет денег ты не беспокойся, Рафаэль, — услышала она голос мистера Торреса. — Я слышал, что тебе приходится туго, и готов пойти навстречу. Твой сын будет получать хорошие деньги.

— Дай ему пощечину, Рафаэль! — хотелось крикнуть Маринг. — Дай ему пощечину! Покажи этому кровопийце, что нам не нужны его деньги!

Но когда она повернулась к мужу, слова застряли у нее в горле. Рафаэль покорно склонил голову, он соглашался! Лицо его покрылось потом, и он хрипло прошептал:

— Сколько, мистер Торрес? Сколько вы будете платить Нестору?

Джованни Арпино

Лилипутка Габи

Теперь я знаю. Теперь я поняла. Счастье — это ничто, состоящее из ничего, туман без запаха, без формы и смысла.

Вот так же бывает со здоровьем — начинаешь понимать, что это такое, только когда вдруг заболеешь. И еще счастье похоже на ореховую скорлупу, в которой орех занял все свободное пространство внутри. О счастье вспоминаешь, лишь когда скорлупа раскалывается от сильного удара, и тебе внезапно приходится самому решать, тепло сейчас или холодно, где достать еду и постель. И сразу рушится привычный уклад жизни, все идет вкривь и вкось. Одеваешься и сам не понимаешь, почему ты надел эти лохмотья, а не те; причесываешься, и вдруг рука с гребнем застывает неподвижно. И если кто-нибудь сказал бы мне сейчас: «Какое прежде было прекрасное время, не правда ли, Габи?» — я бы, вероятно, посмотрела на него как на сумасшедшего.

Теперь все обо мне заботятся, стараются мне услужить. Но, заведя меня, подходят осторожно, как к больному, который лежит в постели. Вымученные улыбки друзей должны меня приободрить и придать мне мужества. Но никто у меня ничего не спрашивает и не делится со мной сплетнями. Иногда я слышу, как подруги смеются и ссорятся, но только тайком от меня, где-нибудь на лугу или в уголке нашего фургона. Никто меня больше не зовет, не велит раздраженным голосом отыскать запропастившийся канат и невесть куда закатившиеся шарики. Фокусник Канарис больше не подшучивает надо мной. А когда старый клоун

Челестино подходит прихрамывая и смущенно протягивает мне пирожное, у меня больно сжимается сердце. Даже хозяин, грозный «кавалере», больше не кричит на меня, а вчера даже назвал меня «синьорина». Как будто я не понимаю и не вижу, что для меня все кончено или, что еще хуже, только начинается, начинается вновь.

Вечером я никак не могу уснуть. Ворочаюсь в кровати, смотрю на свое одеяло в желтую и черную клетку и всем телом ощущаю пустоту за деревянной стеной. Изредка кто-нибудь из зверей глухо зарычит в своей клетке, а когда старая и больная тигрица Малезия начинает кашлять и чихать, мне кажется, будто это свистит ветер, пригибая траву на лугу.

И каждый вечер, хоть постепенно картина отдалается и становится все меньше, словно я гляжу в перевернутый бинокль, перед глазами возникает залитый светом крохотный ринг. Гремит оркестр, и сноп света выхватывает в одном углу ринга моего «Маленького Тарзана», а в другом — шимпанзе «Сингапура» в белых коротких трусиках, в красных боксерских перчатках и с махровым полотенцем вокруг шеи. Это самый смешной номер во всей программе. Многие зрители каждый вечер ходят в наш цирк только ради бокса, и среди них не найдешь никого, кто бы не смеялся все девять минут, до того самого момента, пока судья — клоун Челестино не перелетает через канаты, а «Сингапур», получив сильнейший удар в челюсть, не падает на пол, скорчив при этом преуморительную гримасу. Потом «Маленький Тарзан» поочередно во всех четырех углах ринга кланяется почтеннейшей публике, вскинув вверх руку в красной перчатке, оркестр захлебывается в звуках бравурного марша, гаснут огни, и «Маленький Тарзан» прямо по траве быстро подбегает ко мне, мокрый от пота.

— А как запястья? — первым делом спрашиваю я, вытирая ему спину.

— Хорошо, сегодня хорошо... Пиво «Сингапуру» сама дашь. И смотри, чтобы оно не было холодным, — тяжело дыша, отвечает «Маленький Тарзан».

Потом, не сняв халата, бежит в наш фургон и запирается на ключ. Спагетти уже давно его ждут. Угостив «Сингапура» пивом, я становлюсь на пост у лесенки. Под моей надежной охраной «Маленький Тарзан» уминает спагетти, низко склонившись над столом. Уходя, он многозначи-

тельно проводит рукой по щеке, что означает «сегодня спагетти были на славу». Из рукавов халата торчат его руки с покрасневшими запястьями, слишком тонкими и слабыми даже для лилипутов. У меня, например, они крепкие, жилистые.

— Рано или поздно кавалере заметит, что ты ешь спагетти до окончания спектакля, и тогда штрафа тебе не миновать. И солидного, — говорю я, осторожно массируя ему запястья.

— Пусть только попробует... — сытно осклабившись, отвечает «Тарзан». — Пусть попробует, мы с ним живо расстанемся, с ним и с его вшивым цирком... Да мы с этим номером, если хочешь знать, можем выступать в Америке! Или в настоящем театре. А не в этом балагане.

— Конечно... Но я-то что буду делать в твоей Америке? — пугаюсь я.

— Ты? Ты могла бы быть судьей вместо Челестино, либо... менеджером. А еще в перерывах между раундами будешь нас массировать, меня и «Сингапура»... Ведь ты лучше всех знаешь «Сингапура», даже лучше, чем я. Представляешь, мы с тобой выступаем в настоящем театре!..

— Все это очень заманчиво. Но не забывай, здесь нас кормят круглый год, — возражаю я.

Поблескивая чуть ословелыми глазами и попыхивая сигаретой, он торопливо застегивал мне на спине пуговицы и, хлопнув по плечу, выталкивал на луг. А там под гулкую дробь индейских барабанов девушки-акробатки танцевали эротический танец вокруг священного огня. Перед этим им густо красили щеки, а в волосы втыкали перья. Я должна была передразнивать танцовщиц, испуская вопли и пародирова их движения. И еще предлагать первым рядам зрителей откритки, изображавшие «Маленького Тарзана», либо «Сингапура», который боксирует сам с собой перед зеркалом.

Лишь это запечатлелось в моей памяти ясно и отчетливо. Все остальное видится мне точно сквозь пыльное облако, из которого внезапно вылетают осколки далеких и смутных эпизодов. Хотя нет, я отлично помню и тот день, когда впервые увидела, как «Маленький Тарзан» плачет, спрятавшись за буйволиным загоном... Но я стараюсь отогнать от себя это воспоминание, словно могу таким образом замедлить стремительный ритм событий, разыгрывавшихся потом.

«Маленький Тарзан» плакал у загона, уронив голову на колени и обхватив своими тоненькими руками затылок.

Увидев его, я вначале застыла на месте, не в силах поверить, что его плечи в самом деле сотрясаются от рыданий. В тот миг я почему-то вспомнила, что, не говоря уж о «Маленьком Тарзане», сама никогда в жизни не плакала. До сих пор перед глазами стоит эта сцена: ничего не понимая, без единой мысли в голове, я робко подошла поближе и молча стала ждать.

В конце концов он все мне рассказал. Мы сидели обнявшись в пугающей тишине, и я, прижимаясь к его плечу, беспрестанно повторяла себе: «Смотри не заплачь и ты, кретинка! Молчи и не задавай вопросов».

За последнюю неделю он подросток еще на два сантиметра. До этого он за полмесяца также подросток на два сантиметра.

— Со мной что-то случилось, должно быть, я болен... — сказал он, не глядя на меня и покусывая губу. — Понимаешь? На целых четыре сантиметра! У меня не хватило духу тебе сказать. Разве ты не заметила, что вот уже десять дней я хожу только в теннисных туфлях? Еще три сантиметра — и конец всему: я больше не смогу боксировать с «Сингапуром». Зрители веселятся, потому что я ниже «Сингапура». А если я стану выше его, все скажут, что я избиваю бедное животное. Целых три года потрачено, чтобы подготовить этот номер, а выступать с ним можно было все двадцать лет. Ну а теперь? Снова стать клоуном? Либо, если еще больше подрасту, подсобным рабочим?

Я до того растерялась, что не смогла ему ответить. Молча смотрела на желтоватую луговую траву. Ветер доносил к нам из-за загородки терпкий запах буйволов; в одном из фургонов мерно гудел трансформатор. Вдалеке тонкой рыбьей косточкой вытянулись вдоль дорожки люди, игравшие в шары.

— У меня и руки выросли, — слабым голосом сказал «Маленький Тарзан». — Посмотри на запястья... Видишь? Видишь, как они затвердели?

Сердце внезапно сдавило обручем черного отчаяния, но я постаралась улыбнуться своему другу и принялась бережно измерять длину его руки от плеча и до самой ладони.

— Тебе надо тут же, не медля сходить к врачу, но только к толковому, — сказала я. — А до этого — никому ни слова. И, главное, не проговорись кавальеру. Скорее всего, это запоздалый скачок в росте. Такое часто случается. Но больше чем до метра тридцати сантиметров ты наверняка не доберешься. Ручаюсь тебе...

— До метра тридцати! Но тогда я все равно не смогу боксировать с «Сингапуром». Пойми же, тогда все конечно! После трех лет работы! А ведь я надеялся, что буду выступать до тех пор, пока «Сингапур» не состарится; да и потом — новый шимпанзе стоит недорого, и его можно быстро обучить приемам бокса... Ну а если я вырасту, с кем мне тогда выступать? С гориллой? Как по-твоему, могу я, «Маленький Тарзан», снова кувыркаться в опилках, опрокидывать ведро с краской на голову другому лилипуту либо вываливаться на ходу из машины? Мне уже скоро тридцать...

Он беспрестанно глотал слюну и смотрел на меня широко раскрытыми от ужаса глазами.

— Успокойся, успокойся, мой хороший. Зачем волноваться и переживать заранее? Разве не лучше подождать, чю скажет врач. Вот увидишь, врач, профессор...

Но теперь черное отчаяние уже не сжимало сердце обручем, а давило тяжелым камнем.

— Я ел слишком много спагетти. Как думаешь, может, тут спагетти виноваты? — жалобным голосом спросил «Маленький Тарзан», хрустя пальцами. — Смотри, Габи, не вздумай их снова варить! Ясно тебе? Попробуй только снова поставить их на стол.

Мы не решались больше взглянуть друг другу в лицо, сидели молча. Он тяжело вздыхал, а я мысленно перебирала в уме все доступные нам, лилипутам, цирковые номера, которые мой друг давно возненавидел, пытаюсь вспомнить, отчего мы начинаем вдруг расти, и тоскливо, в полнейшей растерянности спрашивала себя, что же теперь будет с нами, с нами двумя... Не в силах выдавить из глаз ни единой слезы, я смотрела на группу людей наверху, которые убивали игрой в шары пустое полуденное время перед цирковым представлением.

Когда я сейчас вспоминаю бесконечные визиты к врачам, ко всем этим профессионально вежливым профессорам с их стандартной любезной улыбкой, меня охватывает бешенство. А эти бесчисленные врачебные кабинеты, то сверкавшие белизной, то мрачные и серые, в которых мы побывали за несколько месяцев! Я обычно ждала в коридоре, сжимаясь под взглядами пациентов и стыдясь детей, неизменно встречавших меня испуганным криком...

«Маленький Тарзан» почти перестал есть — в обед много зелени и груша, — отказался от пива и чая, выкури-

вал не больше сигареты в день и вечером, переодеваясь, перед тем как выйти на ринг, весь дрожал. Он уже не в силах был легко и непринужденно двигаться по рингу и выглядел теперь неуклюжим, согнувшимся. А рядом с горбившимся «Маленьким Тарзаном» казался странным, каким-то сонным и «Сингапур». Барабаны гремели быстро и ритмично, а «Маленький Тарзан» и «Сингапур» двигались медленно, точно пьяные, и судья Челестино, бедняга, напрасно пытался развеселить публику своими ужимками и кульбитами.

Я горько плакала за кулисами и отчетливо слышала проклятия кавалере, удивленные возгласы Канариса и другого клоуна; с задних рядов, где сидели ребята и солдаты, до меня доносились сквозь грохот оркестра отдельные, пока еще робкие свистки. Теперь, когда я в своем костюме индианки обходила зрителей, мне удавалось продать все меньше открыток с изображением «Маленького Тарзана» и «Сингапура».

Врачи терялись в догадках и говорили, что «Маленький Тарзан» с одинаковым успехом может остановиться в росте и расти дальше. И даже самый добрый из них — он отказался от гонорара, потому что его особенно заинтересовала сама необычность явления, — в ответ на мои вопросы все чаще неопределенно пожимал плечами. За две недели «Маленький Тарзан» подрос еще на полтора сантиметра и теперь достиг метра двадцати семи сантиметров. Кавалере, то приветливый, то пугающе мрачный, сжав пальцы в кулак и посасывая мундштук из слоновой кости, почти весь день не сводил с нас пытливого взгляда своих раскосых глаз. Он беспрестанно распекал меня, яростно кричал на других артистов, грозя им штрафом, вдвое увеличил часы тренировок. И я знала — страх потерять «Маленького Тарзана» со временем не помешает ему дать моему другу решающий бой.

Ночью «Маленький Тарзан», лежа рядом со мной в своей кровати, больше даже не вздыхал. Хлопая ресницами, смотрел в деревянный потолок, шупал локти, а на мои вопросы отвечал нервным «чего тебе». Нередко, проснувшись посреди ночи, я заставляла его за одним и тем же занятием — сидя на постели, он силился достать ногами до пола.

В одну из таких ночей я сказала ему: «При чем здесь мускулы и кости, мой маленький? Неужели ты не понимаешь, что дело в железах, это и врачи говорят». А он: «По-

молчи! И лучше не упоминай при мне этих жуликов врачей, которые у меня все до последней лиры вытянули. — Он сердито нахмурился. — Спи. Мне уже ничто не поможет». Потом, словно желая испытать всю силу моей боли, моего страха, встал и попытался дотянуться рукой до крохотного окошка фургона; внезапно соскочил с кровати и, не удостоив меня ни единым взглядом, подпрыгнул и повис на косяке двери; надбровье его прорезала глубокая морщина.

— Еще вчера я не дотягивался до окна, клянусь тебе, чем угодно могу поклясться, — простонал он. И тут у него вырвались слова, которые раскаленным железом вонзились мне в подреберье: — Я дважды несчастлив в этой проклятой жизни, дважды! Вначале и теперь, в самом начале и теперь... А ты молчи, что ты можешь понять?! Ведь ты родилась и осталась лилипуткой. Так молчи».

Затем молча лег в постель. За целый месяц он ни разу не приласкал меня. И все-таки я не желала сдаваться. «Хочешь немного шпинату? Я вмиг подогрею... Нельзя же весь день голодать! Хочешь?» — говорила я, зная, что не получу ответа.

Вытянувшись под одеялом, он снова молча разглядывал потолок либо мрачно ошупывал плечи, локти, запястья. И я уже знала, что на следующий день он будет ходить взад и вперед по лугу, мимо фургонов, нервно покуривая сигарету, а кавальере, с трудом сдерживая ярость, будет следить за ним сквозь приоткрытую дверцу своего ярко разрисованного автофургона... Каждый раз, глядя в эти минуты на «Маленького Тарзана», я испытывала дикий страх, что он внезапно начнет стремительно расти ввысь...

И я зажимала рот рукой, чтобы отчаянно не завопить. Теперь во мне жили лишь страх и бесконечная усталость, которая болью отзывалась в каждом мускуле.

Я знаю, в чем моя вина. Одолей моя любовь страх, и я бы ему сказала: не печалься, ты вырастешь, станешь как все остальные люди. И еще я должна была ему сказать: все кончится как нельзя лучше, ты полюбишь не лилипутку вроде меня, а настоящую большую женщину, красивую акробатку или служащую... Но страх был сильнее всего. И потому я без единой слезинки прочла однажды утром записку, которую он оставил на моем столике:

«Моя дорогая Габи, сегодня я уже добрался до метра

тридцати, и мне остается лишь уйти куда глаза глядят. Вообще-то я уже давно собирался уйти. Деньги из ящика стола взял я. Вот увидишь, кавальере тебя не прогонит. Не сердись на меня за деньги. Они мне нужны, ведь я хочу уехать и забиться в самый дальний угол. Теперь, когда я стал другим, мы больше не можем любить друг друга. Забудь меня».

Я так и просидела с запиской в руках до той поры, пока не пришли Канарис, Челестино и сам кавальере. Только один он и сумел встряхнуть меня, яростно завопив на всех. И я поняла, что так и нужно; сразу же поднялась, стала что-то делать и очень быстро вошла в обычный ритм рабочего дня.

Я так и не смогла выдавить из себя ни одной слезы даже ночью. Все окружили меня заботой и вниманием, Челестино, хромая, протягивал мне пирожное, а Канарис, надев фрак, вместо прежних шуток изгибался в преувеличенном поклоне.

Сейчас уже поздно, я стою и смотрюсь в зеркало, «Сингапуру» уже принесли в клетку ужин. Играет оркестр, а я ни о чем не думаю, знаю, что это самое лучшее. Слушаю, как играют трубы — каждый звук больно ударяет в голову, — и стараюсь ни о чем не думать, ни о чем.

— Дорогая Габриэла, готова?

Вошла Крема, мать двух сестер-близнецов, работающих на трапедии. Старая, толстая женщина, она продает возле кассы прохладительные напитки. Прежде она тоже была отличной акробаткой, но теперь для всех нас она лишь Крема. Так ее прозвали за то, что вся она, от затылка до самых икр, представляет сплошной слой жира. Она все время либо что-то жует, либо ругает мужчин, которых ненавидит.

Я начинаю раздеваться, потому что Крема должна потуже забинтовать мне грудь. Поверх бинтов и пластырей я натяну цветную майку, подрисую себе усики и тогда смогу боксировать с «Сингапуром», как прежде «Маленький Тарзан». Потому что зрителям не понравилось бы, что с обезьяной боксирует женщина. Мне пришлось также остричь волосы.

«Сингапура» я прекрасно знаю — на полный желудок и в надежде на кружку пива он все разыграет как по нотам. Ну а Челестино лишь гарнир к рагу. Кавальере говорит, что никто из зрителей не заметит, что у меня ноги хоть и

очень маленькие, но женские, в то время как у «Маленького Тарзана» они были по-мальчишески упругими и ровными. Будем надеяться. Я продумала каждую мелочь. Этот номер нужен всем нам.

— Ну как, Габи, готова? — отдуваясь, спрашивает Крема.

Загрохали барабаны; должно быть, уже зажглись огни. Я и «Сингапур» должны выйти с двух противоположных углов и одновременно подняться на ринг.

Это будет мой дебют. С нынешнего дня меня зовут Чико — «Могучий лилипут».

В афише моя фамилия стоит третьей.

Элберт Карр

Похищение кошки

Самый большой гонорар в своей жизни я получил за то, что нашел кошку. Вот так оно и бывает. Изобличал убийц, разыскивал украденные драгоценности, а пять тысяч монет мне отвалили всего раз в жизни, да и то за кошку. Не простую, это уж не сомневайтесь. Речь идет о знаменитой Диззи.

Забавно, что еще до того, как начались события, мы с женой ходили в «Орфеум» специально, чтобы посмотреть этот номер.

ДИЗЗИ ПЕРВАЯ В МИРЕ ДРЕССИРОВАННАЯ КОШКА ДЕЙВА НАИТА —

вот что стояло в афишах. Моя жена совершенно помешана на кошках — у нас и своих-то две штуки, — так вот, когда она увидела рекламную статью, то сразу прочитала ее мне.

А там рассказывалось, что этот Дейв Найт выступал с ничем не примечательными короткими номерами: репризы, чечетка, чревовещание, и так как он не блистал ни в том, ни в другом, ни в третьем, то почти дошел до ручки. И вот однажды на улице Найт увидел, что о его ногу трется котенок. Паршивенький такой, одна лишь шкурка, да кости, да блохи, да писк, а Дейв не такой уж любитель кошек... И все же он сказал: «О'кэй, дам молочка», — сунул котенка в карман и отнес в свою комнатку, которую снимал в доме без лифта в Гринвич Виллидже. Там он его накормил, почистил щеткой и не успел оглянуться, как сделался хозяином котенка, потому что вышвырнуть беднягу вон у Дейва уже не хватило духу.

Кошечка оказалась настоящим гением — не хуже любой ученой собаки или шимпанзе, — да что там, даже лучше. В газете говорилось, что Дейв назвал ее Диззи¹, когда заметил, как она делает сальто, играя веревочкой. Мало-помалу он обучил ее разным трюкам, и она привыкла делать их даже на сцене и не боялась ни яркого света, ни шума, покуда Дейв стоял возле нее. Как раз в ту пору снова начало входить в моду варьете, и когда антрепренеры посмотрели этот номер, они смекнули, что это нечто новенькое. Найт и Диззи произвели фурор, разъезжая по всей стране. В статье говорилось, что в мире существует чуть ли не десять миллионов кошек, но Диззи не имеет себе равных — она единственная кошка, которая вышла в разряд крупнейших налогоплательщиков. Найт выколачивал по тысяче в неделю и застраховал жизнь Диззи на сто тысяч долларов.

Жена сказала, что, пока не увидит все это собственными глазами, ни за что не поверит, и не успел я оглянуться, как мы оба были уже в пальто и держали курс на «Орфеум». Мы пришли во время номера, который назывался «Три грации и порок» (очень неплохая комическая танцевальная группа — три девушки, рыженькая, блондинка и брюнетка, и парень, который откалывал презабавные колленца). Потом выступал Макинтайр, ирландский чародей, — ему помогал карлик, одетый эльфом, — и чародей этот показал нам уйму разных трюков: чтение мыслей, фокусы с картами, рапирами и другими предметами, которые вдруг пропадали неизвестно куда. Работал он чисто. Однако гвоздем программы была Диззи.

Не кошка, а загляденье. Пушистая, серенькая, с черными тигриными полосками, белой грудкой, белыми лапками и хвостом, словно от чернобурки. А мордочка! Кошки обычно все похожи друг на дружку, у этой же были огромные янтарные глазищи, длинные белые усы и до того чистосердечный и умильный вид, что моя супруга прямо разомлела.

Весь номер держался на ней. Найт — самый обыкновенный веснушчатый парнишка, каких полным-полно в каждом колледже, очкастый, подстрижен ежиком и ухмыляется от всей души. У него хватило смекалки не вылезать на первый план. Начал он просто — велел ей сесть, потом лечь и притвориться мертвой, как это делают собаки. Найт сказал, что Диззи умеет делать все фокусы, какие делают

¹ Головокружительная.

собаки, но только лучше. Стоя на задних лапках, она в такт музыке колотила передними. На ней даже были маленькие боксерские перчаточки. Потом она принялась кувыряться в воздухе и перепрыгивать через три движущихся обруча. Оркестр заиграл румбу, и они очень мило сплясали — Дейв отбивал чечетку, а Диззи двигалась вокруг него на задних лапочках и даже чуть-чуть покачивала боками, от чего публика восторженно взревела.

С чревовещанием у них тоже неплохо получилось. Она устроилась у него на колене, словно кукла, и принялась быстро разевать и закрывать свой ротик, так что казалось, будто именно она и разговаривает этаким визгливым мяукающим голосом. А под конец Дейв приволок какую-то штуковину, похожую на маленький ксилофон, с которой свисали тонкие металлические пластинки. Стоило Диззи ударить лапкой по одной из них, как раздавался звук, и... уж хотите — верьте, хотите — нет, но кошка прыгала, лупила лапками по пластинкам, и выходило у нее «Родина, милая родина».

Публика просто ошалела от восторга; моя жена потом целую неделю ни о чем другом не могла говорить. Поэтому, когда на следующее воскресенье утром зазвонил телефон и мужской голос сказал: «Вы — Джек Терри? С вами говорит Дейв Найт», — я сразу понял, с кем имею дело. Он сообщил, что ему рекомендовал меня управляющий «Орфеумом» — Эдди Томпсон, мой школьный товарищ, — и что он хочет видеть меня как можно скорей.

Я пригласил его к себе в контору. Он пришел не один, а с девушкой, которую представил мне как мисс Мерибет Льюис и в которой я тут же признал одну из граций, ту третью, черненькую. Совсем молоденькая, большеerotая, с премилым личиком и божественной фигурой, о чем я смело мог судить, так как видел ее на сцене. Оба они были бледны и встревожены, и Найт без предисловий приступил к делу.

— Пропала Диззи, — сказал он. — Вы должны ее найти.

— Послушайте, — ответил я. — Ведь я же сыщик, обыкновенный частный соглядатай, как называют нас на телевидении. А вам нужно что-нибудь вроде общества защиты животных. Очень вам сочувствую, но я просто не знаю, с какого конца тут взяться.

Найт оказался парнем с головой. Он не стал меня уговаривать, а просто сказал: «Если вы ее найдете, я заплачу вам пять тысяч долларов. Это все, что я накопил, но я вам их отдам».

— Сумма солидная, — заметил я. — Да только мало ли что могло случиться, а вдруг она попала под грузовик?

У Найта сделалось такое лицо, словно это он сам попал под грузовик, а девушка воскликнула: «Пожалуйста, не говорите так, мистер Терри!»

— Видите ли, — ответил я. — Не хочу вас пугать, но сами понимаете, когда кошка бегает по улицам большого города, с ней может приключиться что угодно. К тому же вы, очевидно, не так уж сильно пострадаете. Мне помнится, была какая-то страховка на сто тысяч?

— Да поймите вы! — воскликнул Найт. — Эта кошка как бы часть моего существа. Я ее и за миллион бы не продал. Что до страховки, ее выплачивают только в случае смерти, да и то при определенных обстоятельствах. Если же кошка потерялась, то мне вообще ничего не полагается.

— А она потерялась?

— Не знаю. Не могу понять. — Он все время теребил свои густые рыжеватые волосы. — Вы не представляете, как я за ней смотрю. Буквально не спускаю глаз. Она спит на моей кровати, мы даже едим вместе.

— Может, она взяла выходной, — заметил я, желая его успокоить. — У нас есть кошка, которая любит иногда выбраться в свет.

— Диззи ни разу ничего подобного не делала, — ответил Найт, качая головой.

Я спросил:

— А почему бы вам не предложить вознаграждение?

— У Диззи на шее есть ремешок с ярлычком, — пояснил он, — и там указана моя фамилия и обещано пятьсот долларов каждому, кто найдет ее и доставит ко мне или в полицию. В полицию я тоже сообщил — они обещали иметь в виду.

Разговаривая с Найтом, я все время незаметно наблюдал за ним.

Он не был похож на человека, способного угробить кошку ради страховки. Я подумал, что, если откажусь ему помочь, жена мне сроду не простит, и, хотя не рассчитывал на успех, согласился.

— Сделаем так, — сказал я. — Если я разыщу ее в целости и сохранности, мы с вами потолкуем о вознаграждении. А если ее нет в живых, то вы уплатите мне лишь обычный гонорар и покроете расходы. О'кэй? А теперь расскажите мне обо всем подробно. Как она пропала?

Найт сказал:

— Это случилось вчера вечером в театре. Я стоял за кулисами и ждал, когда окончит выступать Макинтайр, чародей. Я всегда становлюсь там минут за десять до нашего номера и держу на руках Диззи, чтобы она привыкла к свету и шуму. — Он явно волновался, но говорил толково и по существу.

— И тут Бартон... ну, Билл Бартон, он танцует в номере Мерибет — подходит ко мне. Он хотел показать мне какую-то веревку, которая болталась прямо над тем местом, где Диззи скачет через обручи. Он сказал, что Диззи может напугаться. С того места, где я стоял, веревки не было видно, тогда я сунул Диззи в коробку и пошел с Биллом.

— Секундочку. Коробку вы оставили открытой?

— Нет, запер. Собственно, это не коробка, а кожаный чемодан, который я специально заказал для Диззи. Выбраться она не могла. Разве что кто-нибудь открыл коробку.

— Значит, открыли, — вставил я. — Валяйте дальше.

— Билл оказался прав. Веревка нам действительно помешала бы. Я сходил за служителем и попросил его влезть наверх и убрать веревку.

— Но если вы были на сцене, — заметил я, — как получилось, что публика вас не видела?

— В начале своего номера Макинтайр работает за ширмой. Как раз за ней я и стоял.

— Ну а теперь скажите... сколько продолжалось ваше отсутствие?

— Не больше трех минут. Сперва я решил, что какой-нибудь любопытный открыл коробку, чтобы посмотреть на Диззи.

— Все вечно норовят ее погладить, — сказала Мерибет.

— Однако, — продолжал Найт, — если бы Диззи выскочила из коробки, она подошла бы ко мне. Она всегда так делает. Но ее не было. Мы обыскали все — кулисы, уборные. Я звал ее; обычно стоит мне ее позвать — она бегом несется, но не тут-то было. Когда Макинтайр закончил свой номер, мне пришлось сказать Томпсону, что не смогу выступать. Он объяснил зрителям, что случилось, и попросил их дать нам знать, если кто из них увидит кошку, — мы думали, что она как-нибудь пробралась в зал. Но никто ее не увидел.

Я спросил:

— Вы, стало быть, считаете, что ее вынули из коробки умышленно... то есть украли?

— Похоже на то, — ответил Найт. — Но кто это мог сделать? У нас в театре — все мои друзья и все любят Диззи. Да и куда бы ее спрятали? И как удалось бы незаметно вытащить ее из театра? Нет, это просто чушь.

Я пораскинул мозгами и задал следующий вопрос:

— Простите за бесцеремонность, но мне хотелось бы знать: то, что вы пришли сюда вместе с мисс Льюис, — просто случайность?

Они переглянулись, и Найт сказал:

— Здесь нет никакого секрета. Мы помолвлены. Во всяком случае... — Он не договорил.

— Дейв! — сказала Мерибет. — Ты отлично знаешь, что мы выкрутимся. — Она повернулась ко мне. — Мы хотим пожениться, когда окончится срок наших контрактов. Но сейчас Дейв все время твердит, что без Диззи он ничего не стоит и не имеет права меня связывать. Как будто какая-нибудь кошка — пусть даже такая, как Диззи, — может решить, быть людям вместе или нет. Ведь это же смешно, да, мистер Терри?

— Смешно, — подтвердил я, окидывая ее взглядом — воистину лакомый кусочек. — Как давно вы знакомы?

— Да уже несколько месяцев, — ответила она. — Мы вместе ездили на гастроли. И когда выступали в Новом Орлеане, поняли, что любим друг друга, да, милый?

Найт кивнул и сказал:

— Еще вчера жизнь казалась чудесной. А сегодня...

— Ну ладно, — сказал я, — Дайте-ка мне минутку подумать вслух, и не обижайтесь, если я что скажу не так. Я ведь еще ни в чем не разобрался. Так вы по-настоящему любите эту кошку? Вы к ней относитесь, как к человеку?

— А чем она, собственно, хуже? Конечно, я ее люблю.

Я сунул в рот сигару, зажег ее и погрузился в размышления. Подумав, я сказал:

— Жена однажды всучила мне роман одной француженки — Колетт ее фамилия, — и там рассказывалось про даму, которая так ревновала мужа к его кошке, что хотела ее убить.

Найт среагировал не сразу. Когда же до него дошло, он взорвался:

— Я думал, у вас есть голова на плечах. А вы псих!

Но меня больше интересовала Мерибет. Ее большие темные глаза сверкнули, однако ответила она очень сдержанно:

— Вы ошибаетесь, мистер Терри. Я не убийца и не похитительница, к тому же я люблю Диззи... и Дейва тоже.

— Всего лишь проверка, — пояснил я. Я понял, что с ней все в порядке. Женщина, которая называет убийством расправу над кошкой, не станет ни убивать, ни похищать животное.

— Прошу прощения. Теперь вернемся к фактам. Скажите, Найт, когда вы вместе с Диззи стояли за сценой, не вертелся ли кто-нибудь поблизости от вас?

— Ни души. И близко никого не было.

— А когда вы вернулись туда через три минуты?

— Все ушли за кулисы, так как ширму подняли, чтобы очистить Макинтайру место для заключительного номера. Макинтайр — единственный, кого я видел, стоя там.

«Дзинь!» — вдруг сработало что-то у меня в мозгу.

— А лилипут? Малютка эльф? Разве он не спускался раза два со сцены?

— Маленький Пэт? Постойте. А ведь верно. Он в самом деле ходил за какими-то подставочками для Макинтайра. Да, он, конечно, должен был пройти мимо коробки. Наверное, я к нему так привык, что просто не заметил.

— Но все равно, — сказала Мерибет, — Пэт ни за что не стал бы этого делать.

Тут я счел уместным уподобиться Шерлоку Холмсу, который никогда не упускает случая произвести впечатление на клиентов, и произнес:

— Когда мы исключим все невозможное, оставшееся, каким бы неправдоподобным оно нам ни казалось, будет единственным ответом на вопрос. Мне лично представляется, что это карлик Пэт. Он проходил мимо коробки. А значит, мог наклониться, открыть ее и вынуть кошку.

— А что он стал бы с ней делать? — спросил Нант. — Ему же надо было сразу вернуться на сцену.

Я откашлялся в предвкушении триумфа:

— Мне помнится, что в своем заключительном номере Макинтайр засовывает этого лилипута в ящик, из которого тот потом исчезает.

Найт так и дернулся.

— Вы правы! — сказал он.

— Рассмотрим факты, — заговорил я. — Ящик Макинтайра стоит за ширмой, откуда он не виден никому. Свидетелей нет. Подбежать с кошкой к ящику и сунуть ее туда — секундное дело. Мы предположим, что Пэт умеет управляться с ящиком. А когда кошка спрятана, Пэт берет свою подставку и направляется к чародею.

— Но в таком случае Диззи выпрыгнула бы, едва только Макинтайр открыл ящик, — сказала Мерибет.

Найт взволнованно вскочил.

— В том-то и дело, что Макинтайр усовершенствовал фокус. Я видел ящик. Он ставится над люком, и из него можно спуститься в подвал. Теперь все ясно.

Он пошел к дверям.

— Спокойно, — остановил я его. — Вы знаете, где можно найти сейчас лилипута?

— Утром я видела его в отеле, — сказала Мерибет, — и... постойте-ка! У него на лице был кусочек пластыря. Я еще подумала, что он порезался во время бритья.

— Сомнений нет, — проговорил я. — Идемте.

— Плевать мне на лилипута, — сказал Найт. — Поищем лучше Диззи. Может, она до сих пор сидит под сценой.

Я согласился, что в театр следует сходить раньше, и мы забрались в мой автомобиль. Возле театра стоял сторож, он пропустил нас в помещение. Найт был так взбудоражен, что то и дело порывался бежать. На сцене мы увидели несколько люков с лесенками, которые вели в большую комнату под сценой. Однако она оказалась пустой. В задней стене было открытое окно. Найт раздосадованно выругался.

— Вот отсюда-то она, наверно, и выскочила, — сказал он.

Окно выходило в переулок. Мы обшарили его вдоль и поперек, и Найт кричал:

— Диззи! Диззи, детка!

Все без толку. Кошки как не бывало.

— Это ужасно, — сказал Найт. — Конечно, кто-то ее унес. По своей воле она ни за что не ушла бы отсюда. Диззи не любит бегать по улицам.

— Поедьте в отель, — предложил я. — Мне хочется потолковать с малюткой эльфом.

Мы нашли его в столовой, где он завтракал в полном одиночестве. Бифштекс, не как-нибудь! Росточком он был фута в три, но одет щегольски. И пластыря уж он не пожалел.

Я не стал тратить времени.

— Пэт, — начал я. — А что под пластырем?

Он побледнел и пропищал:

— Порез. Я порезался.

— Можно взглянуть? — спросил я.

Он было рванулся, но Найт его придержал, и я сорвал наклейку. Так и есть — на щеке красовались три параллельные, коротенькие, но вполне основательные царапины.

По-видимому, Диззи была не из тех дам, которые одобряют вольное обращение.

Пэт сперва было заартачился и ничего не хотел говорить. Но я подсел к нему и перечислил по порядку все, что он делал, шаг за шагом.

— Ты даже можешь не рассказывать, кто тебя подстрекнул, — заметил я.

— Макинтайр, — произнес Дейв голосом, не сулившим ничего доброго чародею.

— Нет, — возразил я. — Ваш приятель Билл Бартон. Сколько он тебе заплатил, Пэт?

Карлик не стал запираяться.

Мерибет и Найт были поражены.

Она сказала:

— Не могу поверить.

— Все было ясно с самого начала, милый Ватсон, — воскликнул я. — Бартон нарочно подвесил веревку, чтобы устранить Найта и дать возможность лилипуту выкрасть кошку. К тому же у Бартона есть мотив. Если вы выйдете за Найта, то вы развалите ему весь номер. Возможно также, — добавил я, — что Бартон придерживается особого мнения насчет того, кто должен стать мужем мисс Льюис.

Я понял по ее лицу, что не ошибся.

Лилипут нарушил наконец зарок молчания и, обращаясь к Найту, прокрипел:

— Он говорил, что просто хочет придержать ее, пока вы не отлипнете. Он рассчитывал, что если вы уйдете из театра до окончания ангажемента, то Мерибет от вас отвыкнет, и он добьется своего.

— До скорой встречи, — сказал я лилипуту. — Надеюсь, что бифштекс не станет тебе поперек горла. Знаешь, что полагается за похищение детей? И не вздумай мне толковать, что это не совсем тот случай.

Мы решили, что Мерибет позвонит Бартону, чтобы узнать, дома ли он. Она ему не сказала, что придет не одна. Когда Бартон отворил дверь и увидел всю нашу троицу, он не выказал особого восторга. На сцене в гриме он казался недотепой, но здесь, в халате, он был парень хоть куда — красивый такой, высокий, темноволосый.

Найт не стал с ним церемониться. Пихнул его в кресло и заорал:

— Отдай мою кошку, сволочь, а то я тебе шею сверну!

Бартон сразу сообразил, что отпираться нет смысла. Я добавил, что если он не отдаст кошку, то угодит за решетку, и это его окончательно убедило.

— У меня ее нет, — сказал он. — Честное слово. Не знаю, что на меня тогда нашло. Я ведь тоже люблю Мерибет. К тому же мне надо было как-то спасать свой номер. Знаете старую пословицу: в любви и на войне все средства хороши.

Я всегда свирепею от таких рассуждений.

— Ладно, — сказал я, — война так война, — и залепил ему по морде. — А ну выкладывай, где кошка?

Он потер щеку и сказал:

— Убежала.

— Как это еще убежала? — гаркнул Найт.

Оказывается, что когда Пэт засунул кошку в люк, а Найт пошел искать служителя, Бартон помчался в комнату под сценой. Он хотел незаметно вынести Диззи из театра и на время где-нибудь ее спрятать. Но кошки в комнате уже не было — кто-то оставил там открытое окно, и Диззи выскочила вон. Когда пришел Бартон, там было пусто.

Я поверил ему, и Найт тоже поверил и снова принялся теревить свою шевелюру и охать:

— С ней что-то случилось, иначе нам дали бы уже о ней знать.

Мерибет сказала: «Дейв, голубчик!» — и он обнял ее. Я счел момент подходящим, чтобы вкратце выложить Бартону все, что я думаю насчет его происхождения и перспектив на будущее. Потом мы возвратились в театр, а Бартон остался сидеть как оплеванный. Я попросил Найта еще раз рассказать мне о страховке. В договоре было сказано, что, если кошка убежит или ее украдут, когда она оставлена без присмотра, компания не несет никакой ответственности. Формально это был как раз наш случай, так что Найт едва ли мог рассчитывать на страховое вознаграждение. Единственный его шанс был как можно скорее отыскать Диззи.

Я не очень-то представлял себе, чем я могу помочь, но чувствовал, что как-то должен оправдать свой гонорар. Когда мы вышли в переулок за театром, я остановился и сказал:

— Займемся психологией. Кошачьей психологией. Куда могла отправиться кошка, выскочив из этого окна? Мы будем исходить из того, что Диззи жива и способна передвигаться. Вне всякого сомнения, она скрывается в укромном месте, так как иначе ее уже нашли бы и принесли к вам, чтобы получить вознаграждение. И место, где она прячется, ей, очевидно, нравится, а то бы она давно уже оттуда убежала.

Найт кивнул.

— Верно, — сказал он. — В этом есть смысл.

Он с такой жадностью цеплялся за надежду, что жаль было смотреть.

— Теперь подумаем, — продолжил я, — что может так увлечь кошку, чтобы ей не захотелось уходить.

— Еда? — предположила Мерибет.

— Ни в коем случае, — ответил Найт. — Диззи очень разборчива в еде и ест только в определенные часы, причем ни за что не позволяет кормить себя посторонним. Едой ее не удержишь.

— Послушайте, — заметил я. — При всех своих аристократических наклонностях она все же кошка. А что больше всего интересует кошек, и особенно тех, у которых еще не было дружка?

— Ну, конечно, — воскликнула Мерибет. — Даю голову наотрез, что вы угадали.

— Я этому не верю, — сказал Дейв.

— Ты просто ревнуешь, — возразила Мерибет. — Что может быть естественней? Я тоже женщина. Я знаю.

— Коты любят тихие переулки, — добавил я. — И если они сейчас любезничают в каком-нибудь укромном уголке, то вот вам и причина, почему никто не обнаружил Диззи. Я давно заметил, что при подобных обстоятельствах кошки предпочитают уединение.

— Но тогда все погибло! — воскликнул Найт.

— Зачем так ужасаться? — удивился я. — Дело вполне житейское.

— Сейчас я вам объясню, — ответил он. — Я как-то разговаривал с одним кошачьим специалистом. Он говорит, что, судя по редкостным способностям Диззи, в ней несколько приглушены обычные инстинкты. И если бы у нее случился... э-э... роман с каким-нибудь котом, она уже не могла бы слушаться меня, как прежде.

— Возможно, — согласился я. — Но, несмотря на это, вам все же хочется ее найти, не правда ли?

— Ну, разумеется! Даже если она больше никогда не сможет выступать, я все равно хочу ее найти, — ответил Дейв.

— Тогда сдастся мне, то бишь я делаю логическое заключение, что надо отправиться на поиски кота. А где же следует искать кота в деловой части города? Жилых домов здесь нет. Бродячие кошки на эти оживленные улицы почти не забредают. Так что скорее всего его пужно искать по магазинам или в каком-нибудь ресторанчике.

Я оглядел переулок. Через несколько домов от театра я увидел дверь, возле которой валялась груда плетеных корзин для перевозки фруктов.

— Начнем отсюда, — предложил я.

И мы оказались у черного хода ресторана «Рандеву».

— Здесь у нас больше всего шансов, — заметил я, — так как это ближайший к театру ресторан. Идемте к парадному ходу.

Я не очень-то надеялся найти здесь Диззи, но все-таки начал поиски, чтобы подбодрить Найта, пока я, возможно, чего-нибудь не придумаю. Мы зашли в «Рандеву». Ресторан только что открылся после дневного перерыва и был почти пуст. Я разыскал хозяина — тучного, добродушного итальянца по фамилии Пирелли — и спросил его, есть ли у него кот.

— Есть, — ответил он, оглядывая зал. — Где-нибудь здесь. Почти всегда. Столик на троих?

— Не сейчас. А вы не скажете, где его можно найти? Кота то есть.

— Кота? Может, на кухне. Может, в погребе. Может, на улице. Он то приходит, то уходит. Зачем вам понадобился мой кот?

Я сказал:

— Вот послушайте. Это не шутки. Сбежала кошка, и мы ее ищем. Нам пришло в голову, что, может, она прячется здесь в переулке с каким-нибудь котом. Вы не позволите нам поискать его в ресторане на случай, если он привел сюда и нашу кошку?

Пирелли понял меня не сразу, но когда до него дошло, он засмеялся и сказал:

— Что за вопрос! Мой Томми просто неотразим для дам. Вы бы послушали, что тут иногда творится в переулке. Идемте поглядим. Я иду с вами.

Ни в столовой, ни в кухне Томми не оказалось.

— Осталось только одно место, — сказал Пирелли. — Это погреб.

И мы спустились в погреб. Когда Пирелли включил свет, послышалось мяуканье. Из-за каких-то бочек вылез дюжий черный котище и принялся тереться о ботинки Пирелли. Пирелли сказал:

— Здравствуй, Томми. Не принимаешь ли ты тут какую-нибудь гостью?

Котище взглянул на него и мяукнул басом. Тут из-за бочек раздалось более мелодичное мяуканье, и Дейв завопил: «Диззи!»

Да, Диззи собственной персоной лежала, растянувшись, на какой-то старой тряпке. Найт схватил ее на руки и начал целовать, а Мерибет тоже скакала вокруг нее. Они заявили, что я величайший сыщик в мире, что, возможно, было преувеличением; Пирелли поздравлял нас, а Диззи и котище мяукали. Внезапно Диззи вырвалась из рук Найта, подбежала к коту и начала о него тереться.

— Ага! — сказал Пирелли. — Вы видите? Я же вам говорил, что он неотразим для дам.

Не приходилось сомневаться, что Диззи тоже так считает. Когда Найт протянул к ней руку, кошка съежилась и зашипела. Найт бросил на нее взгляд, полный ужаса. Потом Диззи потерлась носиком о носик Томми, а Томми облизнулся, как облизываются все кошки, смущенные вниманием людей. И наконец Диззи стала крутиться на месте и, сделав три оборота, улеглась на бочок и вытянула лапки, мурлыча, как мотор, и глядя на кота большими томными глазами.

— Ты посмотри только, — хихикнула Мерибет. — Она дает тебе отставку.

Найт насупился.

— Не вижу ничего смешного, — сказал он. — Диззи. Ну же, Диз, детка.

Он протянул к ней руку, но она на него и не взглянула. Единственным, кто ее интересовал, был котище. Найт попытался снова взять ее на руки, но Диззи с угрожающим урчанием отскочила и выгнула спину дугой.

На Найте лица не было, да и не удивительно. Артистки больше не существовало. Осталась влюбленная женщина, и никто, даже человек, деливший с ней когда-то свое ложе, не имел права становиться между ней и ее возлюбленным.

— А если вместе с Томми? — сказала Мерибет.

Дейв просветлел.

— Это идея, — сказал он. — Мистер Пирелли, не продадите ли вы мне своего кота?

Пирелли идея не понравилась, он некоторое время упирался, но 25 долларов его убедили. Мы взяли большой ящик, сунули туда кошек и повезли их на такси к Найту в гостиницу. Кошки не протестовали, они были настолько поглощены друг другом, что такие мелочи, как перемена обстановки, их мало трогали. Найт метал на кота взгляды, какими разгневанный отец награждает соблазнителя своей дочери, но ничего не мог поделать.

Больше всего его, конечно, интересовало, станет ли Диззи по-прежнему показывать фокусы. Дейв включил

проигрыватель и попробовал заставить ее плясать и прыгать через обруч, но кошка только отворачивалась и с мяуканьем шмыгала к своему Томми. Когда мы унесли Тома в другую комнату, Диззи стала царапать дверь и устроила такой скандал, что нам пришлось тут же впустить его обратно.

— Ну ладно, — сдался Найт. — Свой выигрышный билет я потерял, но моя кошечка по-прежнему со мной.

— И твоя девушка тоже, между прочим, — сказала Мерибет. — Никакими ссылками на бедность ты от меня не избавишься. Посмотри на Диззи с Томом. Их не тревожит будущее. А тебя?

Найт поцеловал ее. Тут я кашлянул и сказал:

— Пожалуй, дело можно считать закрытым. Счастливого, я пошел.

Тогда они вспомнили обо мне и принялись трясти мне руку и благодарить меня.

Найт сказал:

— Насчет этих пяти тысяч. Вы их заслужили. Сейчас у меня нет всей суммы в банке, но на тысячу я вам выпишу чек сразу, а остальное через несколько дней. Идет?

— Нет, не идет, — ответил я. — Забудьте это. За кого вы меня принимаете? Если бы Диззи по-прежнему выколачивала по тысяче в неделю, тогда еще, может быть, был бы другой разговор. А сейчас вам самим понадобятся все ваши сбережения. Дело было веселое, и у меня нет никаких претензий, а должны вы мне ровно столько, сколько я всегда беру за день — пятьдесят долларов. Остальные четыре тысячи девятьсот пятьдесят — мой свадебный подарок. И не вздумайте мне перечить!

На том и порешили. Когда я спросил Найта, что он намерен делать с Бартоном и лилипутом, он ответил:

— А что толку скандалить? Оттого, что их накажут, Диззи не начнет выступать, а от огласки только пострадают ни в чем не повинные люди — Макинтайр и сестры Мерибет.

Он был славный парнишка. И Мерибет была ему хорошей парой. Они уехали в Нью-Йорк, чтобы подготовить там какой-то номер, и больше двух месяцев я не получал от них известий. Потом пришла открытка от Мерибет, где говорилось, что они счастливы и все еще не теряют надежды куда-нибудь приткнуться со своим номером. Там было сказано еще, что у Диззи родилось шестеро восхитительных котят — трое похожи на нее, двое на Томми, а один беленький — ни в мать, ни в отца. Они называли его Терри, в мою честь.

Судя по этой открытке, им приходилось туго, но они не унывали. Прошло еще несколько месяцев. И вот не далее чем вчера я снова получил от них письмо. Когда я его распечатал, оттуда выпал чек. На чеке проставлено — 4950 долларов. В письме же — вот что:

«По поводу чека. Это был не свадебный подарок. Мы просто жили на эти деньги до последнего дня и не знали, как вас благодарить. К тому же мы ведь условились, что деньги — ваши и, если бы мы оставили их у себя, то никогда себе этого не простили бы. Так что, пожалуйста, возьмите их — сейчас мы без них уже обойдемся.

Дело в том, что не так давно мы заглянули в комнатушку, где Диззи играла со своими котятами. И можете себе представить: она опять делала сальто-мортале. И вдруг... мы просто не поверили своим глазам — все котята один за другим тоже стали делать сальто-мортале!

Унаследованные способности, вот как это называется. Мы провозились с котятами уйму времени, сначала, чтобы удостовериться, что не ошиблись, потом начались дрессировки. И вот сегодня мы подписали контракт на весь сезон. Получили большой аванс, и нас будут показывать в кино и по телевидению. Полторы тысячи в неделю. Мы станем богачами.

Премьера в «Паласе». Публика будет убита наповал. У нас есть номер, где все шестеро котят одновременно перелетают через трапещию, а Диззи, как дрессировщица, стоит рядом и держит в лапке хлыст. Теперь уже можно не сомневаться, все наши котятки унаследовали от Диззи ее гениальность. Томми, конечно, не выступает. Но ему и не обязательно уметь делать фокусы. У него другие таланты.

В афишах мы названы так:

ЭТИ ЧУДЕСНЫЕ КОШКИ И НАЙТЫ

Когда мы окажемся в ваших краях, для вас и миссис Терри будет оставлено два билета. Желаем счастья.

С сердечным приветом Дейв, Мерибет, Диззи, Томми и Шестерка».

Моя жена ждет не дождется их приезда. По чести говоря, я тоже.

Г.-К. Честертон

Отсутствие м-ра Кана

Кабинет Ориона Гуда, видного криминолога и консультанта по нервным и нравственным расстройствам, находился в Скарборо, и за окнами его — как и за другими огромными и светлыми окнами — сине-зеленой мраморной стеной стояло Северное море. В таких местах морской вид однообразен, как орнамент; а здесь и в комнатах царил невыносимый, поистине морской порядок. Не надо думать, что речь идет о бедности или скуке — и роскошь и даже поэзия были там, где им положено. Роскошь была тут — на столике стояло коробок десять самых лучших сигар, но те, что покрепче, лежали у стены, а слабые — поближе. Был здесь и набор превосходных напитков, но люди с воображением утверждали, что уровень виски, бренди и рома никогда не понижался. Была и поэзия — в левом углу стояло столько же английских классиков, сколько стояло в правом английских и прочих физиологов. Но если кто-нибудь брал оттуда Шелли или Чосера, пустое место зияло, словно вырванный передний зуб. Нельзя сказать, что книги не читали; читали, наверное, и все же казалось, что они прикреплены цепью, как библия в старых церквях. Доктор Гуд чтит свою библиотеку, как чтут библиотеки публичные. И если профессорская строгость охраняла стихи и бутылки, нечего и говорить, с каким торжественным почтением служили здесь ученым трудам и хрупким, как в сказке, ретортам.

Доктор Орион Гуд мерял шагами пространство, ограниченное (как говорят в учебниках) Северным морем с востока, а с запада — рядами книг по социологии и криминалистике. Он был в бархатной куртке, как художник, но носил ее без всякой небрежности. Волосы его сильно поседели, но не поредели; лицо было худое, но бодрое. И он и его жили-

ще казались и тревожными и строгими — как море, у которого он (ради здоровья, конечно) построил себе дом.

Судьба, по-видимому, шутки ради, впустила в длинные, строгие, очерченные морем комнаты человека, до удивления непохожего на них и на их владельца. В ответ па вежливое, краткое «прошу» последняя дверь открылась вовнутрь, и в кабинет вошло бесформенное создание, безуспешно боровшееся с зонтиком и шляпой. Зонт был черный, старый, давно не ведавший починки; шляпа — широкополая, редкая в этих краях; владелец же их казался живым воплощением нелепой незащитности.

Хозяин со сдержанным удивлением глядел на него, как глядел бы на громоздкое, безвредное чудище, выползшее из моря. Пришелец смотрел на хозяина сияя и отдуваясь, словно объемистая служанка, втиснувшаяся в омнибус; как она, он светился наивным торжеством и никак не мог управиться с вещами. Когда он сел в кресло, шляпа упала, а зонт выскользнул; он наклонился, чтоб их поднять, но круглое, радостное лицо было обращено к хозяину.

— Моя фамилия Браун, — приговаривал он. — Простите меня, пожалуйста. Я из-за Мак-Нэбов. Говорят, вы в этих делах помогаете. Простите, если что не так.

Он изловил шляпу и как-то смешно кивнул, словно радовался, что все в порядке.

— Я не совсем понимаю, — сказал ученый сдержанно и холодно. — Боюсь, вы ошиблись адресом. Я — доктор Гуд. Я пишу и преподаю. Действительно, несколько раз полиция обращалась ко мне по особо важным вопросам...

— Это как раз очень важный! — прервал его гость-коротышка. — Вы подумайте, ее мать не дает им пожениться! — И он откинулся в кресло, явно торжествуя.

Ученый мрачно сдвинул брови. В глазах его поблескивал гнев, а может, смех.

— Понимаете, они хотят пожениться, — говорил человек в странной шляпе. — Мэгги Мак-Нэб и Тодхантер хотят пожениться. Что же на свете важнее?

Профессорские триумфы отняли у Гуда многое — быть может, здоровье, быть может, веру; однако он еще дивился нелепости. При последнем доводе что-то щелкнуло у него внутри, и он опустил в кресло, улыбаясь немного насмешливо, как врач на приеме.

— Мистер Браун, — серьезно сказал он, — прошло четырнадцать с половиной лет с тех пор, как со мной советовались по частному вопросу. Тогда дело шло о попытке отравить президента Франции на банкете у лорд-мэра.

Сейчас, как я понимаю, дело идет о том, годится ли в невесты некоему Тодхантеру ваша знакомая по имени Мэгги. Что ж, мистер Браун, я люблю риск. Берусь вам помочь. Семейство Мак-Нэб получит совет такой же ценный, как тот, что получили французский президент и английский король. Нет, лучший — на четырнадцать лет. Сегодня я свободен. Итак, что же у вас случилось?

Коротенький гость поблагодарил его искренне, но как-то несерьезно (так благодарят соседа, передавшего спички, а не прославленного ботаника, который обещал найти редчайшую травку), и сразу, без перерыва, перешел к рассказу.

— Я уже говорил, моя фамилия — Браун. Служу я в католической церковке, вы ее видели, наверное, — там, за мрачными улицами, в северном конце. На самой последней и самой мрачной улице, которая идет вдоль моря, словно плотина, живет одна моя прихожанка, миссис Мак-Нэб, женщина достойная и довольно строптивая. Она сдает комнаты, и у нее есть дочь, и эта дочь, и она, и постояльцы... ну, каждый по-своему прав. Сейчас там только один жилец, зовут его Тодхантер. С ним еще больше хлопот, чем с другими. Он хочет жениться на дочери.

— А дочь? — спросил Гуд, сильно забавляясь. — Чего же хочет она?

— Как — чего? — воскликнул патер и выпрямился в кресле. — Выйти за него, конечно! В том-то и сложность.

— Да, загадка страшная, — сказал доктор Гуд.

— Джеймс Тодхантер, — продолжал священник, — человек хороший, насколько мне известно, а известно о нем немного. Он невысокий, смуглый, веселый, ловкий, как обезьяна, бритый, как актер, и вежливый, как чичероне. Денег у него хватает, но никому не известно, чем он занимается. Миссис Мак-Нэб, женщина мрачная, уверена, что чем-нибудь ужасным, скорей всего — делает бомбы. Наверное, бомбы эти очень смирные — он, бедняга, просто сидит часами взаперти. Он говорит, что это временно, так надо, до свадьбы все разъяснится. Больше ничего и нету, но миссис Мак-Нэб твердо знает еще много вещей. Вам ли объяснять, как быстро порастают легендой пути неведения! Рассказывают, что из-за дверей слышны два голоса, а когда дверь открыта — жилец всегда один. Рассказывают, что человек в цилиндре вышел из тумана, чуть ли не из моря, тихо пересек и пляж и садик и говорил с Тодхантером у заднего окна. Кажется, беседа обернулась ссорой — хозяин захлопнул окно, а гость растворился в тумане. Семья в это

верит, но у миссис Мак-Нэб есть и своя версия: тот, «другой» (кем бы он ни был), выходит по ночам из сундука, который днем заперт. Как видите, за дверью скрыты чудеса и чудища, достойные «Тысячи и одной ночи». А маленький жилец в приличном пиджаке точен и безвреден как часы. Он аккуратно платит, он не пьет, он терпелив и кроток с детьми и может развлекать их без конца, а главное, он пленил стартую, и она готова хоть сейчас выйти за него замуж.

Люди, преданные важной теории, любят применять ее к пустякам. Знаменитый ученый не без радости снизошел к простодушному священнику. Усевшись поудобней, он начал рассеянным тоном лектора:

— В любом, даже ничтожном, случае следует учитывать законы природы. Тот или иной цветок может к зиме и не увянуть, но цветы — вянут. Та или иная песчинка может устоять перед прибоем, но прибой — есть. Для ученого история — цепь сменяющих друг друга миграций. Потоки людей приходят, затем — исчезают, как исчезают осенью мухи или птицы. Основа истории — раса. Она порождает и веры, и споры, и законы. Один из лучших примеров тому — дикая, исчезающая раса, которую мы зовем кельтской. К ней принадлежат ваши Мак-Нэбы. Кельты малорослы, смуглы, ленивы и мечтательны; они легко принимают любое суеверие — скажем (простите, конечно), то, которому учит ваша церковь. Надо ли удивляться, если такие люди, убаюканные шумом моря и звуками органа (простите!), объяснят фантастическим образом самые простые вещи? Круг ваших забот ограничен, и вам видна только эта конкретная хозяйка, перепуганная выдумкой о двух головах и высоком выходе из моря. Человек же науки видит целый клан таких хозяек, одинаковых, словно птицы одной породы. Он видит, как тысячи старух в тысячах домов вливают ложку кельтской горечи в чайную чашку соседки. Он видит...

Тут за дверью снова раздался голос, на сей раз — нетерпеливый. По коридору, свистя юбкой, кто-то пробежал, и в кабинет ворвалась девушка. Одета она была хорошо, но сейчас не совсем аккуратно. Ее светлые волосы развевались, а лицо ее назвали бы прелестным, если бы скулы, как у многих шотландцев, не были шире и ярче, чем следует.

— Простите, что помешала! — воскликнула она так резко, словно приказывала, а не извинялась. — Я за патером Брауном. Дело страшное.

— Что случилось, Мэгги? — спросил священник, неуклюже поднимаясь.

— Кажется, Джеймса убили, — ответила она, переводя дух. — Этот Кан опять приходил. Я слышала через дверь два голоса. У Джеймса голос низкий, а у этого — тонкий, злой...

— Кан? — повторил священник в некотором замешательстве.

— Его так зовут! — нетерпеливо крикнула Мэгги. — Я слышала, они ругались. Из-за денег, наверное. Джеймс говорил все время: «Так... так... мистер Кан... нет, мистер Кан... два, три, мистер Кан». Ах, что мы болтаем! Идите скорее, еще можно успеть!

— Куда именно? — спросил ученый, с интересом глядевший на гостью. — Почему денежные дела мистера Кана требуют такой срочности?

— Я хотела выломать дверь, — сказала девушка, — и не могла. Тогда я побежала во двор и вошла на подоконник. В комнате было совершенно темно, вроде бы пусто, но, честное слово, в углу лежал Джеймс. Его отравили, задушили...

— Это очень серьезно, — сказал патер и встал, собрав кое-как свои непокорные вещи, — я сейчас говорил о вашем деле доктору, и его точка зрения...

— Сильно изменилась, — перебил ученый. — Кажется, в нашей гостье не так уж много кельтского. Сейчас я свободен. Надену-ка я шляпу и пойду с вами в город.

Несколько минут спустя они достигли мрачного устья нужной им улицы. Девушка ступала твердо и неутомимо, как горцы; ученый двигался мягко, но ловко, как леопард; священник семенил бодрой рысцой, не претендуя на изящество. Эта часть города в какой-то мере оправдывала рассуждения о навевающей печаль среде. Дома тянулись вдоль берега прерывистым, неровным рядом; сгущались ранние, мрачные сумерки; море, лиловое, как чернила, шумело довольно грозно. В жалком садике, спускавшемся к берегу, стояли черные, голые деревья, словно чертовы лапы вскинулись от удивления. Навстречу бежала хозяйка, взметнув худые руки; ее суровое лицо было темным в тени, и сама она чем-то походила на черта. Доктор и патер слушали, кивая, как она выкликает уже известные им вещи, прибавляя жуткие детали и требуя отмщения незнакомцу — за то, что он убил, и жильцу — за то, что он убит, и за то, что он сватался к дочери, и за то, что так и не дожид до свадьбы. Потом по узким коридорам они дошли до

запертой двери, и доктор ловко, как старый сыщик, выломал ее плечом.

В комнате было тихо и страшно. Первый же взгляд неоспоримо доказывал, что тут отчаянно боролись хотя бы два человека. На столике и на полу валялись карты, словно кто-то внезапно прервал игру. Два стакана стояли на столике — вино налить по успели, — а третий звездой осколков сверкал на ковре. Неподалеку от пего лежал длинный нож, верней — короткая шпага с причудливой, узорной рукоятью; па матовое лезвие падал серый свет из окна, за которым чернели деревья на свинцовом фоне моря. В другом углу поблескивал цилиндр, должно быть, сбитый с головы; и казалось, что он еще катится. В третий же угол небрежно, как куль картошки, кинули Джеймса Тодхантера, обвязав его, однако, словно багаж, и заткнув шарфом рот, и скрутив ему руки и ноги. Темные его глаза бегали по сторонам.

Доктор Орион Гуд постоял у порога, глядя туда, где все беззвучно говорило о насилии. Потом, быстро ступая по коврам, он пересек комнату, поднял цилиндр и серьезно примерил его связанному Тодхантеру. Цилиндр был так велик, что сполз чуть ли не до плеч.

— Шляпа мистера Кана, — сказал ученый, разглядывая подкладку в лупу. — Почему же шляпа здесь, а владельца нет? Мистер Кан не грешит небрежностью в одежде. Цилиндр — очень модный, хотя и не новый, его часто чистят. По-видимому, Кан — старый денди.

— О господи! — выкрикнула Мэгги. — Вы б лучше его развязали.

— Я намеренно говорю «старый», — продолжал Гуд, — хотя, быть может, доводы мои немного натянуты. Волосы выпадают у людей по-разному, но все же выпадают, и я бы различил через лупу мелкие волоски. Их нет. Потому я и считаю, что м-р Кан — лысый. Сопоставим это с высоким, резким голосом, который так живо описала мисс Мак Нэб (потерпите, мой друг, потерпите!), сопоставим лысый череп с истинно старческой сварливостью — и мы посмеем, мне кажется, сделать свои выводы. Кроме того, м-р Кан подвижен и почти несомненно — высок. Я мог бы сослаться на рассказ о высоком человеке в цилиндре, но есть и более точные указания. Стакан разбит, и один из осколков лежит на консоле над камином. Он бы туда не попал, если б разбился в руке такого невысокого человека, как Тодхантер.

— Кстати, — вмешался священник, — не развязать ли его?

— Стаканы говорят не только об этом, — продолжал эксперт, — я сказал бы сразу, что м-р Кан лыс или гневен не столько от лет, сколько от разгульной жизни. Как известно, Тодхантер тих, скромен, бережлив, он не пьет и не играет. Следовательно, карты и стаканы он припас для данного гостя. Но этого мало. Пьет он или не пьет, вина у него нету. Что же было в стаканах? Осмелюсь предположить, что там было бренди или виски, по-видимому, дорогого сорта, а наливал его м-р Кан из своей фляжки. Мы узнаем определенный тин: человек высокий, немолодой, элегантный, немного потрепанный, игрок и пьяница. Такие люди часто встречаются на обочине общества.

— Вот что, — закричала девушка, — если вы меня к нему не пустите, я побегу звать полицию!

— Не советовал бы вам, мисс Мак-Нэб, — серьезно сказал Гуд, — спешить за полицией. Патер Браун, прошу вас, успокойте свою паству — ради них, не ради меня. Итак, мы знаем основные особенности Кана. Что же мы знаем о Тодхантере? Три вещи: он скуповат, он довольно состоятелен, у него есть тайна. Всякому ясно, что именно это — характеристика жертвы шантажа. Не менее ясно, что поблекший лоск, дурные привычки и озлобленность — неоспоримые черты шантажиста. Перед нами типичные персонажи трагедии этого типа: с одной стороны, приличный человек, скрывающий что-то, с другой — столичный стервятник, чующий добычу. Сегодня они встретились, столкнулись, и дело дошло до драки, верней, до кровопролития.

— Вы развяжете веревки? — упрямо спросила девушка.

Доктор Гуд бережно поставил цилиндр на столик и направился к пленнику. Он осмотрел его, даже подвинул и повернул немного, но ответил только:

— Нет. Они послужат, пока полицейские не принесут наручников.

Патер, тупо глядевший на ковер, обратил к нему круглое лицо.

— Что вы хотите сказать? — спросил он.

Ученый поднял с ковра странную шпагу и, отвечая, внимательно разглядывал ее.

— Ваш друг связан, — начал он, — и вы решаете, что его связал Кан. Связал и сбежал. У меня же — четыре возражения. Во-первых, с чего бы такому щеголю оставлять по своей воле цилиндр? Во-вторых, — он подошел к окну, — это единственный выход, а он заперт изнутри. В-третьих, на клинке капля крови, а на Тодхантере нету ран. Против-

ник, живой или мертвый, унес эту рану на себе. И, наконец, вспомним то, с чего мы начали. Скорей, жертва шантажа прикончит своего мучителя, чем шантажист зарежет курицу, несущую золотые яйца. Кажется, довольно логично.

— А веревки? — спросил священник, восхищенно и растерянно глазевший на него.

— Ах, веревки... — протянул ученый. — Мисс Мак-Нэб очень хотела узнать, почему я не развяжу ее друга. Что ж, отвечу. Потому что оп и сам может высвободиться когда угодно.

— Что? — воскликнули все, удивляясь каждый посвоему.

— Я осмотрел узлы, — спокойно пояснил эксперт. — К счастью, я в них немного разбираюсь, криминологам это нужно. Каждый узел завязал он сам; ни одного не мог сделать посторонний. Уловка умная; Тодхантер сделал вид, что жертва — он, а не злосчастный Кан, чье тело зарыто в саду или томится в камине.

Все уныло молчали; становилось темнее; искривленные морем ветви казались чернее, суше и ближе, словно морские чудища выползли из пучины к последнему акту трагедии, как некогда выполз оттуда он сам, злодей или жертва, чудище в цилиндре. Смеркалось, словно сумерки — темное зло шантажа, гнуснейшего из преступлений, где подлость покрывает подлость черным пластырем на черной ране.

Приветливое и даже смешное лицо коротышки-священника вдруг изменилось. Его искривила гримаса любопытства — не прежнего, детского, а того, с какого начинаются открытия.

— Повторите, пожалуйста, — смущенно сказал он. — Вы считаете, что мистер Тодхантер сам себя связал и сам развяжет?

— Вот именно, — ответил ученый.

— О господи! — воскликнул священник. — Неужели правда?

Он поскакал через комнату, как кролик, и с новым, пристальным вниманием воззрился на полузакрытое лицо. Затем обернул к собравшимся свое лицо, довольно простоватое.

— Ну конечно! — взволнованно вскричал он. — Разве вы не видите? Да посмотрите на его глаза!

И ученый и девушка посмотрели и увидели, что верхняя часть лица, не закрытая шарфом, как-то странно кривится.

— Да, глаза странные, — заволновалась Мэгги. — Звери! Ему больно!

— Нет, не то, — возразил ученый, — выражение, действительно, особенное... Но я бы сказал, что эти поперечные морщины свидетельствуют о небольшом психологическом сдвиге...

— Милостивый! — закричал Браун. — Вы что, не видите? Он смеется!

— Смеется... — повторил доктор, — с чего бы ему смеяться?

— Как вам сказать... — виновато начал Браун, — не хочется вас обидеть, но смеется он над вами. Я б и сам посмеялся, раз уж все знаю.

— Что вы знаете? — не выдержал Гуд.

— Чем он занимается, — отвечал священник.

Он семенил по комнате, как-то бессмысленно глядя на вещи и бессмысленно смеясь над каждой, что, естественно, всех раздражало. Сильно смеялся он над черным цилиндром, еще сильнее — над осколками, а капля крови чуть не довела его до судорог. Наконец он обернулся к ургюмому Гуду.

— Доктор! — восторженно вскричал он. — Вы — великий поэт! Вы, словно бог, вызвали тварь из небытия. Насколько это чудесней, чем верность фактам! Да факты просто смешны, просто глупы перед этим!

— Не понимаю, — высокомерно сказал Гуд. — Факты мои неоспоримы, хотя и недостаточны. Я отдаю должное интуиции (или, если вам угодно, поэзии) только потому, что собраны еще не все детали. Мистера Кана нет...

— Вот-вот! — весело закивал священник. — В том-то и дело — его нет. Его настолько нет, — прибавил он задумчиво, — что никого так сильно не было.

— Вы хотите сказать, его нет в городе? — спросил Гуд.

— Его нигде нет, — ответил Браун. — Нет по сути своей, как говорится.

— Вы действительно полагаете, — улыбнулся ученый, — что такого человека нет вообще?

Патер кивнул.

— Как ни жаль, — подтвердил он.

Орион Гуд презрительно хмыкнул.

— Что ж, — сказал он, — прежде чем перейти к сотне с лишним других доказательств, возьмем первое — то, с чем мы сразу столкнулись. Если его нет, то кому тогда принадлежит эта шляпа?

— Тодхантеру, — ответил Браун.

— Она ему велика! — нетерпеливо крикнул Гуд. — Он не мог бы носить ее.

Священник с бесконечной кротостью покачал головой.

— Я не говорю, что он ее носит, — ответил он. — Я сказал, что это его шляпа. Небольшая, но все же разница.

— Какая еще разница? — фыркнул криминолог.

— Ну подумайте сами! — воскликнул кроткий патер, впервые поддавшись нетерпению. — Зайдите в ближайшую лавку — и увидите, что шляпочник совсем не носит своих шляп.

— Он извлекает из них выгоду, — возразил Гуд. — А что извлекает из шляпы Тодхантер?

— Кроликов, — ответил Браун.

— Что? — закричал Гуд.

— Кроликов, ленты, сласти, рыбок, серпантин, — быстро перечислил священник. — Как же вы не поняли, когда догадались про узлы? И со шпагой то же самое. Вы сказали, что на нем нет раны. И правда — рана в нем.

— Под рубашкой? — серьезно спросила хозяйка.

— Нет, в нем самом, внутри, — ответил патер.

— А, черт, что вы хотите сказать?

— Мистер Тодхантер учится, — мягко пояснил Браун. — Он хочет стать фокусником, жонглером и чревоушателем. Шляпа — для фокусов. На ней нет волос не потому, что ее носил лысый Кан, а потому, что ее никто не носил. Стаканы — для жонглирования. Тодхантер бросал их и ловил, но еще не наловчился как следует и разбил один об потолок. И шпагой он жонглировал, а кроме того, учился ее глотать. Глотанье шпаг — почетное и трудное дело, но тут он тоже еще не наловчился и поцарапал горло. Там — ранка, довольно легкая, а то бы он был печальней. Еще он учился освобождаться от пут и как раз собирался высвободиться, когда мы ворвались. Карты, конечно, для фокусов, а на пол они упали, когда он упражнялся в их метании. Понимаете, он хранил тайну, фокусникам нельзя иначе. Когда прохожий в цилиндре заглянул в окно, он его прогнал, а люди нагородили таинственного вздора, и мы поверили, что его мучает щеголеватый призрак.

— А как же два голоса? — удивленно спросила Мэгги.

— Разве вы никогда не видели чревоушателя? — спросил Браун. — Разве вы не знаете, что он говорит нормально, а отвечает тем тонким, скрипучим, странным голосом, который вы слышали?

Все долго молчали. Доктор Гуд внимательно смотрел на священника, странно улыбаясь.

— Да, вы умны, — сказал он. — Лучше и в книге не напишешь. Только одно в этом Кане вы не объяснили: имя. Мисс Мак-Нэб ясно слышала: «мистер Кан».

Священник по-детски захихикал.

— А, — сказал он, — это самое глупое! Наш друг бросал стаканы и считал, сколько словил, а сколько упало. Он говорил: «Раз-два-три — мимо стакан, раз-два-три — мимо стакан...»

Секунду стояла тишина, потом все засмеялись. Тогда лежащий в углу с удовольствием сбросил веревки, встал, поклонился и вынул из кармана красно-синюю афишу, сообщавшую, что Саладин, первый в мире фокусник, жонглер, чревовещатель и прыгун, выступит с новой программой в городе Скарборо в понедельник, в восемь часов.

Марсель Эме

Лилипут

На тридцать пятом году жизни лилипут цирка Барнабум начал расти. Для ученых то был факт весьма неприятный, так как они раз и навсегда установили, что рост человека прекращается в двадцатипятилетнем возрасте. Вот почему они, так сказать, замяли это дело.

Цирк Барнабум, заканчивая гастроли, пункт за пунктом приближался к Парижу. Он дал два утренника и два праздничных спектакля в Лионе, где лилипут как ни в чем не бывало выступал в своем обычном номере. Он выходил на арену в пижонском костюме и подавал руку гуттаперчевому человеку, притворяясь, что не может окинуть его глазом, такой он длинный. Это вызывало смех во всех рядах, поскольку один был громадина, а второй просто кроха.

Гуттаперчевый человек расхаживал широким шагом, равнявшимся шести-семи шагам лилипута, и, дойдя до середины арены, замогильным голосом говорил: «Что-то я устал». Когда хохот публики затихал, лилипут отвечал девичьим голоском: «Вот хорошо, мсье Фифрелен, я очень рад, что вы устали». Это вызывало гомерический смех, зрители тузили друг друга, приговаривая: «Ну до чего же оба они уморительны... В особенности лилипут... такой ма-люсенький, со своим голосочком». Время от времени лилипут посматривал на зрительный зал, последние ряды которого тонули в полумраке. Громкий смех и взгляды его не смущали, не доставляли удовольствия. Перед выходом на арену он никогда не испытывал тревоги, сжимающей горло иным актерам. Ему не надо было прилагать усилий, как клоуну Патаклаку, который напрягал все силы, чтобы захватить публику своей игрой. Подобно тому

как Тоби было достаточно, что он слон, ему было достаточно, что он лилипут, и от него не требовалось, чтобы он любил публику. Закончив номер, он убежал с арены, и гуттаперчевый человек, подав ему руку, комично приподнял, что наполняло цирк громом аплодисментов. Тут господин Лояль заворачивал его в халат и вел к господину Барнабуму, который давал ему конфетку-две в зависимости от того, насколько был доволен его работой. «Вы превосходный лилипут,— любил иногда говорить господин Барнабум,— но следите за тем, как вы делаете враждебные движения руками». «Да, мсье», — скромно отвечал лилипут.

Потом он шел к наезднице, мадемуазель Жермина, ожидавшей за тентом момента своего выхода на арену. Ее ноги облегал розовое трико, а грудь была затянута черным бархатным корсажиком. Она сидела на своем табурете, выпрямив спину и стараясь не помять пачку и воротничок из розового газа. Усадив лилипута на колени, она целовала его в лоб и гладила по головке, приговаривая нежные слова. Вокруг нее постоянно увивались мужчины, говорившие ей какие-то непонятные слова. Лилипут уже давно привык к этим дежурным речам и мог бы повторить их, сопроводив улыбкой и взглядом, но смысл их оставался для него волнующей загадкой. Однажды вечером, когда он сидел на коленях у мадемуазель Жермина, с ними был только Патаклак, и на его мучном лице каким-то странным блеском блестели глаза. Видя, что он собрался говорить, лилипут вздумал, забавы ради, его опередить и прошептал наезднице, что он утратил ночной покой из-за прелестной блондинки в облегающей талию розовой пачке, делающей ее похожей на утреннюю бабочку. Она залилась смехом, и клоун вымелся, хлопнув за собой дверь, хотя, по правде говоря, двери вовсе и не было.

Когда мадемуазель Жермина скакала на лошади, лилипут бежал к входу на арену и стоял рядом со скамьями. Дети со смехом указывали на него пальцем, приговаривая: «Лилипут». Он смотрел, не зная, что от них можно ждать, и, удостоверившись, что родителям его не видно, ради удовольствия строил им рожи. По арене галопом проезжала наездница, и от вольтижировки ее розовая пачка порхала там и тут. Ослепленный ярким светом и взмахами рук мадемуазель Жермина, утомленный тяжелым гулом и дыханием жизни, наполнявшими цирк, он чувствовал, как у него слипаются глаза, и отправлялся в один из фургонов, где Мэри, раздев, укладывала его в постель.

По дороге из Лиона в Макон лилипут проснулся около восьми утра с высокой температурой и пожаловался на сильную головную боль. Мэри приготовила ему снадобье и спросила, холодные ли у него ноги. Желая удостовериться сама, она просунула руку под одеяло и обнаружила, что ноги лилипута упирались в край постели, тогда как обычно они не доставали его примерно сантиметров на тридцать. Мэри так перепугалась, что открыла окно и закричала по ходу состава: «Господи! Карлик растет! Стой! Стой!»

Но шум моторов перекрыл ее голос. Впрочем, в фургонах все спали. Чтобы остановить колонну, должно было произойти событие чрезвычайной важности, и, поразмыслив, Мэри побоялась навлечь на себя гнев господина Барнабума. Итак, она присутствовала при росте карлика, кричавшего от боли и тревоги, бессильная что-либо предпринять. Время от времени он расспрашивал Мэри еще детским, но уже ломающимся голосом, какой бывает в переходном возрасте.

— Мэри, — говорил он, — мне так больно, как будто я вот-вот разобьюсь на несколько кусков, как будто все лошади господина Барнабума пытаются оторвать у меня руки и ноги. Что это со мной такое, Мэри?

— А то, что вы растете, лилипут. Но не надо так волноваться. Врачи наверняка найдут средство вас вылечить, и вы сможете и дальше выступать в своем номере с гуттаперчевым человеком, а ваша старая Мэри будет по-прежнему вас холить и лелеять.

— Если бы вы родились мужчиной, что бы вы предпочли — быть лилипутом или таким большим и усатым, как господин Барнабум?

— Усы — вещь довольно приятная у мужчины, — ответила Мэри, — но, с другой стороны, быть лилипутом тоже удобно!

Около девяти часов лилипуту пришлось лежать, свернувшись в своей кроватке калачиком, и все-таки ему было неудобно. Напрасно Мэри давала ему снадобье, он рос чуть ли не на глазах и по приезде в Макон уже стал изящным молодым человеком. Срочно вызванный господин Барнабум сначала его пожалел и сочувственно пробормотал: «Бедняга! Теперь его карьере конец. А ведь он так хорошо начал». Он измерил лилипута, и, когда выяснилось, что тот вырос на шестьдесят сантиметров, не мог сдержать своей досады.

— Теперь он поистине ни на что не годится, — сказал он. — Какого черта сделаешь из парня, не обладающего

никакими данными, кроме роста метр шестьдесят пять? Я спрашиваю вас, Мэри. Разумеется, сам по себе случай прелюбопытный, но я не вишу, как можно сделать из него номер. Для этого надо было бы показывать его «до и после». Ах! Вырасти у него вторая голова, слоновый хобот или хоть что-либо более оригинальное, я бы не оказался в тупике. Но, честно говоря, с этим внезапным ростом мне делать нечего. Вот досада! Ну кем я заменю вас сегодня вечером, лилипут? Однако я по-прежнему называю вас лилипут, хотя было бы правильнее называть вас вашим именем — Валентен Дюрантон.

— Меня зовут Валентен Дюрантон? — прежде всего поинтересовался лилипут.

— Я не очень уверен — Дюрантон или Дюрандар, если только не просто Дюран или даже Дюваль. У меня нет возможности проверить. Во всяком случае, точно одно — зовут вас Валентен.

Господин Барнабум дал указания Мэри не предавать событие огласке. Он боялся, чтобы новость не вызвала потрясения у артистов его труппы — такие феномены, как волосатая женщина и одноручка-вязальщик, чего доброго, могли впасть в уныние, раздумывая, как обездолила их природа, или вспылать необоснованными надеждами, что отрицательно сказалось бы на их работе. Было решено говорить, что лилипут тяжело болен, должен лежать в постели и никого к нему не пускать. Прежде чем покинуть фургон, господин Барнабум еще раз измерил больного, который за время разговора подрос на четыре сантиметра.

— Право, он растет в хорошем темпе. Если так пойдет и дальше, из него получится довольно представительный гигант, но на это рассчитывать не приходится. Сейчас ясно одно — этому парню ужасно неудобно лежать в его постели и будет удобнее сидеть. Но, поскольку одежды по его нынешнему росту у него нет, а надо, чтобы он не утратил своих привычек соблюдать приличие, сходите и поищите в моем платяном шкафу тот серый в смородиновую полоску костюм, который я, к сожалению, не могу с прошлого года носить из-за своего брюшка.

В восемь часов вечера Валентен понял, что перелом в его состоянии окончился. Его рост равнялся метру семьдесят пять, и все, что обычно составляет гордость очень красивого мужчины, было при нем. Старенькая Мэри не

уставала на него смотреть и, складывая руки вместе, отпускала комплименты его тонким усикам и премилым бакам, придававшим изысканность его красивому молодому лицу, а также его широким плечам и гибкому торсу, выигрышно облегаемому пиджаком господина Барнабума.

— Пройдитесь немного, лилипут... то бишь господин Валентен. Пройдите три шага, чтобы я вас видела... Какой рост! Какое изящество! Как покачиваются бедра и плечи! Честное слово, у вас фигура лучше, чем у господина Жанидо, нашего красавца акробата, и, пожалуй, даже у господина Барнабума в его двадцать пять не было столько благородства и изящной силы, сколько у вас!

Валентен получал удовольствие от всех этих комплиментов, но слушал их рассеяннo, так как ему было чему подивиться. Например, тому, что предметы, казавшиеся ему прежде такими тяжелыми, — его большая книга с картинками, лампа-молния, ведро с водой — теперь были в его руках ну просто-таки пушинкой, и он чувствовал в своем теле и во всех членах запасы энергии, которые тщетно искали себе выхода в этом фургоне, где его окружали миниатюрные предметы. То же самое происходило со всеми понятиями, всеми мыслями, которые еще накануне устраивали его ум и воображение лилипута; теперь же он чувствовал — ему всего этого уже недостаточно, особенно при разговоре. Каждый раз, когда он задумывался или ему что-нибудь говорила старая Мэри, перед ним открывались новые вещи, приводившие его в изумление. А иногда интуиция предательски толкала его на ложный путь, хотя он и подозревал, что ведет себя не так. Однажды, когда старенькая Мэри подошла поправить ему галстук, он взял ее за руку и выпалил фразу, пришедшую ему на память, так как он множество раз слышал ее при других обстоятельствах:

— Разве мне возбраняется находить, что вы очаровательны? У вас глаза нежного, непостижимого цвета длинных летних вечеров, нет ничего нежнее вашего своенравного рта, и все ваши жесты похожи на взмахи крыльев птицы в полете. Счастлив, тысячу и тысячу раз счастлив тот, кто отыщет путь к вашему сердцу, но проклятье ему, если это буду не я.

Поначалу Мэри была поражена, но очень скоро привыкла к мысли, что ей еще могут говорить подобные комплименты. Она улыбнулась своенравным ртом, взмахнула руками, как взлетающая птица, и, вздохнув, прижала руку к сердцу.

— Ах, мсье Валентен! Вы не только выросли, но еще и поумнели, и я не представляю себе, чтобы хоть один обладающий душой человек мог устоять перед такими прелестями. Я не хочу быть жестокой, мсье Валентен, к тому же не такой у меня темперамент.

Но тут ухажер расхохотался, сам не зная почему, и Мэри сразу поняла, что поддалась обману красивых слов.

— Я старая кляча, — вздыхая, сказала она. — Но до чего же быстро вы развиваетесь, господин Валентен. Вот вы уже и потешаетесь над бедной женщиной.

После начала представления господин Барнабум, как обычно, в спешке, заглянул в фургон. Не узнав Валентена, он подумал, что старушка Мэри вызвала врача.

— Ну, доктор, как поживает наш больной?

— Я не доктор, — ответил Валентен, — я больной. Я липнут.

— Разве вы не узнаете свой серый костюм в смородиновую полоску? — добавила Мэри.

Господин Барнабум вытаращил глаза, но он был не из тех, кто долго удивляется.

— Красивый парень! — сказал он. — Ничего удивительного, что мой костюм ему так идет.

— Ах, если бы вы только знали, мсье Барнабум, какой он умица! Просто невероятно.

— Мэри немного преувеличивает, — краснея, сказал Валентен.

— Гм! Странная история происходит с вами, друг мой, и еще не ясно, чем она кончится. А пока что вы не можете сидеть в этом фургоне и задыхаться. Пойдемте со мной подышать воздухом, я выдам вас за родственника.

Не будь с ним господина Барнабума, вполне возможно, Валентен стал бы выкидывать номера, например испытывать силу своих новых ног, бегая вокруг цирка, или во весь голос кричать, или петь.

— Жизнь прекрасная штука, — сказал он. — Еще вчера вечером я этого не знал. И каким большим кажется мир, когда смотришь на него с более высокой точки!

— Конечно, — ответил господин Барнабум, — но в нем не так уж много места, как может показаться поначалу, и, вероятно, очень скоро вы убедитесь в этом на собственном опыте.

Продолжая гулять, они встретили гуттаперчевого человека, который выходил из своего фургона. Тот остановился рядом с ними и, будучи по натуре невеселым, без особой доброжелательности стал разглядывать крепкого

парня с лицом, пышущим здоровьем, который сопровождал хозяина.

— Как оживает лилипут? — спросил он.

— Неважно, — ответил господин Барнабум. — Сейчас приходил врач и велел отправить г» его в больницу.

— Считайте, что он погиб, — добавил Валентен с жизнерадостным нетерпением.

Гуттаперчевый человек смахнул слезу и, прежде чем удалиться, сказал:

— Пожалуй, это самый милый партнер из всех моих партнеров. При его маленьком росте в нем не оставалось места для злобы. Какой он был мягкий, доверчивый, мсье, а когда, выходя на арену, оп клал свою ручку в мою, я не могу передать вам словами, как же у меня было хорошо на душе.

Валентена это растрогало. Ему хотелось сказать гуттаперчевому человеку, что он и есть лилипут и что он остался почти прежним, но он побоялся принизить себя, удовольствоваться своими прежними возможностями. Гуттаперчевый человек злобно взглянул на него и ушел, посапывая носом. Господин Барнабум сказал Валентону:

— У вас были друзья...

— И будут.

— Вполне возможно... Но это был верный друг, который от вас ничего не хотел.

— И которому нечего было бояться, мсье Барнабум.

— Вы правы, мсье Валентен, и старая Мэри тоже, когда утверждает, что вы поумнели.

Так они вместе вошли в цирк, где господину Барнабуму неоднократно пришлось объяснять, что лилипута отвезли в больницу и что в труппе он больше не появится. Каждый вытирал слезу и высказывал слова сожаления. Господин Лояль, клоун Патаклак, Жанидо и его три брата акробата, мадемуазель Примвер — танцовщица на канате, японцы-эквилибристы, Жюлиус-укротитель — все артисты большого цирка Барнабум вздыхали при мысли, что теряют лучшего друга. Сам слон размахивал хоботом как-то не так, и по всему было видно, что он несчастен. При этом никто не реагировал на Валентена, хотя господин Барнабум выдавал его за своего двоюродного брата, словно его и не существовало. А он стоял молча, чуждый этому большому горю, причиной которого сам и являлся. Удивляясь и поражаясь тому, что на него перестали обращать внимание, он сердился на лилипута, который еще занимает такое большое место.

На арене гуттаперчевый человек совершал искусные упражнения, например обвивался вокруг шеста, пролезал сквозь игольное ушко и делал двойной узел ногами. Валентен с завистью слушал шепот восхищения, прокатывающийся по рядам. Когда-то и он знал расположение толпы, впрочем, он надеялся, что сможет завоевать его вновь. Как может публика не восхищаться этой молодостью тела и духа, совершенством, каким он себя чувствовал?!

Устав от представления и в нетерпении открыть мир, он направился в город. Радуюсь, что избавился от лилипута, гордый своей силой и свободой, он с восторгом мерил шагами улицы, но его опьянение продолжалось недолго. Прохожие обращали на него не больше внимания, чем на любого другого. До него не доходило, что новый облик сделал его похожим на всех людей. Он вспоминал, как прежде, когда гуттаперчевый человек или старая Мэри гуляли с ним по улицам города, где они выступали, все взгляды устремлялись на него.

— Я вырос, — вздохнул он, — и вот со мной совершенно ничего не происходит. Зачем же тогда быть красивым мужчиной, если это не заметно? Похоже, мир создан для одних лилипутов.

После недолгой прогулки город показался ему крайне однообразным. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким. Редкие прохожие, мрачные, скудно освещенные улицы. Представляя себе яркие огни цирка Барнабум, он пожалел, что так далеко ушел. Чтобы избавиться от одиночества, он заглянул в кафе и заказал кружку пива за цинковой стойкой бара, как это делал на его глазах гуттаперчевый человек. Зевавший хозяин, глядя на часы, рассеянно спросил его:

— Значит, вы не пошли в цирк?

— У меня не было времени. Вы тоже?

— Что нет, то пет. Мне нельзя отлучаться — надо караулить это заведение.

— Выходит, — сказал Валентен, — жизнь ваша не из веселых?

— Моя-то? — запротестовал хозяин, — да я счастливейший из людей! Скажу, не хвастаясь...

И он объяснил, в чем состоят его обязанности. Валентен не решился сказать свое мнение на этот счет, но ему казалось, что счастье довольно скучная вещь, если тебе не повезло и ты не принадлежишь к труппе знаменитых артистов. Не зная порядков, он ушел, не расплатившись за пиво, и вернулся в цирк Барнабум.

Бродя возле конюшни, Валентен заметил мадемуазель Жермина, сидевшую на своем табурете, пока конюх надевал на ее лошадь упряжь. Незаметно для других он всласть насмотрелся на нее и обнаружил новые предлоги для восхищения. Он не только любовался свежестью ее воротничка, приятным сочетанием в ее костюме розового с черным, сколько изяществом ее талии, красивой формой колен и ног, хрупкостью шеи и тайной, которую не знаешь как и назвать, если ты несведущ в вопросах чудес женской привлекательности. Он думал с легкой дрожью, что еще накануне сидел на коленях у наездницы, склонив голову па мягкие бугорки ее корсажика из черного бархата. Но воспоминания путались — ему казалось, что он склонялся на корсажик не голову лилипута, а свою красивую новую голову с баками и усиками. Тем не менее, поразмыслив, он понял, что ему уже не сидеть на коленях мадемуазель Жермина — для этого он был слишком высокий и тяжелый.

— Меня зовут Валентен, — сказал он наезднице.

— Кажется, я вас только что видела, мсье. Мне сказали, что вы родственник господина Барнабума... Я сейчас сильно огорчена, так как только что узнала, что мой друг лилипут в больнице.

— Право, это не беда... Я должен вам сказать, что вы очень красивая. Мне нравятся ваши русые волосы, карие глаза, нос и рот... Мне хочется вас поцеловать.

Мадемуазель Жермина нахмурила брови, и Валентен оробел.

— Мне вовсе не хотелось вас рассердить, — сказал он. — Я подожду с поцелуем до тех пор, пока вы сами меня не попросите. Но вы и вправду очень красивая. Лицо, шея, плечи — все идеально. Как и грудь. Вот другие люди наверняка не обращают внимания на грудь, а по-моему, это очень интересная штука. Ваша, например...

В своем простодушии он протянул к ней руки, не ведая того, что готов грубо нарушить условности. Мадемуазель Жермина, рассердившись, заявила, что джентльмены так не поступают и что она актриса хотя и бедная, но гордая. Не найдясь, что сказать в свое оправдание, он на всякий случай стал болтать то, что при нем много раз болтали Патаклак или братья Жанидо.

— Я потерял из-за любви рассудок, — вздохнул он. — Увы! Почему, о прелестная наездница, глаза мои ослепили ваши золотые волосы и бархатный взгляд, изящество и стать вашей фигурки?

Ей понравились речи Валентена, и она с удовольствием слушала продолжение:

— Неужели вы не можете понять, что я готов принести к вашим ногам состояние, достойное вашей красоты?

Наездница снисходительно улыбнулась, но тут вошел господин Барнабум и, услышав эти слова, оборвал Валентена:

— Не слушайте его, мадемуазель Жермина. У этого парня нет ни гроша за душой. Его речи лживее речей Патаклака, который по крайней мере обладает неплохим талантом клоуна.

— У меня тоже, — возразил Валентен, — у меня тоже неплохой талант, и публика никогда не скупилась для меня на аплодисменты.

— И что же вы умеете делать? — спросила наездница.

Господин Барнабум поспешил перейти к другой теме, потому увлек Валентена на улицу.

— Поговорим-ка о вашем таланте! — сказал он, когда они оказались одни. — Вы можете поздравить себя с тем, что свели его совершенно на нет. Ступайте-ка на арену, предстаньте перед публикой, и мы еще посмотрим, будет ли она вам аплодировать. Ах! Вот вы теперь красавец мужчина! Есть чем гордиться, право. Когда я думаю, что ваш рост равнялся девяносто пяти сантиметрам и что вы были славой труппы, какая жалость видеть, как вы теперь себя обобрали. Вам как раз кстати ухаживать за девушками, когда вы не знаете, чем дальше зарабатывать себе на жизнь. Вы подумали об этом хоть пять минут?

— Зарабатывать себе на жизнь? — спросил Валентен.

Видя его простодушие, что он и не подозревает о требованиях жизни, господин Барнабум стал его просвещать. Он объяснил ему, зачем нужны деньги, как трудно честному человеку их заработать и в чем заключаются любовные утехы. Валентен все прекрасно понял. Его только немного смущал вопрос о любви.

— Как вы думаете, согласится ли мадемуазель Жермина выйти за меня замуж?

— Конечно, нет! — ответил господин Барнабум. — Она слишком рассудительна для такого безумства. Ах! Вот если бы вы были великим артистом, тогда возможно...

Из-за любви к мадемуазель Жермина и поняв, что если ты не лилипут и не слон, то обязательно должен уметь что-нибудь делать, иначе не проживешь, Валентен решил

стать великим артистом. Ради его прошлых заслуг господин Барнабум охотно согласился пойти на расходы по его обучению. Сначала надо было остановиться на какой-нибудь специальности. Специальности акробата или воздушного гимнаста сразу исключались, так как требовали не только особых способностей, но и гибкости ног и упругости, которых мужчине в возрасте уже не выработать. Сначала Валентен пошел на выучку к Патаклаку, однако несколько часов спустя клоун по-дружески предупредил его, что тут он безнадежен.

— Вам никогда не рассмешить ребенка. У вас, я вижу, слишком здравый ум, чтобы удивить публику чем-нибудь неожиданным. Вы делаете все так, как думаете, и думаете так, как нужно делать. Не то чтобы у клоуна здравый смысл должен был отсутствовать, наоборот, но мы вкладываем его охотнее туда, где его не ждут, в гримасу или в движение пальцев ноги. Такая привычка вырабатывается сама по себе, когда есть к этому вкус, а такой человек, как вы, попусту теряет время, желая стать клоуном.

Валентен с сожалением внял аргументам Патаклака и начал обучаться у двух жонглеров-японцев.

По приезде в Жуани он кое-как жонглировал двумя деревянными шарами, но понял, что далеко ему не пойти никогда, к тому же это дело ему вовсе не нравилось. Ему казалось, что он обманывает честные законы, которые полностью одобрял.

Он учился еще тому и сему, но успех был не больше. Во всем он проявлял некоторую ловкость, но не сверх нормы. Когда он захотел ездить верхом, ему это удалось, но не лучше, чем жандармскому капитану, и господин Барнабум признал, что у него хорошая посадка. Этого было недостаточно: чтобы стать артистом, требовались еще другие данные.

От всех этих провалов Валентен настолько пал духом, что уже не решался смотреть представление; и все города, которые проезжал цирк Барнабум, казались ему такими же мрачными, как тот, куда он рискнул впервые пойти один. По вечерам он предпочитал любому обществу общество старой Мэри, которой еще как-то удавалось его утешать.

— Не надо падать духом, — говорила она. — В конце концов все образуется. Вы будете таким же большим артистом, как господин Жанидо или господин Патаклак. Или же опять превратитесь в лилипута. Это хорошо, хотя сейчас у вас вид гораздо лучше. И, став лилипутом, снова

будете спать в своей кроватке, а старая Мэри каждый вечер будет заправлять вам одеяло...

— А мадемуазель Жермина?

— Она посадит вас на колени, как прежде.

— А что еще?

— Она поцелует вас в лоб.

— А что еще?.. Ах, Мэри... Мэри... если бы вы знали! Нет, я больше не хочу быть лилипутом.

Прошло около месяца, как Валентен вырос, когда цирк Барнабум приехал в Париж, где он разбил свой шатер у входа в Венсенский лес. С первого вечера многочисленная толпа заполнила все скамьи, и господин Барнабум с озабоченным видом следил за выполнением программы. Валентен стоял за ареной среди служащих на манеже и артистов, ожидавших момента своего выхода. Он утратил всякую надежду сделать карьеру артиста; последняя его попытка с укротителем Жюлиусом потерпела крах, как и все прочие. Он был слишком уравновешен, чтобы за здорово живешь полезть в клетку с хищниками. Ему не доставало быстрых реакций, предупреждающих об опасности, которых не могут заменить ни отвага, ни хладнокровие. Господин Жюлиус упрекал его в том, что, встречаясь со львом, он ведет себя слишком рассудительно.

Валентен смотрел, как мадемуазель Жермина скачет по арене. Стоя на своей лошади и протянув к толпе руку, наездница отвечала на аплодисменты улыбками, и Валентен думал, что вот ни одна из этих улыбок не предназначалась ему. Он чувствовал себя усталым и стыдился своего одиночества. Он видел, как на арене выступали почти все его товарищи по труппе: Патаклак, братья Жанидо, мадемуазель Примвер — канатная танцовщица, Фифрелен и японцы. Каждый из этих номеров напоминал ему про собственный провал.

— Конечно, — вздохнул он, — я никогда больше не выйду на арену. В труппе цирка Барнабум для меня больше места нет.

Он бросил взгляд на зрительный зал и недалеко от края заметил незанятое место — столб мешал с него видеть арену. Он сел на это место и почти сразу позабыл про свою грусть. Он слышал, как вокруг него говорили про наездницу, расхваливая ее изящество и ловкость, и он обменивался мнением с соседями. Позабыв про все, он сливался с толпой и аплодировал вместе со всеми.

— Как она улыбается мне! — бормотал он вместе с другими зрителями.

Когда после окончания представления он дал себя унести потоку зрителей, больше он не думал о карьере артиста и уже не испытывал потребности, чтобы им восхищались. Наоборот, он был рад принадлежать к этому большому стаду и не нести за себя совершенно никакой ответственности. Господин Барнабум, видевший, как он сел среди публики, долго следил за ним глазами, пока он не стал в толпе точкой, как все другие, и сказал господину Лоялю, находившемуся рядом с ним:

— Между прочим, мсье Лояль, — я вам еще не сказал... Лилипут умер.

Стивен Винсент Бене

Ангел был чистокровным янки

Знал ли я Ф.-Т.? Ну что за вопрос? Мой отец начал работать у него еще в «Музее» на Энн-стрит, взял билеты на премьеру, как только была поставлена «Русалка с Фиджи». А после, когда я еще, так сказать, под стол пешком ходил, Ф.-Т. Барнум частенько гладил меня по головке. И, само собой, едва я подрос, он взял меня к себе в дело. И это было единственное мое желание. Понятно, где-нибудь в другом месте я получал бы больше, но зато я работал у самого Ф.-Т. Барнума, величайшего циркового антрепренера, какого только знал мир. Равных ему не было, нет и не будет никогда. Тут вся суть не в славе, которая про него шла, а в нем самом. Это был янки до мозга костей, ловкий и быстрый, как стальной капкан, и при этом он, можно сказать, рос вместе с нашей страной, если вы понимаете, о чем речь. Это ведь страна с настоящим размахом, и она во всем любит размах. Любит даже, чтобы ее дурачили с размахом. И Барнум это понимал. Он дурачил публику, но не зря брал денежки — показывал такое, что зрители все помнили до гробовой доски, от Дженни Линд, выступавшей в Касл-Гарден, до «Кошки вишневой масти». Само собой, когда у него на ферме пахали землю на слоне, добрая половина пассажиров, проезжавших мимо по железной дороге, понимала, что это всего только аттракцион. Но их радовало, когда они глядели на это, — и знали, что тут приложил руку янки. И ему было приятно; здесь заключался для него смысл жизни — и это тоже знали все до единого.

Я намерен вам поведать про него такое, чего никто еще не слышал, — историю самого блестящего из всех его аттракционов. И не его вина, если тут вышла осечка, ведь

он расплатился щедро. Я полагаю себя вправе рассказать об этом теперь, потому что остальных очевидцев нет в живых — все на том свете, от самого Барнума до генерала Мальчика-с-пальчик. Но мы видели это воочию, хоть и не верили своим глазам.

Дело было в семидесятых годах, когда Ф.-Т. Барнум опять занялся цирком. И странная вещь, он как будто упал духом, а для Ф.-Т. Барнума это было до того невероятно, что все только диву давались. Он владел огромным домом в Бриджпорте, сколотил себе изрядное состояние РІ ВО всем мире пользовался славой величайшего антрепренера. Только вот беда — всякий великий человек, на каком бы поприще он ни подвизался, должен всегда оставаться на высоте. Цирк у Барнума был знаменитый, но в Америке существовали еще другие цирки. И вот единственный раз в жизни он попался на удочку, польстился на новый, сногшибательный аттракцион — нечто такое, отчего пришел бы в изумление весь белый свет.

Он давно уже ломал себе голову, перебирал все мыслимые возможности — я слышал, как они с моим отцом намечали программу летнего сезона. Он надумал вывезти из Палестины прах патриарха Авраама и устроить рафинированный благочестивый спектакль, но переговоры с турецким правительством окончились неудачей. Тогда он вновь вернулся к мысли купить айсберг, доставить его на буксире в Нью-Йоркскую гавань и показывать экскурсанта́м.

Но когда мы попытались это осуществить, ни один капитан не мог гарантировать, что айсберг не растает в пути, а уж о льготном фрахте и говорить нечего.

Потом его лишил покоя один молодчик, суливший предоставить истинного человека о двух головах, причем каждая голова свободно изъясняется на четырех языках и обладает университетским дипломом. Но когда дошло до настоящего дела, обнаружилось, что такой твари не существует в природе. И вот вам Ф.-Т. — Ф.-Т. Барнум, а нового аттракциона нет как нет. Что говорить, у него выступали лилипуты и великаны, фокусники и удалые наездники, бегемот, прошибаемый кровавым потом, и бесподобная бородатая женщина. Но не таков был Ф.-Т., чтобы размениваться на подобные мелочи. Он жаждал изумительного, неповторимого, грандиозного. Он до того иссушил свой ум, что стал небрежно проверять счета на мясо, которое скармливали львам, а это означало, что с ним поистине творится неладное.

Как сейчас помню день, когда пришло то письмо. Оно было адресовано Ф.-Т. Барнуму — в собственные руки, — но мы ежедневно получали не меньше десятка писем от всяких психов, и мой отец вскрыл конверт, как это было у нас заведено. На листке дешевой, в голубенькую линейку, бумаги значилось:

«24 марта 187... года.

Пайксвилл, штат Пенсильвания.

Уважаемый мистер Барнум!

Поскольку мне известно, что Вы покупаете всякие аттракционы, уведомляю Вас, что у меня в сарае, под замком, имеется самый блестящий аттракцион в истории человечества. Можем сторговаться насчет цены упомянутого выше товара или, ежели Вам будет угодно, насчет участия в прибылях, но советую не мешкать с ответом, потому как в таковом случае отпишу в лондонский цирк мистеру Дж. Бейли, имея нужду продать его незамедлительно по причине лежащей на мне ответственности.

Готовый к услугам

Джонатан Шэнк

P. S. Это ангел».

Отец, конечно, показал письмо мне.

— Видал ты что-нибудь подобное? — спросил он.

— Все ясно, — сказал я. — Опять какой-нибудь псих. Порвать, что ли, этот бред?

Отец призадумался.

— Нет, — сказал он. — Вообще-то надо бы порвать. Но погоди-ка немного. Мистер Барнум совсем расклеился, и мы должны ему помочь... хотя бы отвлечь немного...

Тут вошел сам Ф.-Т. Одет он был в свой обычный сюртук и держал в руке трость с золотым набалдашником, но на челе его пролегли глубокие морщины, следы тревог и разочарований.

— Ну-с, мистер Барнум, — сказал отец, — гепарды были в лучшем виде. Джим говорит, их даже не укачало.

— Прекрасно, — сказал Ф. Т., но голос его прозвучал фальшиво.

Он сразу сел в свое кресло и испустил горестный вздох.

— Слышал я, появился новый фокусник, глотает огонь, — сказал отец. — Интересно будет на него поглядеть.

Называет себя Люцифером, властителем адского пламени, и утверждает, что его невозможно погасить даже с помощью новейшего пожарного оборудования.

— Мм, — промямлил Ф.-Т., а отец удвоил усилия.

— Парень с собачьей головой опять скандалит из-за сырого мяса, — сказал он. — Утверждает, будто его кормят кониной, — но смею заверить, мистер Барнум, я самолично хожу каждое утро на рынок...

— Ах, купите вы ему филе! — сказал Ф.-Т. — Отдайте ему на съедение любую из Прекрасных Черкешенок! Чтоб им всем провалиться! Хоть цирк закрывай! Ах, «каким докучным, тусклым и ненужным...»¹. Но вы, Джон, все равно не читали Шекспира. Не хочу я ни второсортного властелина огня, ни пары вонючих гепардов. Я хочу изумить весь белый свет! Я хочу...

— Ну, в таком случае, — тихонько сказал отец, видя, что пора выложить последний козырь, — вот вам письмо из Пайксвилла, штат Пенсильвания...

И он подал листок. Ф.-Т. пробежал письмо глазами. Потом внимательно перечел еще раз. И впервые за много месяцев глаза его заблестели.

— Ангел! — сказал он. — Ангел! В жизни не слышал подобного вздора! — Тут внезапно тон его переменялся. — А далеко ли до этого Пайксвилла, Джон? — спросил он.

— Сейчас справлюсь по атласу, — отозвался отец. — Но, откровенно говоря, мистер Барнум...

— Я старею, — сказал Ф.-Т. — Я уже развалина. Никто не посмел бы морочить мне голову ангелом, когда я был молод и полон сил. А если б кто действительно имел ангела, у того хватило бы ума не пытаться запродать его Джиму Бейли. Нашли вы, наконец, этот распроклятый городишко, Джон?

И вот мы вчетвером отправились в Пайксвилл. Поехали мы с отцом, мистер Барнум и генерал — генерал Мальчикс-пальчик: Ф.-Т. взял его с собой, потому что, несмотря на малый рост, на плечах у этого генерала была трезвая и ясная голова, а дела свои он обделывал так, что лучше некуда.

Так вот, пришлось нам сделать две пересадки — в Филадельфии и в Гаррисберге. А дальше, из Карлайла, мы ехали на лошадях, потому что Пайксвилл этот затерян где-то в горах. Ехали целый день, но мистер Барнум все стерпел без единой жалобы.

¹ Цитата из «Гамлета».

И даже в Пайксвилле — а там только и есть лавка да две улочки — Джонатан Шэнк, по-видимому, слыл нелюдимо. Добрались мы до него уже в сумерки. Он владел жалкой, захудалой фермой в долине, стиснутой меж гор. Не знаю уж, каким образом создается впечатление от новых мест, но там даже загородка имела вид мрачный и неприязненный. Земля была что надо — добрая пенсильванская земля, — но чертополох у загородки вымахал в добрых пять футов. Моя мать говаривала, что хозяина сразу по земле видать.

Мы покричали у ворот, и Джонатан Шэнк вышел к нам. Что-то в нем ужасно напоминало рыжую лисицу — кажется, рот и глаза.

— Вы будете Джонатан Шэнк? — спросил отец.

— Извольте называть меня — мистер Шэнк, — отвечал он. Потом всмотрелся в глубь экипажа. — А вы, стало быть, Ф.-Т. Барнум?

— Я Финеас Тейлор Барнум, — отрекомендовался мистер Барнум и, по своему обыкновению, слегка напыжился.

— Гм, — промычал фермер. — На портретах вы глядитесь покрасивше. Самую малость. — Он всмотрелся пристальней. — А это, выходит дело, ваш сыпок? — спросил он.

— Сынок? — переспросил Ф.-Т. — Да это же генерал Мальчик-с-пальчик, знаменитейший из лилипутов, который удостоился быть представленным многим августейшим особам Европы.

Тут генерал встал и отвесил поклон со всей присущей ему благовоспитанностью.

— Гм, — снова хмыкнул Джонатан Шэнк. — А все-таки у него нос не дорос курить сигару. Ладно, — сказал он, — можете вылезать.

— Мистер Шэнк, — сказал Ф.-Т. веско, внушительным тоном, — я получил от вас письмо относительно нового аттракциона. Ради этого я прибыл сюда из Бриджпорта, пренебрегая неудобствами пути и расходами.

— Эвона, — сказал Джонатан Шэнк и оскалил свою лисью морду. — Ну да ладно, чего уж там. Он у меня в сарае сидит.

И указал пальцем.

— А он... живой? — спросил Ф.-Т. Барнум с подобающей важностью.

— Ясное дело, живой, — отвечал Шэнк. — Нынче утром получил па завтрак печеные бобы. Смею думать, остался доволен.

— Так, — сказал Ф.-Т. Барнум, потирая руки, — Прежде чем взглянуть на него — и учтите, мистер Шэнк, меня на мякине не проведешь, — сделайте одолжение, расскажите нам... э-э... как он сюда попал.

— Просто-напросто летел через горы да заплутался в тумане, — сказал Шэнк. — Во всяком случае, так он говорит. Вывихнул крыло, когда наскочил вон на ту здоровенную сосну. Там, в долине, воздушная яма — я сам не раз видел, как это бывало с птицами. Но крыло давно зажило и теперь целехонько.

— А он... он в самом деле, ангел? — спросил генерал Мальчик-с-пальчик, вперив свой пронизательный взор прямо в глаза мистеру Шэнку.

— По крайности так он уверяет. Прозывается Уилкинс, — недовольно буркнул фермер. — Сам-то я придерживаюсь свободных взглядов, меня такими штучками не купишь. Но крылья при нем; что есть, то есть.

— Крылья, — повторил Ф.-Т. Барнум, и я увидел, как впервые в жизни этот великий человек вдруг лишился дара речи. Ведь если какое-то существо обладает крыльями, совершенно неважно, ангел это или нет. Я буквально читал мечты Барнума у него на лбу — и уже видел афиши, плакаты, которые он воображал в своем уме.

— Аэронавт, крылатый человек, — забормотал он едва слышно. — Невиданные чудеса в свободном полете. Впервые па арене. Ангел или человек? Под персональным руководством Ф.-Т. Барнума...

— Ну так как же, — сказал Джонатан Шэнк, — будете вы вылезать? Или же не будете?..

Солнце закатывалось, и было почти темно, когда он привел нас к своему сараю. Сроду, сколько я себя помню, ни один человек не вызывал у меня с первого же взгляда такую неприязнь, как этот Джонатан Шэнк. И все же у меня дух перехватило, да и у всех остальных, я думаю, тоже.

Он поставил нас в ряд у щели в степке сарая — всех, кроме генерала, которому пришлось удовольствоваться дыркой от выпавшего сучка у самой земли.

— Я не могу впустить внутрь такую ораву, — сказал Шэнк жалостным голосом. — Он улетит, уж это как пить дать. А в щель вы его как-нибудь углядите и будете знать, об чем речь.

Нам, конечно, и в голову не пришло спорить, до того мы были взволнованы. Мы тотчас прильнули к щели. В сарае было темно, понизу стлалась соломенная труха, и

только сверху падали косые, пыльные лучи света. Сперва я вообще ничего не увидел. Но Джонатан Шэнк крикнул в дыру:

— Эй, Уилкинс!

Я подскочил от неожиданности.

И сразу же увидел его. Да и как тут было не увидеть, Генерал тоже видел, а у него ясная голова. В сарае, на старой телеге, сидело что-то нахохлившееся — поначалу я туда и не взглянул, полагая, что эта кучка тряпья — чайка. Но после окрика Джонатана Шэнка эта штука расправила крылья и взлетела. Я услышал пытение Барнума.

Как описать то, что я видел? Принято считать, что они облачены в белоснежные ризы, по на этом никаких риз не было. Это был мужчина или существо, принявшее мужское обличье, только с крыльями. И крылья у него не отливали белизной, не светились. Они были серые в белую крапинку, как у чайки. Но я видел их своими глазами. Я видел, как он летал. Голову даю на отсечение.

— Поразительны чудеса природы! — сказал отец, и слова эти прозвучали молитвенно.

А я думал о том, что нужно будет напечатать афиши особым шрифтом, крупным, какого еще не видал свет.

— Ну-с, может, теперь пойдем в дом? — осведомился мистер Барнум. Голос его был холоден и бесстрастен.

Джонатан Шэнк откровенно удивился.

— Вы, никак, уже нагладелись? — спросил он.

— С нас пока довольно, — сказал Ф.-Т. Барнум. И отвернулся позевывая. — Признаться, милейший, — добавил он, — все мы несколько проголодались...

— Я ведь и мистеру Бейли отписал, — сказал Джонатан Шэнк, переминаясь с ноги на ногу. — Если вы не дадите хорошую цену...

— Рад это слышать, — сказал Ф.-Т. — Мистер Бейли знаток в своей области и человек чести. Но я никогда не занимаюсь делами перед ужином.

— Ну ежели в жратве все дело, тогда ладно, — бесцеремонно сказал Шэнк и повел нас к дому, почесывая в затылке от недоумения. И я не мог его упрекнуть. Сам я понимал, что мистер Барнум задумал какую-то хитрость, но не мог сообразить, какую именно.

За свою жизнь я немало едал всякой гадости, но такого омерзительного ужина не упомню. Шэнк все стряпал самолично; и чем дальше, тем сильнее я проникался сочув-

ствием к пленнику, запертому в сарае. Бедняга питался этой стряпней неделю, а то и больше — не мудрено, что он так нахохлился. Мыслимое ли дело, чтобы человек изжарил на сковородке свежее куриное яйцо и оно приобрело после этого такой вкус, словно его снесла неясать по особому заказу. Ну что ж, как говорится, век живи — век учись.

А мистеру Барнуму, казалось, все было нипочем, он ел эту отраву, похваливал и просил еще. Ф.-Т. Барнум поддерживал оживленный разговор с великим искусством, и стоило ему только захотеть, как его собеседник слышал звуки оркестра и видел блестящее цирковое представление. Он излил на Джонатана Шэнка все свое красноречие, развернул перед ним пестрый карнавал своей жизни, с юных лет, когда он торговал вразнос скобяным товаром в Бетеле, и до знаменательного дня, когда он удостоился предстать перед самой королевой Викторией. И все эти старания он прилагал для того, чтобы ублажить сварливого старика с хитрыми глазами. Мне казалось, что он подвергает себя добровольному унижению, и хотя я слушал его, но это меня отнюдь не радовало.

Но немного погодя я заметил, что генерал куда-то исчез. Он при желании умел проскользнуть тихонько, не привлекая к себе внимания. Тут я вспомнил, что когда мы шли к дому, они с мистером Барнумом отстали от всех. И туманная надежда забрезжила в моей душе.

Ф.-Т. вдруг оборвал на полуслове один из самых захватывающих своих рассказов.

— Но оставим это, — изрек он. — В конце концов, дело всего важнее, а я, кажется, о нем позабыл. Так сколько вы хотите получить за этот ваш аттракцион, мистер Шэнк?

— Да уж я лучше обожду мистера Бейли, — сказал Шэнк ухмыляясь. — Я ведь и ему отписал.

Мистер Барнум изобразил на своем лице праведное негодование.

— Разве так делают дела честные люди? — спросил он.

— У меня в руках знаменитейший аттракцион на свете, — сказал Шэнк. — И по мне, все едино, кому он достанется — вам или Бейли; кто больше даст, тот и купит. А ежели цена будет неподходящая, я, может, просто подержу ему крылышки да буду держать в сарае. Сам стану его показывать. — Он потер руки. — Бейли будет здесь с минуты на минуту, — сказал он.

— Вы не подрежете ему крылья. Это невозможно, — сказал Барнум.

— По-вашему, допустим, невозможно, — сказал Джонатан Шэнк. — А только он — моя собственность, и я распоряжусь им, как пожелаю.

Барнум с улыбкой наклонился к нему через стол.

— Послушайте вы, жалкий скупердяй, — сказал он. — Вы имеете дело с Ф.-Т. Барнумом. Мне стоит только послать телеграмму в газеты, и через двадцать четыре часа сюда, на ферму, соберется десять тысяч человек, так что никакой Джим Бейли вас не спасет. Они понаедут со своими припасами и с грудными детьми — понаедут из самых дальних штатов. Они вас по свету сживут, заклеят позором на веки веков за то, что вам вздумалось заставить крылатое создание служить вашим корыстным целям. Но я повременю с этим — мне пока спешить некуда. А, это вы, генерал? — спросил он, увидев, что генерал снова потихоньку проскользнул в комнату. — Ну как, бумага при вас? Весьма вам признателен.

— Ежели этот вонючий хорек хоть пальцем притронулся к моей собственности... — Шэнк вскочил.

— Никто к ней не притронулся, смею вас заверить, — сказал Ф.-Т. Барнум. — Просто генерал частным порядком навел кое-какие справки относительно джентльмена, которого вы называете своей собственностью, — ведь та доска в задней стенке сарая уже была оторвана, верно, генерал? Ну, я так и думал, а в процессе наведения справок зафиксировал показания письменно, по всей требуемой законом форме.

Бумагу он уже держал в руке и теперь быстро пробежал ее глазами — у генерала был мелкий, но очень четкий почерк.

— Ага, — сказал он. — Так я и знал — «Элиас Т. Уилкинс, ангел по профессии, свидетельствует и удостоверяет, что утром семнадцатого числа сего месяца, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, он был ранен прямым попаданием из винтовки или охотничьего ружья с умыслом нанести увечье, каковое и получил от руки Джонатана Шэнка...»

— Это ложь! — заявил Шэнк и стукнул кулаком по столу. — Картечь едва его задела! И к тому же я принял его за орла!

— «...после чего принужден был насильственным путем, вопреки его воле...» — продолжал Барнум. — Скверная выходит история, мистер Шэнк, очень скверная. Боюсь,

что нам придется призвать на помощь правосудие. — Он широко улыбнулся. — На слово мне могли бы и не поверить. Но вот законный документ. Джон, кто в Пенсильвании губернатором?

— Ладно уж, видать, ваша взяла, — угрюмо сказал Шэнк. — Что будете дальше делать?

— Что я буду делать? — переспросил Барнум. — Разумеется, выполню свой гражданский долг.

Вид у него был непреклонный.

— Где ж тут справедливость, ежели человек сделал величайшее открытие века и после этого останется на бобах, — сказал Шэнк, чуть не плача.

— Ладно, — сказал Ф.-Т. Барнум неторопливо. — Вот что мы сделаем. Оставим ангелов в стороне — даже если бы вы и увидели ангела, узнать его было бы все равно невозможно. Но вы накормили меня ужином, а Ф.-Т. Барнум никогда не остается в долгу. Я полагаю, тысячи долларов вполне достаточно за один ужин, если имеешь дело с Ф.-Т. Барнумом. — Он отсчитал и выложил на стол длинные зеленые банкноты. — Теперь же я готов приобрести у вас еще одну мелочь, а именно — ключ от замка, что висит на дверях вашего сарая. За этот ключ я плачу еще тысячу, а уж все остальное — мое дело.

— Это грабеж среди бела дня, — сказал Шэнк, но деньги со стола сразу же сгреб.

— Ничего подобного, — возразил Барнум, — просто если вам еще когда-нибудь вздумается провести за нос янки из Коннектикута, запомните, что в одиночку с ним никому не сладить. Пожалуй, тут надо звать на подмогу с полдюжины судебных крючков из Филадельфии и самого черта впридачу. Ну ладно, друзья, поехали, а то лошади совсем застоялись. — И он пошел к двери. — А когда явится Джим Бейли, скажите ему только одно: что я здесь уже побывал, — добавил он.

Что ж, вывели мы ангела из сарая и усадили в экипаж. Барнум попросил его не лететь, а идти по земле, чтобы не напугать лошадей, и ангел согласился. Было темно, а потому я не мог разглядеть его в подробности. Но я видел очертания его крыльев.

Кажется, это было самое удивительное путешествие в моей жизни. Отец правил лошадьми, мы с генералом поместились на переднем сиденье, а сзади ехал Барнум с ангелом. Я слышал, как Барнум потребовал с него честное слово ангела и джентльмена, что он не улетит без предупреждения, и ангел благосклонно кивнул в ответ.

Мы проехали добрый десяток миль, не вымолвив ни слова. Но, помнится, меня все время одолевала мысль — как нам поступить дальше? Деловая хватка была у меня с давних пор: аттракцион всегда остается аттракционом. И ради Ф.-Т. Барнума я пошел бы на многое. Но тут что-то не так.

Едва ангел вышел из сарая, я сразу заподозрил: тут что-то не так. Но заподозрил ли это Барнум, я не имел понятия.

В конце концов отец спросил с козел:

— Куда ехать, мистер Барнум?

— В Карлайл, — ответил Барнум. Он поразмыслил с минуту. — Или нет, пожалуй, в Гаррисберг. Его нельзя везти поездом — люди увидят, начнется столпотворение. А, черт, езжайте прямо, я скажу, где остановиться. — Он повернулся к ангелу и спросил: — Угодно ли вам ехать в Гаррисберг, сэръ?

— Мне все едино, — сказал ангел. — Главное дело — за-
дать тягу подале от того сарая.

При этих его словах я даже подскочил, потому что выговор у него оказался самый что ни на есть гнусавый, как у всех уроженцев Новой Англии, а уж этого я ожидал менее всего.

Я услышал, как мистер Барнум заерзал на своем сиденье.

— А вы что же, родом откуда-нибудь с северо-востока, мистер... э... Уилкинс? — спросил он.

— Известно, оттудова, — отвечал тот. — Капитан Уилкинс, прошу любить да жаловать. Родился и вырос на Кейп-Код.

— И как это я сразу не сообразил, — пробормотал Барнум задумчиво. — Что ж, очень рад с вами познакомиться, капитан Уилкинс, — сказал он. Но голос его звучал отнюдь не радостно. Он рискнул сделать еще попытку: — Поистине это просто чудо, — сказал он. — Одним словом, все мы жаждем убедиться... словом, я вот всю свою жизнь прилежно ходил в церковь и хотел бы узнать... ну, в общем, каково это — быть ангелом?

— Ничего, приятственно, — сказал ангел. И тихонько кашлянул.

— Разумеется, — сказал Барнум, — у вас такие исключительные возможности... это даже в известной мере обязывает, хотя я вовсе не настаиваю... но ведь вы, вероятно, имели счастье лицезреть великих людей, скажем... э-э... Джорджа Вашингтона...

— Отродясь его в глаза не видывал, — сказал ангел, и я снова услышал ерзанье на заднем сиденье.

— Но я уверен... — начал Ф.-Т. Барнум.

— Отродясь в глаза не видывал, — решительно повторил ангел. — Я служу в береговой охране. На пару с Элнатаном Эдвардсом. И когда б не шторм с ураганным ветром, духу моего не было бы в здешних краях.

— Но Моисея и других пророков... — начал Барнум с мольбой в голосе.

— Не видывал, — заявил ангел категорически. — Сказано вам: служу в береговой охране. У самого Гранд-Бэнкс. Не стану врать — чего не видывал, того, стало быть, не видывал.

— Надеюсь, вы не пострадали... ведь карточь все-таки... — осведомился Барнум с беспокойством.

— Нисколечко, — сказал ангел, ощупывая свои крылья. — Совсем как новенькие. — Он неуклюже повернулся к нам. — Оно конечно, — сказал он, — я у вас в долгу. — Он пожевал губами. Потом взглянул на генерала Мальчика-с-пальчик. — А вот этот, ей-ей, какой-то невзправдашний, так мне сдается, — сказал он. — Но я вижу его своими глазами, а стало быть, все без обману. — Он повернулся к Барнуму. — Хочу сказать вам еще словечко, — произнес он с тоской в голосе. — Служба, конечно, службой. Но я хотел бы взглянуть на ваш цирк. Отродясь еще не видывал цирка.

И он взмыл в воздух — в утренний воздух, позлащенный зарей. Сперва он летел как-то странно, неловко, но потом неловкость исчезла и полет его стал прекрасен, как у всякой птицы. Я бывал на Кейп-Код и теперь думал об этом полуострове и о маленьких жалких суденышках, что снуют там и исчезают в безбрежном просторе, — крылатых парусах Новой Англии. Не знаю, о чем думал Барнум, но он обнажил голову.

Когда ангел превратился в крошечную черную точку на небе, отец мой протяжно свистнул.

— Две тысячи долларов улетели в поднебесье, а с ними вместе знаменитейший аттракцион на свете! — сказал он. — И вы знаете, Ф.-Т., я не жалею об этом.

Он пожал мистеру Барнуму руку.

— Что ж, — сказал мистер Барнум с кривой усмешкой, — по крайней мере Джим Бейли остался ни при чем. — Он поднял голову и сказал: — Поглядите-ка на горку.

Мы поглядели и увидели фаэтон, летящий стрелой. Фаэтон этот подкатил к нам, и с козел прыгнул худошавый,

верткий, бородатый человечек. Он ринулся прямо к Барнуму.

— Куда вы его девали? — крикнул он, заикаясь от волнения. — У вас нет на него никаких прав. Вот заверенная купчая.

Он размахивал бумагой.

— О чем речь? — спросил Барнум. — И много ли вы уплатили этому Шэнку?

— Две тысячи долларов, — отвечал Джеймс Бейли, — и пускай только попробует отвертеться, я с него живьем шкуру сдеру.

— Ну нет, Джим Бейли, ничего не выйдет, — сказал Барнум вкрадчиво. — Ведь ангелам положено улетать, вот и этот улетел тоже. Но деньги ваши не пропадут.

— Как так? — спросил Бейли с негодованием. — Ну-ка, выкладывайте все начистоту.

И у меня на глазах он преобразился — теперь это был хладнокровный, расчетливый делец.

— Они не пропадут, — повторил Ф.-Т. Барнум. — Мы учтем их при оформлении договора, когда вы войдете ко мне в долю.

— В долю! — сказал Джим Бейли. — В долю! — повторил он снова, уже иным тоном.

— Да, в долю, — сказал Ф.-Т. Барнум, не сводя глаз с неба. — У вас свой цирк, Джим, а у меня свой. Но если мы объединимся, то безо всяких ангелов у нас на арене будет такое поразительное разнообразие диких из разных стран, какого еще не видел свет. — Он приподнялся на носки, распрямил плечи и снова стал прежним Ф.-Т. Барнумом. — Что такое ангел в сравнении с дружбой? — сказал он. — Ведь у нас целых три арены и две эстрады! Мы привезем из Лондона слона Юмбо! Мы покажем «Величайшее представление в мире»!

Ивар Лу-Юханссон

Лилипут и королева трапеции

I

Летом я решил съездить на Готланд. Там очень красиво, а бесчисленные исторические памятники Висбю, его руины и крепостные стены могут многому научить и о многом поведать. Там хорошо размышлять о том, как белые стены оттеняют жаркие краски роз, и о том, что этому городу игры страстей страсти неведомы. Впрочем, это, возможно, и неверно. Я уезжал всего лишь на неделю. До острова я добирался пароходом, а не самолетом, потому что на пароходах как-то чаще знакомишься с людьми. На самолетах это случается очень редко.

Уже сидя в поезде, я узнал из вечерних газет, что будет шторм. Я заранее проглотил пару сине-зеленых пилюль от морской болезни. Поезд с грохотом мчался к Нюнэсхамну в теплых сумерках, и ровно в полночь от пристани отчалил рейсовый пароход на Готланд, который должен был прибыть около семи утра к «Жемчужине Балтийского моря», как именуют остров в путеводителях. Я ехал туда не впервые, и потому знал, какая отвратительная погода ждет нас на этом, в общем, небольшом отрезке пути.

Не успели мы добраться до скалистых островков, как пароход начало сильно качать. Через несколько минут мы вошли в зону шторма. Море забурлило. Сначала оно изображало холмы и долины, а потом превратилось в какой-то высокогорный пейзаж. Качало одновременно с кормы и левого борта. Держаться вертикально на палубе стало невозможно. Выл ветер. Казалось, пароход может в любую минуту разлететься вдребезги. Высоко вздымавшийся форштевень сокрушал вал за валом, но на него сразу же обрушивались новые, еще более мощные валы. Иссиня-

черное море казалось бесконечным. Ночь была угрожающе мрачна. Я вспомнил рассказ о сапожнике из Стокгольма. Однажды он отправился в турпоездку на «Жемчужину Балтийского моря» и попал в сильный шторм. Ни за что на свете не соглашался он проделать обратный путь. Он купил новый набор инструментов и до конца дней своих остался сапожничать в Висбю.

Я взял каюту, но не мог даже подумать о том, чтобы спуститься туда и пытаться уснуть. Я чувствовал, что буду там полностью отрезан от мира и утону, как котенок. Вместо этого я поднялся в просторный салон с окнами во всю стену. Скоро я обнаружил, что большинство пассажиров сделали то же самое. Мы сидели в переполненном зале, словно задались целью сохранить свои места на мягких диванах. Потоки воды беспрерывно обрушивались на окна, которые выходили на верхнюю палубу. Из-за качки посуда в кафетерии попадала на пол и побилась. Вскоре мы установили связь с ландсортским маяком, но рассмотреть что-либо с парохода было невозможно. Многие пассажиры запаслись пивом и еще какими-то напитками и теперь пытались пить. Они сидели судорожно обхватив пальцами кружки и стаканы, чтобы удержать их на столах. Я понял, что они просто старались скрыть нервную дрожь в руках.

Спустя некоторое время я заметил, приглядевшись к своим попутчикам, что выглядят они довольно странно. Вряд ли это были обычные туристы. Наискосок от меня, вцепившись в стенку дивана, сидели два японца. Они были одеты в черные, облегающие костюмы и парусиновые туфли. Между ними пластом лежала маленькая, тоже молодая японка с растрепанными черными волосами. Мужчины поддерживали ее, чтобы она не скатилась с дивана на пол. За ними сидело шестеро людей, похожих на канадцев, еще дальше расположилась компания из пяти человек, вероятно испанцев, итальянцев или югославов. Мне подумалось, что кое-кто из них — атлеты или берейторы. Они были в сапогах.

За одним столом со мной сидели два невероятно угрюмых человека. Они говорили на отрывистом немецком языке, который я немного понимал. Кроме них, все приготовили гигиенические пакеты из зеленой бумаги, и теперь пакеты пошли в дело. Но когда прибегнуть к пакетам пришлось молодым японцам, они протанцевали к двери. Они предпочитали, чтобы их тошнило на открытом воздухе. По пути они жонглировали пакетами, как золочеными стеклянными шарами, и хотели, видимо, даже в таком

тяжелом положении представлять собой изящное зрелище.

Только немцы с угрюмыми лицами, которые, казалось, вообще не способны улыбаться, сохраняли полное равнодушие. Они тянули пиво, будто им все было нипочем, переговаривались низкими мрачными голосами, надолго погружались в молчание и были похожи на самоубийц. Словно сень смертного греха и безразличия нависла над ними. Словно они раскрыли над собой большой черный зонт. В этом плавании было что-то неопишимо отталкивающее, хотя сам я пока держался. С легким злорадством думал я о том, как страдал бы сейчас от морской болезни, не прими заранее своих таблеток.

В конце концов я не смог побороть любопытства и спросил у немцев, правда ли, что большинство людей на диванах принадлежит к одной компании.

— Да, — ответил один из них довольно неприветливо, — это цирк Скотт. Остальные наши подышают от морской болезни внизу, в каютах.

— А чем вы сами занимаетесь в цирке Скотт?

Они представились:

— Мы — клоуны.

II

Наше положение стало еще ужаснее. Пароход кидало во все стороны. Он то замирал, как прищипленный к гребню волны, то нырял к самому ее подножию. Спущенные занавески подпрыгивали от толчков, и в окна заглядывало черное, как ночь, небо. Все неукрепленные предметы в зале пришли в движение, а те, что были укреплены, видимо, давно уже начали расшатывать болты и теперь тоже отправились в путь. Оба клоуна сидели совершенно невозмутимо, и, когда судно делало крен, прихлебывали пиво. Они были печальны, как мускусные быки. Они вызывали у меня страшный интерес.

Чтобы мысленно зацепиться за что-нибудь твердое, чтобы найти хоть какую-нибудь точку опоры в мире, где не было ничего устойчивого, я попробовал поразмыслить над природой юмора. Вот передо мной сидят двое самых угрюмых людей на свете, и именно они — клоуны, их специальность — веселить людей. Юмор их черен, как вороп, он отмечен печатью смерти, и в то же время он — защита от смерти. Пожалуй, можно сказать, что юмор — это крайнее средство, вроде рывка за предохранительный клапан.

Если бы люди им не пользовались, мир давно бы отправился ко всем чертям.

Море бурлило, ветер выл. Клоуны пили пиво, я пытался думать. Мысль о том, чтобы отправиться ко всем чертям, приобрела внезапную актуальность. Шведский язык может быть довольно выразительным, если пользоваться им с толком. «Отправиться ко всем чертям» — выражение такое образное, что возможность конца возникла передо мной со всей очевидностью. Дышать стало трудно, все было кончено. Крышка.

«Ко всем чертям, крышка, ко всем чертям», — вертелось у меня в голове, как навязчивая модная песенка. Клоуны за моим столом разговаривали только друг с другом на своем отрывистом немецком языке и со спокойным безразличием потягивали пиво. Но вообще они предпочитали сидеть молча.

— Как вы думаете, может после такого плавания состояться представление? — спросил я.

Лицо самого мрачного и угрюмого из них озарилось каким-то нежным светом.

— Не знаем. Прекрасная испанка, королева трапеции, лежит смертельно больная со своим ребенком в каюте первого класса, а у ее двери лежит наш лилипут.

— Почему это лилипут лежит у ее двери? — спросил я.

— Он любит ее до беспамятства. Она, наверное, выступит последний раз. Она бросает свое опасное занятие и уезжает на родину. Но мы думаем, что выступить она не сможет.

Видимо, их обоих волновала судьба королевы трапеции, а к своей собственной участи они были совершенно безразличны.

III

А шторм тем временем все крепчал. Буря на море стала просто ужасающей. Волны то и дело захлестывали верхнюю палубу. Пароход словно вкручивался разом в бок волны и в ее основание. Кажется, мы давно сбились с курса. Пара окон в салоне треснула, и волны проникли внутрь. Снаружи царила черная ночь. Там в ярости грохотало море, пи земной, ни небесной тверди больше не существовало, боги умерли. Вещи в салоне задвигались еще быстрее, они метались от носа к правому борту и от борта к корме. Двери срывались с петель, открываясь и закрываясь сами по себе.

Я отправился вниз, к каютам первого класса. Я шел по коридору, и меня бросало взад-вперед. Казалось, пароход вертится на месте, а я отрезан ото всех, как в западне.

У дверей одной из кают лежал лилипут. Он свернулся клубком у высокого порога. Я знал, что он лежит там, что он верно охраняет даму своего сердца.

— Как там дела? — спросил он.

Он приподнялся, лежа на боку, и смотрел на меня снизу вверх. Став во весь рост, он, вероятно, оказался бы сантиметров в семьдесят высотой. У него был лоб в странных складках и умные глаза.

— Я маленький Коко из цирка Скотт, — сказал он на ломаном шведском языке. — У меня все в порядке. Но там, за дверью, лежит королева трапеции Белла Фамилиасаграда со своим маленьким сыном.

— А на вас качка не действует?

— Нет. Но ей очень плохо. И за ее ребенка я тоже боюсь. Похоже, что из всех пассажиров только у лилипута и клоунов хватало мужества сопротивляться морской болезни. Морская болезнь — тоже своего рода вопрос силы духа.

IV

Наконец поздно утром перед нами, как видение, возник Готланд. Наверное, у многих он вызвал то же чувство, что Америка у Христофора Колумба, когда он впервые увидел землю. Нам уже не верилось, что остров существует. Прошло много времени, прежде чем мы твердо убедились в этом. И тогда остров показался нам даром, преподнесенным самим морем. То ли шторм утих, то ли мы подошли к острову с подветренной стороны, но качка стала вполне сносной. Меня охватило чувство ни с чем не сравнимой благодарности за спасение, мне казалось, что я никогда не смогу стать достойным этого благодеяния. Я был намерен исполнить все зарок, к которым море принудило меня ночью. У самого острова и в гавани было еще спокойней. Мы видели возносившиеся к небу башни и башенки. Мы впивались в землю взглядами, как землесосные машины. Вскоре стало видно крепостную стену. Разрушенные фронтоны замка уставились на нас пустотами провалов, в которых гулял и свистел ветер. Мы подходили ближе и ближе. Судно замедлило ход. Мы опаздывали на четыре часа. Но какое это имело значение? Дождь лил как из ведра. Но какое это имело значение? Мы видели гавань, сход-

ни, двигавшихся по набережной людей. Пароход плыл. Мы были живы.

Первыми сошли на землю берейторы с животными. По длинным сходням быстро проходили серые в яблоках лошади, пони, слоны, верблюды. Лошади и пони были просто очень удивлены. Но верблюды, по-видимому, были совсем больны. Они шатались и припадали на колени прямо на сходнях. Они скалили зубы, издавали странные звуки, их горбы болтались небрежной, чем пустые сумки у них на боках. Слоны ступали неуверенно, нехотя ставя круглые ступни на деревянный настил. У каждого слона в веренице хобот был крепко прикручен к крысиному хвосту предыдущего, а тому, кто шел впереди всех, держаться было не за что.

Кроме берейторов, все пока оставались в трюме. Они следили за выгрузкой вещей. Ни лилипута, ни Беллы Фамилиасаграда видно не было. Оба клоуна сидели в заплеванном салоне и тянули пиво, пока в кассе кафетерия не опустились жалюзи из гофрированного железа.

Когда я наконец сошел на землю, остров завертелся у меня перед глазами. Казалось, я стою на перекатывающейся бочке. Пол вращался и раскачивался, даже когда я водворился в гостинице. Дождь все еще лил, и трудно было найти какое-нибудь занятие в такую погоду.

Когда ливень поутих, я вышел пройтись — поглядеть на розы и руины. Как я и предполагал, первые полыхали, последние разрушались. Только теперь я уже не был так уверен, что этот остров не может стать подмостками для игры страстей. По разговорам вокруг я понял, что в Висбю много иностранных туристов, особенно американцев. Они ходили по городу, осматривали его и заявляли, что он «nice»¹. Название города они произносили «Vaisboy».

— О, yes, in Vaisboy everything is very nice... — отвечали в одной группе перед ратушей на бодренький вопрос гада, как они себя чувствуют. — But the rain!²

На площади перед зданием пакгауза, у маленького, заросшего мхом фонтана с железной нимфой, выливающей воду из рога изобилия (единственное произведение искусства нового времени, которому удалось проникнуть за средневековую крепостную стену), я увидел лилипута с парохода, коленопреклоненного и молящегося. Став на колени, он сделался лишь на вершок ниже. Он простирал

¹ Мил (англ.).

² О да, в Вайсбой все страшно мило... Только вот дождь! (англ.).

свои кукольные ручки к утопавшему в цветах фонтану. Взгляд его был устремлен на железную нимфу — образчик серийного производства Болиндеровских мастерских. Вероятно, он был католик и не смог найти себе здесь другой алтарь и другую Мадонну.

Когда я подошел, он поднял па меня глаза.

— Мы с вами разговаривали на пароходе, — сказал он. — Меня зовут Коко. Я лилипут из цирка Скотт.

— Вы молитесь?

— Я молюсь за то, чтобы моей любимой Белле Фамилиасаграда не пришлось выступать сегодня вечером. Она сорвется. Я уверен.

— А как же вы думаете предотвратить несчастье?

— Я молюсь за то, чтобы она отказалась от выступления. Я молюсь за то, чтобы вместо нее с ее номером мог выступить я.

Он совсем не боялся обнаружить свою любовь. Принимать его слова всерьез было тяжело. И чувствовалось, что они лишь в небольшой степени выражают то, что стоит за ними.

V

Я пошел дальше. Я вышел на площадь у городских ворот, где цирк Скотт в это время устанавливал свою огромную палатку. Брезент еще лежал на земле, но каркас был уже наполовину собран. В работе принимали участие все артисты цирка, у кого после ночного кошмара оставались хоть какие-то силы. Я увидел шестерых канадцев, предполагаемых испанцев или итальянцев, маленьких японцев в комбинезонах, обоих клоунов, берейторов; но ни лилипута, ни королевы трапеции среди них не было. Единственными, кто мог работать в полном смысле слова, были клоуны. Тут же прохаживался, наблюдая за работой, директор. О вечернем представлении было заранее объявлено по всему городу, везде висели афиши, а о номере Беллы Фамилиасаграда сообщалось отдельно. Билеты быстро раскупали.

Я подошел к директору и заговорил с ним.

— Вы действительно собираетесь давать представление после такого путешествия?

Он вопросительно взглянул на меня.

— У нас многие больны. Выедем на тех, кто сможет выступить.

— А Белла Фамилиасаграда сможет?

Он изучал меня, словно пытаюсь определить, многое ли мне известно. Поняв, что я довольно хорошо осведомлен, он стал откровеннее.

— Трудно сказать. Пока она, наездники и еще кое-кто отдыхают. Надеемся, что представление будет достаточно полным.

— Лилипут Коко этого не хочет, — сказал я напрямик. — Он хочет выступить с номером Беллы Фамилиасаграда вместо нее.

У всех вокруг был такой унылый вид, что директор просто не мог позволить себе разразиться хохотом. Поняв, что я знаю подоплеку дела, он стал еще откровеннее.

— Чистое безумие, — сообщил он. — Лилипут, нанятый заполнять паузы, взял и влюбился в прославленную звезду цирка. Слыхали поговорку — орел в облаках, полевка в песках? Белла Фамилиасаграда — самая красивая, искусная, женственная артистка, какую только можно вообразить. Она замужем за испанским маркизом. Коко — самый безобразный лилипут на свете. Она парит под куполом цирка. Он всю жизнь ковыляет по манежу.

Я пошел в кассу и купил билет. Я попросил место у выхода на арену, чтобы видеть то, что происходит за кулисами.

VI

Синий купол цирка был укреплен на головокружительной высоте. Под самым куполом висели две трапеции, между ними была натянута проволока, которая наклонно спускалась от верхней трапеции к нижней. Огромный шатер был полон. Со своего места у выхода на арену я мог, перегнувшись через деревянные перила, заглянуть за кулисы. Там толпились артисты. Изучив программу, я уже знал, кто с каким номером будет выступать.

Я видел шестерых канадцев в грубых полосатых фуфайках. Они будут стоять друг на друге. Я видел маленьких японцев в облегающих трико. Они покажут воздушные прыжки. Наездники были одеты в костюмы из серебряной фольги с яркими перьями на головах. Те, кого я принимал за испанцев или итальянцев, были одеты как атлеты. Согласно программе, они будут поднимать тяжести и людей.

Мрачные клоуны загримировались под веселых длинноносых парней с ртами до ушей и нелепо разлетающимися бровями. Они обильно намазались белилами и напудри-

лись розовой пудрой. Они напялили мешковатые золотые штаны, такие широкие, что сзади у каждого мог поместиться целый гусь. Уже смотреть па них и то было весело. Берейторы с одnogорбыми верблюдами и слонами еще оставались в конюшнях. Я знал, в каком порядке они должны выходить.

Представление состояло из шестидесяти номеров. Белла Фамилиасаграда — гвоздь программы — выступала в последнем отделении, и ее я еще не видел. Но директор уже был тут, во фраке и белых перчатках, с бриллиантом на манишке. Это был представительный мужчина. Правда, теперь он страшно нервничал: представление должно иметь успех, оно не должно пройти кое-как. На манеже рассыпали опилки. Там расставили препятствия и другие снаряды, которые пока ждали своей очереди.

Вскоре оркестр сыграл увертюру-марш, и тогда директор вышел на манеж и представился публике.

— Добро пожаловать вам всем, — сказал он на ломаном шведском языке, и от этого происходящее приобрело еще более фантастическую окраску. — К сожалению, наше представление будет слабее того, которое мы намеревались дать; из-за тяжелого переезда ночью по морю несколько наших артистов все еще больны. Море одержало над нами верх. Я прошу принять это во внимание и по возможности с этим считаться. Например, крайне сомнительно, что сможет выступить всемирно известная королева трапеции Белла Фамилиасаграда. Мы не имеем права настаивать, чтобы она рисковала жизнью. Возможно, она выйдет показаться публике. Может быть, хотя и маловероятно, она все же выступит. Это выяснится позже.

Публика разочарованно посмотрела на трапеции под куполом. Но все же какая-то надежда у нее еще оставалась.

— Пам! — грохнуло в оркестре, когда оркестранты ударили во все инструменты разом. Громкая барабанная дробь ознаменовала начало представления.

Первыми выступали наездники. Номер прошел неважно. И наездники и лошади были явно не в форме. Ненамного лучше прошел номер с дрессированными лошадьми под руководством самого директора. Лошади его не слушались. Атлеты мучились над своими тяжестями. Никому из зрителей не захотелось, чтобы его поднимали. Вяло прыгали японцы. Четверым канадцам удалось стать друг на друга, но на большее они уже оказались неспособны. Они даже и не пытались. Слоны не решались ступить на свои

скамеечки, верблюды наотрез отказались ложиться. Под ударами дрессировщика они только скалили крупные зубы и покусывали кончик хлыста. Словно в их телах все еще продолжалась та страшная качка, и под личиной пассивного равнодушия они таили злобу.

Номера кое-как сменяли друг друга. Одни клоуны чувствовали себя на арене как рыбы в воде. Они были ужасно забавны, и казалось, что они придумывали свои комичные трюки тут же на месте и изобретательность их неистощима.

В самые неподходящие моменты на манеж, смешно переваливаясь, выходил лилипут Коко и делал вид, что хочет помочь.

Он был невыносим. Он околачивался рядом с дрессировщиком, рядом с атлетами, рядом с вольтижерами. Он путался у всех под ногами, и все его прогоняли. Он кидался не в ту сторону, хватался не за те предметы. Он спотыкался и падал. Одним своим видом он вызывал жалость, и люди улыбались его шуткам и неуклюжести. Он олицетворял призыв к состраданию.

Нетрудно, в общем, представить себе, каково быть лилипутом. Жизнь Коко проходила у лошадиных задов. Он подбирал верблюжьим лепешкам и должен был делать вид, что это аппетитнейшие котлеты. В его обязанности входило шлепаться на слоновый навоз. Ему суждено было пройти через все, что есть на свете низменного. От всего высокого, чего он, возможно, жаждал, он вынужден был отказаться. Да и звали его нелепо — Коко.

Между тем представление шло с частыми перерывами. Выступления отменялись, заменялись. Во втором отделении ожидали еще номер с лошадьми, два новых номера артистов, уже выступавших в первом отделении, клоунаду и как венец всего — последнее в жизни выступление прославленной королевы трапеции, ослепительно прекрасной Беллы Фамилиасаграда. Ее номер был смертельно опасен. Теперь зрителей предупредили, что она, возможно, вообще не будет выступать. Но, может быть, она хоть покажется публике?

VII

В антракте я стал свидетелем одной сцены, которая не предусматривалась программой. Прибыла прекрасная Белла Фамилиасаграда. Она стояла за кулисами, у самого выхода на манеж.

Белла Фамилиасаграда была одета в трико, с плеч свободно спускался плащ. Она была ослепительно хороша, почти до головокружения. Она была стройна и смугла. Ее лицо словно выточил античный мастер. Ее глаза были черны как уголь. Чувственный рот был как будто нарисован огнем и кровью. Длинные и тонкие кисти переходили в прекрасные руки, казалось, созданные для полета. Грудь и спина были обнажены до того предела, который допускается хорошим вкусом. Шелковое трико сидело так, словно его шили прямо па ней. Ее привлекательность была отмечена печатью смерти — такая привлекательность бывает у бабочек-траурниц. Будто красота и смерть объединили усилия, чтобы создать это неповторимое, восхитительное существо.

Перед ней стоял встревоженный директор, а между ними двумя — лилипут Коко. Первым, чьи слова я услышал, был лилипут.

— Я задавал вопрос самой Мадонне, — говорил он, задыхаясь, как в приступе астмы, и пыхтя от волнения. — Мы одной веры, прекрасная Белла и я, и Мадонна сказала, что она сорвется, если будет выступать. Не выступайте, сеньора.

Увидя их рядом, я понял, почему директор говорил об орле и полевке. И еще я понял, как страстно любит лилипут эту женщину, ее легкую, воздушную красоту.

— Разумеется, я должна выступить, — сказала королева трапеции. — Это мое последнее выступление перед отъездом. Хотя я и не совсем в форме, я попробую.

Директор, казалось, колебался.

— Не знаю, как быть. По правде говоря, эти суеверия Коко что-то меня пугают.

Коко смотрел на «звезду» умоляющими, собачьими глазами. Похоже, что он любил ее до полного самозабвения. Вдруг он подкрепил свои мольбы неожиданным предложением:

— Разрешите мне выступить вместо вас. С тех пор как я вас знаю, я тренируюсь на проволоке. Я буду порхать, как ребенок.

Королева с состраданием улыбнулась. Директор засмеялся, словно слова лилипута не имели никакого отношения к теме разговора. Но тут откуда-то из глубины непрошенно выступили клоуны. Без всякой иронии они подтвердили:

— Правда. Коко все время занимался. Он тренируется днем и ночью.

— А проволока лежит на земле, да? — спросил директор и сделал вид, что не придает показанию свидетелей никакого значения.

Но все-таки из разговора выяснилось, что Коко, побуждаемый своей любовью, своим преклонением перед актрисой, долго и упорно учился ходить по проволоке. Он упражнялся и на провисающей проволоке, и на натянутой, и на наклонной. Сначала он действительно ходил по проволоке, лежащей на земле. Как-то в юности он попытался полететь; он соорудил себе из мешковины летательное приспособление. И упал. Но теперь мечты о величии вернулись к нему. Их разбудила любовь.

— Отменим номер, — решил наконец директор. — Чувствую, это добром не кончится. Я ни за что не отвечаю, если вы сорветесь.

Затем занавес опустился. Из коридора больше ничего не было видно и слышно.

VIII

Сразу же началось второе отделение. Как и первое, оно шло кое-как. Артисты работали не только плохо — на них было жалко смотреть. Выступления то и дело отменялись. Зрители были нетерпеливы и раздражены.

Наконец, в заключение, когда должна была выступить знаменитая блистательная Белла Фамилиасаграда, на манеж вышел директор и объявил, что номер отменяется. Белла Фамилиасаграда даже не покажется публике.

Зрители возмутились, причем возмущены были не столько невозмутимые готландцы, сколько туристы, которые не знали, каково ночью в шторм добираться до острова. Иностранцы составляли большую часть публики. Они демонстративно выражали разочарование и рассердились.

— Мы потребуем деньги обратно! — кричали они.

На манеж бросился лилипут Коко. Он надел какое-то смешное красное трико и парусиновые тапочки. Все тело до самых ног он намазал смолой.

— Поднимите меня вверх! — властно заявил он тонким голосом.

Все были так поражены, что даже не стали его удерживать. Служители в обшитых галунами ливреях стали поднимать Коко. Они делали это так, будто поднимали бесформенный куль, или черепаху, или какую-то болотную тварь. Но подняли его тем не менее так же высоко, как обычно поднимали Беллу Фамилиасаграда.

Он добрался до верхней трапеции, с которой полово спускалась проволока. Вместо веера он прихватил с собой куриное крыло.

— Voila! — крикнул он, оказавшись под синим куполом, и развел короткими ручками.

Под ним не было сетки. Даже у тех, кто смотрел снизу, кружилась голова. Проволока была натянута над двадцатиметровой пропастью. Внизу зияла бездна. Воздух под Коко казался более разреженным, чем над ними.

Коко никогда не бывал наверху. Он всегда оставался внизу, на земле. На этот раз он возвышался над людьми, обычно возвышавшимися над ним, обычно смотревшими на него сверху вниз. Может быть, кое-кто и подумал, что ему нечего терять. Жизнь лилипута коротка, как его тело.

— Voila! — крикнул он еще раз и ступил на наклонную проволоку.

Словно ему помогала нелепость происходящего. Словно его несла какая-то фантастическая сила. Раньше лилипута видели только среди конского навоза на манеже. Никто никогда не видел такого пигмея под куполом. В огромном шатре стояла мертвая тишина. Люди боялись вздохнуть.

— Сейчас упадет, — шептали там и сям в публике и закрывали глаза.

Коко ступал по проволоке. Трапеции его не интересовали. Проволока круто опускалась над выходом. Коко шел, глядя прямо перед собой. Он балансировал, размахивая куриным крылом. Все ждали падения. Зрители уже представляли его кровь на манеже. Может быть, у них мелькнула молниеносная мысль — как им вести себя, когда несчастье наконец произойдет.

— Voila! — победоносно крикнул Коко, достигнув противоположной трапеции.

Так обычно кричала Белла Фамилиасаграда, и Коко помахал публике своей маленькой ручкой.

Потом он сделал самое неожиданное. Он помедлил мгновение, снова ступил на проволоку, которая теперь круто шла к верхней трапеции, и побежал обратно. Теперь уже никто не верил, что ему повезет.

— Теперь упадет, — решили люди, заполнявшие ряды скамеек под трепещущим брезентом.

Но Коко добрался до верхней трапеции. Он раскланивался. Он принимал дань восхищения. Он осуществил свою мечту!

— Потрясающе! — крикнул чей-то восторженный голос. — Лилипут под куполом цирка! Зрители неистовство-

вали. Служители в обшитых галунами ливреях качали Коко и иступленно кричали «ура».

Коко снова был внизу, на манеже. У самого выхода стояли два клоуна. Они говорили между собой:

— Его вела любовь.

Коко прислонился к столбу и заплакал под гром несмолкавших аплодисментов. У ног его лежало куриное крыло.

— Она не видела? — спросил оп прерывающимся голосом. Но королева трапеции Белла Фамилиасаграда давно уехала.

— Он победил, — сказал один из клоунов, — а теперь плачет.

— Не осуждай его, — сказал другой. — Он же не понимает, что совершил невозможное.

Лазар Добрич

Трагедия смерти

...Уже два года прошло с тех пор, как я поступил в труппу Димитреску гимнастом. Мне исполнилось 19 лет, и я работал со своим партнером Гателло номер «Комические турнисты».

Однажды, когда мы были в венгерском городе Папа, южнее Будапешта, я отправился на ярмарку. Люди веселились, качались на качелях-лодках, которые сейчас не редкость во всех парках и увеселительных местах. Я загляделся на лодки — качались в основном молодые парни и девчата, и это было очень красиво! А один паренек, желая отличиться перед своей зазновой и заткнуть всех за пояс, так раскачивал лодку, что она принимала почти горизонтальное положение. Девчонка пищала, ей было очень страшно — железные стержни, на которых держалась лодка, жалобно скрипели, а горизонтальная балка, казалось, вот-вот прогнется под тяжестью лодки... Парень пожалел девчонку и перестал раскачивать лодку — а я сделал блестящее открытие, определившее все мое артистическое будущее...

Я стоял в центре городской ярмарки, продолжая наблюдать за лодкой, а сознанием моим уже завладел вихрь новых мыслей, предположений, расчетов. Если горизонтальную балку, на которой крепились стержни лодки, заменить крепкой металлической осью, лодка могла бы сделать вокруг нее оборот на 360 градусов — конечно, при этом надо иметь достаточно сил, чтобы раскатать ее. Может быть, именно я смогу сделать это и создать невиданный, небывалый доселе сенсационный номер?

Если какой-то случайно увиденный мною парень вместе со своей девчонкой могли так высоко подкинуть лодку,

почему же я — цирковой артист — не могу сделать больше? К тому же их двое, а я буду один, и не в тяжелой деревянной лодке, а на легкой гимнастической трапеции, для которой нужно вдвое меньше усилий.

Я подождал, пока освободится какая-нибудь лодка, и сел в нее. Ну, теперь в кач! Всего лишь несколькими приседаниями я раскачал лодку так же сильно, как это делал парень, и не чувствовал никакой особой усталости. На большее я не решился — не хотел испытывать судьбу.

Я вылез из лодки со смешанным чувством радости и неуверенности. Если я сумею осуществить то, что задумал, я стану самым знаменитым артистом цирка в мире. Но странно — почему до сих пор никто не попытался сделать такой номер? Неужели это невозможно? Или есть какие-то законы физики, которых я не знаю и которые могут помешать?

Пять лет подряд я работал как вол, чтобы заработать деньги на постройку гимнастического аппарата, который я окрестил «трапеция смерти». (В цирке, особенно старом, любили эффекты!) Но вот появилось другое препятствие — ни один директор цирка или варьете не хотел предоставить мне место для монтажа аппарата и время для репетиций. Аппарат был громоздкий, монтировать его было трудно, а результаты — неизвестны. Кроме того, меня втайне считали слегка «тронутым» — надо же тратить все свое жалованье на какие-то выдумки, из которых, может быть, вообще ничего не выйдет.

В конце концов нашелся все-таки человек, который отважился помочь мне, — это был директор варьете «Олимпия» в Париже. Заканчивая наш деловой разговор о времени репетиций, он сказал:

— Кто рискует, тот выигрывает. Если добьешься успеха, станешь всемирно известным артистом, и я буду рад, если ты хоть изредка вспомнишь обо мне...

Начались репетиции. Я стал на горизонтальную планку трапеции, схватился за обе держащие ее металлические трубки, присел и начал постепенно раскачиваться. С большим трудом я достиг горизонтального положения и постарался преодолеть его, подняться выше. Но у меня не было больше сил. Сел на планку трапеции и решил отдохнуть, пока темп качания замедлится. Потом слез на пол, размялся немного, поговорил с некоторыми артистами, репетировавшими вокруг меня, — и снова на аппарат. И на этот раз мне не удалось достичь большего. Венгерский паренек поднимал лодку выше, чем я трапецию. Но железные бал-

ки его лодки не превышали 2,5 метра, а мои вертикальные трубки были длиннее 3,5 метра. В этом случае нужно приложить больше сил, потому что при полном обороте трапеция опишет окружность диаметром больше 7 метров!

Прошло еще несколько дней, а я был все на том же месте. Уверенность моя поколебалась, сомнения одолевали меня — неужели я не смогу осуществить свою мечту? Неужели некий мой коллега был прав, когда говорил мне:

— Если бы можно было перебросить трапецию через горизонтальную балку и сделать полный круг, тысячи артистов до тебя давно бы уже сделали это.

Но я не сдался. Снова и снова пробовал я поднять трапецию выше, и вот мне показалось, что дело немного двинулось вперед — да, так и есть, горизонтальная линия осталась позади, а трапеция подлетает все ближе, ближе к точке переворота, но до нее еще ой как далеко! И чем ближе к ней, тем все трудней становилось мне. Дыхание сбивалось, руки покрывались волдырями, кожа клочьями слезала с них. Но я продолжал упорствовать. Каждый день уже приносил что-то новое; до точки переворота было все еще далеко, но польза ежедневной многочасовой работы была очевидна — я чувствовал себя на трапеции все более уверенно и замечал, что чем медленнее я ее раскачиваю, тем меньше устаю. Мои новые товарищи, часто следившие за репетициями, говорили мне:

— Ты совсем близко от цели. Осталось совсем немного...

Если бы они знали, какая огромная поддержка была в их словах, как они помогали мне добиваться осуществления мечты!

И вот настало время, когда я мог уже с достаточной легкостью подвести трапецию почти вплотную к критической точке... Однажды во время репетиций я огляделся вокруг, увидел себя высоко над полом, стал все энергичнее раскачиваться и — о чудо! — трапеция заняла вертикальную позицию, на мгновение задержалась так и пошла обратно, но в следующий раз я разогнал ее чуть сильнее, она снова пришла в верхнюю точку и через какую-то долю секунды перемахнула на другую сторону круга...

Ура! Я победил! Моя мечта осуществилась!.. Первыми аплодисментами наградили меня двадцать моих коллег, репетировавших вокруг. А я уже представлял себе огромный манеж, две тысячи зрителей...

В изнеможении я сел на трапецию и ждал, когда она остановится. Когда я спрыгнул вниз, со мной сделалось

что-то вроде нервного приступа — меня трясло как в лихорадке, зубы стучали, не стало сил двигаться. Я сидел на земле, смотрел на обступивших меня в тревоге артистов, силился что-то сказать им — но не мог. Один из коллег в волнении закричал: «Кажется, он сошел с ума!»

Это несколько отрезвило меня, я стал приходить в себя и мог уже улыбнуться. Мои коллеги обрадовались, кто-то положил мне руку на плечо и сказал:

— Если бы ты знал, какое сильное впечатление производит со стороны этот переворот трапеции! Невиданная, мировая сенсация!

Конец всем мукам и сомнениям! Я стал изобретателем нового циркового номера. Удивляюсь лишь тому, как у меня тогда хватило смелости так пышно и претенциозно назвать его «Трапеция смерти»... Впрочем, я был молод, а это многое извиняет...

Океанский пароход «Ля Франс» приближался к американскому берегу. Это было под вечер, облака рассеялись; заходящее солнце ослепительно отражалось в гладкой воде. Мы с моим новым другом — шотландцем — устремили взгляды на запад, где уже вырисовывались небоскребы Нью-Йорка. Пароход приветствовал город гудком сирены. Когда мы приблизились к берегу, мы увидели фасад большого, но не очень высокого здания. По всему протяжению верхнего этажа здания, между двумя башенками, стоявшими по обеим сторонам фасада, тянулась огромная световая реклама. Такой большой рекламы я не видел никогда в жизни. На светлом фоне огромными огненно-красными буквами было написано: «Iwanoff». Каждая буква была едва ли не в три человеческих роста...

— Господин Иванов, там не ваша ли фамилия написана? — спросил меня шотландец на которого тоже произвела впечатление реклама. (Тогда я назывался Иванов, а не Добрич, потому что Добрич звучит не очень по-болгарски.)

Я ответил ему, что Иванов — действительно моя фамилия, но у нас в Болгарии она очень уж часто встречается. А реклама наверняка касается владельца парфюмерных магазинов в Париже, болгарина из Казанлыка, который тоже носит фамилию Иванов. Он торгует болгарским розовым маслом и разными другими эссенциями. Этот болгарин обожает шумную рекламу. В Париже во времена, о которых я рассказываю, улица, на которой находился его магазин, вся благоухала розовым маслом... Нет ничего

удивительного в том, что он расширил свою фирму за пределами Европы и «перемахнул» на другой континент — я был уверен, что реклама, которая огненно плясала перед нашими взорами, сооружена им.

Мы сошли с парохода, наняли фаэтон и велели отвезти себя на 44-ю авеню. По дороге мы снова увидели огромную световую рекламу на фасаде большого здания. Это было здание ипподрома, где на следующий день должен был состояться мой дебют. Когда мы прибыли в отель, я спросил у дежурного директора, что означает эта реклама на фасаде ипподрома. Ответ был поразителен:

— Это реклама о выступлениях одного всемирно известного циркового артиста, которые завтра начнутся на ипподроме. Если хотите узнать об этом более подробно — почитайте афиши...

Я онемел от удивления, а мой друг Эдит, которая была со мной, не могла удержаться от восклицания. Немного позже, горя нетерпением, мы вышли в город. Он весь был залит светом огромных реклам, на которых многометровыми буквами сияла моя фамилия... Завтра мне предстояло выступать на ипподроме — в громадном зале, вмещавшем более шести тысяч зрителей. На его сцене можно было разместить одновременно три цирковых манежа...

В моей жизни было много счастливых минут артистического успеха. Но 5 февраля 1906 года осталось в моей памяти как самая волнующая дата — в этот день на нью-йоркском ипподроме я достиг вершины славы. Самая смелая фантазия не могла подсказать мне того, что я пережил в этот день.

Зал был переполнен. Стояли в проходах, сидели на полу. (На следующие семь представлений билеты уже были распроданы.)

Публика проявляла нетерпение. Номера, предшествовавшие моему появлению, она встречала без интереса, с трудом сдерживая напряжение. Наконец настала моя очередь. Перед занавесом появилась моя ассистентка Эдит. Музыка заиграла туш. На хорошем английском языке Эдит обратилась к публике:

— Уважаемые дамы и господа! Последний номер сегодняшней программы — «Трапедия смерти», изобретенный и исполняемый болгаринном Лазаром Ивановым. Головоломный и невиданный доселе цирковой номер, который господин Иванов исполнит перед вами, является его личным достоянием. Никто в мире еще не решался на такой смелый и рискованный шаг, как исполнение этого полного

драматического напряжения номера. Впрочем, сейчас вы сами убедитесь в том, что господин Иванов не без основания назвал свой номер «Трапедией смерти»...

Последние слова Эдит были встречены дружными аплодисментами. Огромный, 45-метровый занавес потонул в подземелье.

— Вперед! — скомандовал режиссер и слегка похлопал меня по спине. В этот момент зал заполнили торжественные звуки болгарского национального гимна, который играл оркестр в составе 100 человек!

Я задрожал от волнения. Под звуки гимна в ритме марша я вышел на середину авансцены, легким поклоном ответил на теплую встречу и отправился к аппарату.

В это время я уже работал на двух трапедиях — небольшой нижней и большой верхней. Нижняя висячем состоянии отстояла от земли на 2,2 метра, а верхняя висела над ипподромом в 24-х метрах от земли и, приходя в высшую вертикальную точку лопинга, достигала точно 36 метров высоты. Я начинал выступление с маленькой трапедии и заканчивал на большой. Быстро взобравшись по спущенному мне канату на нижнюю трапедию, я начал раскачивать ее все сильнее. В короткое время я успел перевернуть трапедию и начал серию трюков, сопровождавшихся дробью нескольких маленьких барабанов из оркестра.

Когда трапедия оказывалась наверху в вертикальном положении, а я стоял на ней головой вниз, я бросал трапедию, хватался за горизонтальную ось вращения и на прямых руках начинал в обратном направлении вертеть «солнце», как на обыкновенном турнике. Когда трапедия падала вниз и принимала вертикально отвесное положение — начальное, — я снова соскакивал на нее. Потом я переворачивал трапедию, сидя на ней, держась за нее прямыми руками, и делал еще несколько упражнений, не столь опасных, сколь очень эффектных. Публика следила за мной затаив дыхание, и, когда я соскочил на землю, меня встретил гром аплодисментов. Музыка долго играла туш, я благодарил за овации, ждал, когда публика успокоится, и готовился ко второму номеру — на большой трапедии...

Когда зал затих, я поймал спущенный мне канат и поднялся на верхнюю трапедию. Как только я ступил на нее, люстры в зале погасли. Погас свет и на сцене, и только два прожектора, слева и справа, скрестились на моей фигуре и не отпускали меня до конца номера. Я начал раскачи-

вать трапецию вокруг горизонтальной оси, в которой справа и слева были прикреплены два знамени — болгарское и американское. Когда трапеция стала быстро вращаться, знамена заплескались, а публика, в восторге и волнении, заревела страшно и неудержимо — ничего не было видно, кроме моего тела в белом шелковом трико и шелковых трепещущих знамен; впечатление было такое, будто я лечу в воздухе без всякой опоры. В какой-то момент я достиг высшей вертикальной точки, остановил трапецию, стоя на ней головой вниз, и не спешил довершить круг. Создавалось впечатление, что перевернуть большую трапецию очень трудно, да и само положение вниз головой было очень эффектно. Внизу, в зрительном зале, поднялось нечто страшное — шесть с половиной тысяч человек ревели, орали, пищали, умоляли меня перевернуть трапецию. Но я все еще не торопился совершить полный допинг.

Когда публика дошла до полного экстаза и я почувствовал, что силы мои иссякают, — я повел трапецию вниз. Раздался взрыв неистовых, подобных шквалу, аплодисментов, они не стихали, пока я делал еще несколько допингов. Потом я снова остановил трапецию наверху и через секунду вернул назад, чтобы сделать ряд обратных допингов, умерил качание трапеции, поймал поданный мне канат и спустился на землю...

Едва я коснулся пола, меня окружили плотным кольцом артисты — участники программы: они поздравляли и обнимали меня. Я поблагодарил, поклонился продолжавшей реветь публике и быстро пошел за кулисы. Эдит встретила меня там, смеясь и плача от радости; пришел директор и долго тряс мне руки...

Еще четыре раза я возвращался в рукоплещущий зал, под конец я почувствовал, что сейчас упаду — из носа у меня шла кровь, в глазах потемнело, а публика ничего не хотела знать...

Эдит набросила на меня свое мантио и быстро повела в гримерную.

У двери стояла толпа почитателей — артисты, журналисты, фоторепортеры; все наперебой приглашали нас провести вместе вечер. Но я мечтал о том, чтобы скорей добраться до отеля и вдвоем с Эдит отпраздновать этот грандиозный артистический успех...

...Наутро бой принес в мой номер целую гору газет: хвалебные статьи, интервью, которых я не давал, фантастические сведения о моей семье и моей родине Болгарии...

Вольфганг Хильдесхаймер

Почему я стал соловьем

Соловьем я стал сознательно. Поскольку мотивы такого поступка и само решение его совершить не вполне обычные, стоит, пожалуй, рассказать предысторию этого превращения.

Мой отец был зоологом и посвятил жизнь написанию многотомного, широкоизвестного в кругах специалистов труда о жизни земноводных; существующую литературу по этому вопросу он считал недостаточной и во многом ошибочной. Меня, по правде говоря, труды эти никогданастоящему не интересовали, хотя дома у нас было множество лягушек и саламандр, чье развитие и образ жизни, бесспорно, заслуживали самого пристального внимания.

Моя мать до брака была актрисой и достигла вершины своей сценической карьеры, играя Офелию в городском театре Цвиккау; подняться выше этой вершины ей так никогда и не удалось. Именно этому обстоятельству обязан я тем, что получил имя Лаэрта, благозвучное, но несколько напыщенное. И все же я благодарен ей за то, что она не назвала меня Полонием или Гильденштерном — хотя теперь это не имеет уже никакого значения.

Когда мне исполнилось пять лет, родители подарили мне волшебную шкатулку, так что в некоторой степени (пусть ограниченной, детской) колдовать я научился раньше даже, чем читать и писать. При помощи находившихся в шкатулке порошков и инструментов можно было бесцветную воду превращать в красную, а потом снова в бесцветную или, завернув во что-нибудь деревянное яйцо, делать так, что половина его бесследно исчезала; еще можно было продеть платок через кольцо — и платок менял цвет. Короче говоря, ни один из предметов, находившихся

в шкатулке, не был в отличие от большинства существующих игрушек копией в миниатюре какого-либо предмета реальной действительности. Более того, создатели этой чудо-шкатулки, судя по всему, вообще пренебрегли воспитательными целями, подавляя в самом зачатке пробуждающееся у детей чувство полезного. Этот факт предопределил все мое дальнейшее развитие, ибо удовольствие от превращения одного бесполезного предмета в другой бесполезный предмет научило меня находить радость в познании ради самого познания. Правда, по-настоящему я узнал эту радость только после своего превращения.

Несколько позже было задето и мое самолюбие. Моя волшебная шкатулка перестала меня удовлетворять — я уже выучился читать и прочитал на крышке унижительную надпись: «Маленький маг».

Помню, как однажды после обеда я вошел в кабинет к отцу, чтобы попросить у него разрешения учиться магии. Я попросил: он охотно разрешил. До сих пор не могу отделаться от впечатления, что ему показалось, будто речь идет об обучении игре на фортепьяно; во всяком случае, потом он меня спрашивал, играю ли я уже этюды Черни. Я отвечал утвердительно, так как был убежден, что доказывать это мне все равно не придется.

Итак, я стал заниматься у мага, выступавшего на сценах нескольких варьете нашего города и, судя по тому, что он рассказывал, имевшего успех даже в Лондоне и в Париже; и через несколько лет (посещая одновременно среднюю школу) я продвинулся в искусстве магии так далеко, что мог из пустого цилиндра извлечь кролика. Даже теперь приятно вспомнить первое представление — я дал его в кругу родных и близких. Родители были очень горды моими удивительными умениями, тем более что овладел я ими в свободное от школьных уроков время; и они рассчитывали, что в дальнейшем рядом с моей будущей профессией умения эти послужат для меня чем-то вроде домашней музыки. Но у меня были иные планы.

Я перегнал своего наставника и начал экспериментировать сам. Но, занимаясь этим, я не забывал также расширять свой кругозор. Я много читал, часто встречался со школьными друзьями и с интересом наблюдал за становлением и развитием их личностей. Один из них, например, которому в детстве подарили электрическую железную дорогу, готовил себя к карьере железнодорожного служащего; другой (ему в свое время купили оловянных солдатиков) избрал карьеру военного. Таким образом, влияния

детства неизбежно сказывались на позднейшем развитии, и в зависимости от них каждый выбирал себе профессию — или, точнее, профессия выбирала его. Однако собственную свою жизнь я был намерен построить по-другому.

Здесь я должен добавить, что мной, когда я через несколько лет принял свое решение, ни в какой мере не руководило желание выглядеть в глазах других эксцентриком или оригиналом; скорее, тут следует говорить о растущем осознании той истины, что избрать профессию (в буржуазном понимании этого слова), не задевая интересов своих близких, просто-напросто невозможно. Карьера служащего была, на мой взгляд, особенно безнравственной; но я отверг и другие, казалось бы, более гуманные профессии. В этом смысле даже работа врача, своим вмешательством спасающего людям жизнь, представлялась мне сомнительной, ибо спасенный мог оказаться законченным негодяем, чьей смерти страстно желали сотни несчастных.

Одновременно понял я и другое — поскольку все течет и изменяется, бесполезно пытаться делать какие-то обобщения или накапливать опыт; и когда я это понял, я решил, что отныне буду вести жизнь праздную и беспечную. Я приобрел двух черепах и часто, растянувшись в шезлонге где-нибудь па воздухе, в саду, наблюдал за птицами в небе и черепахами на земле. Магию я забросил, так как достиг в ней совершенства. Я знал, что без труда могу превращать людей в животных, однако способностью этой по пользовался, ибо подобное вмешательство в человеческую жизнь представлялось мне совершенно недопустимым.

Тогда-то и ощутил я впервые желание стать птицей. Сначала я упорно отказывался признать правомерность этого желания, так как оно в известном смысле свидетельствовало о поражении; обуреваемый страстями, я еще не был способен находить радость в чистоте птичьей жизни. И, однако, я был слишком слабovolен для того, чтобы не заигрывать с мыслью о такой возможности. Более того, я гордился тем, что могу, когда я только захочу, удовлетворить вышеупомянутое желание. Но было нужно предварительно подвергнуть свое искусство еще одному испытанию.

Подходящий случай представился очень скоро. Как-то после обеда (я лежал в саду и наблюдал за своими черепахами) ко мне зашел мой друг, доктор Вэрхан. Он был редактором газеты (в детстве ему подарили пишущую ма-

шинку). Он растянулся на соседнем шезлонге и начал жаловаться сначала на злобедность читателей, а потом на ущербность современной журналистики. Я молчал — люди не любят, когда прерывают их жалобы. Закончил он словами: «Я этим сыт по горло», — и, глядя, как одна из моих черепах ползет под его шезлонг, добавил: «Как бы мне хотелось стать черепахой!». Это были его последние слова, потому что я поднял свою волшебную палочку и превратил его. Журналистская карьера доктора Вэрхана на этом закончилась, но жизнь его благодаря превращению, по-видимому, продлилась, так как черепахи живут очень долго. Успех был налицо; к тому же и черепах у меня стало три (заранее отклоняя возможные подозрения, напоминаю, что остальные две были мной куплены).

До собственного превращения я воспользовался своим искусством еще один раз. Вспоминая об этом случае, я всегда испытываю некоторое смятение, так как мне до сих пор не совсем ясно, правильно ли я тогда поступил.

Как-то в июне (я проводил этот день за городом) я сел под липой в саду небольшой гостиницы выпить стакан яблочного сока. Я только порадовался уединению, как вдруг в сад впорхнуло пятеро молодых девушек, тут же усевшихся за соседний столик. Девушки были веселые, но меня рассердило, что они нарушили мой покой; и я рассердился еще больше, когда они начали петь, а одна стала аккомпанировать на мандолине. Сперва они спели «Ехать надо ли мне в город», а потом:

«Когда бы птичкой я была
Да имела два крыла,
Полетела бы к тебе».

Песня эта всегда казалась мне достаточно глупой — ведь любая птица и так от природы имеет два крыла! Но в данном случае именно желание стать птицей, выраженное в этой песне, побудило меня положить пению конец и превратить певуний в стайку воробьев. Я подошел к их столу и взмахнул волшебной палочкой, и, вероятно, какое-то мгновение все выглядело со стороны так, будто я дирижирую квинтетом — но только мгновение, потому что тут же пять воробьев вспорхнули и улетели, чирикаая. Лишь пять недопитых стаканов с пивом, два-три недоеденных бутерброда и упавшая на землю мандолина — несколько ошеломивший меня натюрморт — указывали на то, что за какие-нибудь секунды до этого здесь пела и радовалась молодость.

При виде вызванного мною опустошения я ощутил легкое чувство раскаяния, так как подумал: а не может ли быть, что пение этой песни по выражало прямого и недвусмысленного желания стать птицей, а слова «Когда бы птичкой я была», быть может, необязательно означают действительное желание стать таковой, хотя, безусловно, именно к этому сводится общий смысл песни (если в случае песни, подобной этой, можно вообще говорить о каком-то смысле). У меня было такое чувство, будто я действовал в состоянии аффекта, под влиянием раздражения (в общем-то, вполне оправданного). Я нашел, что это меня недостойно, и решил не медлить более со своим превращением. Должен особо подчеркнуть, что отнюдь не страх перед возможными последствиями моего деяния — например, уголовным преследованием — побудил меня изменить свой облик (мне ничего не стоило бы в момент моего задержания превратить стражей закона в карликовых пинчеров или в других животных). Скорее, тут действовало сознание того факта, что в мире, каков он есть, иных путей к тому безмятежному покою, отсутствие которого отнимает у меня всякую способность наслаждаться жизнью, мне не найти — обязательно где-то залает собака, закричит ребенок, запоет молодая девушка.

Облик соловья я выбрал не случайно. Я хотел стать птицей, потому что меня очень соблазняла возможность перелетать с дерева на дерево. А еще я хотел научиться петь, так как очень люблю музыку. Немаловажным было для меня и то обстоятельство, что, став соловьем, я сам наконец получу возможность вмешиваться в жизнь людей, поскольку буду мешать им спать. Но, перестав быть человеком, я расстался также с человеческими мыслями и интересами. Моя этика — этика соловья.

В сентябре прошлого года я вошел в спальню, распахнул окно, заколдовал себя и вылетел наружу. Пожалеть об этом мне не пришлось.

Сейчас май. Дело к вечеру, смеркается, скоро станет совсем темно. Тогда я запую или, как говорят люди, зацелкаю.

Джордж Гаррет

Прыжок

Почти месяц стояла она в своем плотно облегающем купальном костюме из блесток на самом верху шаткой деревянной вышки, уходящей в небо, как лестница, что приснилась когда-то Иакову, стояла над облаками в росчерках мечущихся птиц, а где-то внизу, на земле, так далеко, что при одном взгляде туда кружилась голова, полыхало в огромном чане пламя, в которое она готовилась прыгнуть. Под чаном пляшущими огненными буквами было написано:

ОДНО ИЗ ЧУДЕС ДВАДЦАТОГО ВЕКА!
АКРОБАТКА СТЕЛЛА!
ПРЫЖОК С ТРИДЦАТИМЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ
В КИПАЩИЙ КОТЕЛ СМЕРТИ!

Афиши эти таинственным образом наводнили город; однажды в понедельник они появились в витринах магазинов, па стенах домов, на телеграфных столбах, на стволах деревьев и, естественно, произвели па всех сильное впечатление. Первыми их увидели идущие в школу дети — учебный год только начался. Они сгрудились у афиш, с восторгом и ужасом разглядывая эту смелую, как из сказки, маленькую женщину с могучей фигурой, и потом целый день волновались и шумели, словно потревоженный улей. Вслед за детьми на улицу вышли взрослые и принялись сердито сдирать афиши со своих домов, а двое полицейских до самого вечера трудились в центре города над телеграфными столбами и фонарями.

Как же их было много! И как загадочно они появились! Тревожные и будоражащие, словно крик трубы в тишине, они неслышно упали ночью на город, как падает осенью

первый снег. (Только потом, много времени спустя, когда все уже совершилось, официант из закусочной «Парадиз», что стоит на самой окраине за последней городской бензоколонкой и последним мотелем, посылающим в темноту мигающий призыв, за стоянкой машин, которые даже при самом ярком свете дня, среди суеты бьющихся на ветру разноцветных флажков и вертушек, похожи на выпущенных в поле печальных балаганных лошадей, — этот официант, работавший тогда в ночную смену, вспомнил, что перед рассветом того дня, как в городе появиться афишам, к ним в закусочную заходил хромым и пил у них кофе.)

Несмотря на все старания, несколько афиш все-таки осталось висеть, дразня город смутным обещанием чуда. Их рвал и трепал ветер, жгло беспощадное сентябрьское солнце, секли нескончаемые осенние дожди, и красные буквы бледнели, расплывались и наконец стали сор.сем исчезать, словно они были написаны чем-то недолговечным и тленным, как людская кровь. Сначала было много разговоров: кто-то утверждал, что якобы видел такой прыжок, другие о нем будто бы слышали, — много споров, даже обличений — с кафедры наиболее ортодоксальных церквей, приравнивающих развлечение к греху, но время шло, выцветали краски афиша, и вместе с ними слабел интерес. Скоро не осталось почти никого, кто верил бы, что Стелла придет к ним в город и совершит свой прыжок, никого, кто на это надеялся. Наверное, все это лишь шутка, решили люди, глупая, бессмысленная и жестокая.

А потом, уже в конце октября, холодным и серым, как мыльные помои, утром в город приехал крытый грузовик и остановился возле пустыря под голыми, гнущимися на ветру деревьями. Когда-то давно на пустыре устраивали раз в год ярмарку, здесь гремел оркестр, в воздухе разносились ароматы незнакомых блюд, весело скрипела карусель, вертелось колесо обозрения. Сейчас огромное поле было пусто. Сначала никто не обратил на грузовик внимания — старая, разбитая колымага, мало ли таких ездит мимо, — но часа через два возле машины появилась большая старая палатка военного образца, плохо натянутая, кособокая, раскоряченная, похожая на огромный серо-зеленый гриб.

И люди там тоже были — трое. Низенький хромым мужчиной, — наверное, левая нога у него была деревянная, — с хитрым, как у бостонского терьера, грубым лицом в резких складках, с блестящими, словно пуговицы, темными глазами и гнилыми, торчащими в разные стороны зубами.

Он был все время в страшном возбуждении и, казалось, чуть не падал с ног от усталости. Иногда он появлялся в городе, покупал какую-нибудь еду, сигареты, аспирин и комиксы, заходил в скобяную лавку и начинал рыться в ящиках, где лежали старые, ржавые гвозди, гайки, болты и скрепы — бог его знает, зачем они были ему нужны? — и все время бормотал что-то про себя, хрипло, еле слышно и невнятно. Потом была девочка, тоненькая, хрупкая, будто сделанная из просвечивающего насквозь фарфора, с огромными прозрачными глазами и длинными, ниже пояса, распущенными волосами, ухоженными и блестящими, словно поток новеньких медных монеток. Она всегда ходила в белых, без единого пятнышка, платьях, жестко накрахмаленных и безупречно выглаженных; женщины в городе не понимали, как девочкиной матери — или кем она ей там приходится — все это удастся, живя в старой и, верно, протекающей палатке и давно отслужившем свой век армейском грузовике. Девочку звали Эйнджел — так, во всяком случае, называл ее мужчина. Она никогда не играла с детьми, которые собирались иногда после школы возле палатки, с любопытством ее разглядывали и кричали: «Эйнджел! Эйнджел!..» — пока не появлялся этот страшный хромой человек, грозя им метлой или лопатой, и тогда они с визгом и хохотом разбежались. Женщина тоже была очень странная — маленькая, некоторые говорили, почти карлица, — но кряжистая и ширококостная, как мужчина, с широкими плечами и бедрами и крепкими, мускулистыми ногами. Волосы у нее были выкрашены в огненно-рыжий цвет и подстрижены под горшок. Ей было на вид лет тридцать, а там кто знает — может быть, и гораздо больше, разве разберешь под таким грубым, ярким гримом: глаза резко подведены черным до самых висков, губы бордовые, словно в соке спелых вишен, а на щеках рдели два идеально круглых красных пятна, похожих на засушенные между страниц книги розы. Она никогда ни с кем не разговаривала, и, если к ней обращались, она только молча смотрела своими блестящими, ничего не выражающими глазами, и люди скоро догадались, что она немая. Это подтвердилось, когда кто-то увидел, как она разговаривает с хромым — при помощи рук, быстрых и легких, как крылья. Но когда она улыбалась — а улыбалась она почти все время, — она казалась красавицей.

Прошла неделя, как они приехали в город и обосновались на пустыре, а никто ни о чем так пока и не догадался. И вдруг в одно прекрасное утро люди увидели, что хро-

мой выгрузил из машины гору досок, реек, планок, труб, мотков проволоки и постепенно перетаскивает все это к центру поля. К полудню он соорудил нечто напоминающее основание большой буровой вышки.

— Ха-ха-ха, нефть ищут!

Все весело смеялись этой шутке, а вечером несколько именитых граждан города подъехали в сопровождении полицейского к пустырю, вылезли из машины и не спеша направились туда, где возился хромой. Он не замечал приближающуюся группу. Обливаясь потом, он одержимо трудился над своей вышкой, мечась вокруг нее в нелепом, почти отталкивающем неистовстве, судорожно и торопливо, словно комический персонаж в немом кино. Он не бросил своей работы, даже не взглянул на подошедших, пока они не заговорили с ним.

— Интересно, что это вы тут делаете, а? — крикнул полицейский.

Хромой плюнул и бросил на землю тяжелый гаечный ключ.

— А что я тут могу делать, как вы думаете? — спросил он, и несколько человек засмеялось. — Вышку ставлю.

— Какую вышку?

— Как — какую? Для Стеллы. — Хромой сердито перевел дух.

— Раз она собирается прыгать, нужна вышка. Логично, правда?

— А, вот оно что. — Полицейский задумался. — Если вы хотите устраивать здесь представление, нужно сначала получить лицензию.

Хромой опустил голову и сразу поник и как будто съежился, словно проколотый мяч. Он что-то забормотал про себя, потом посмотрел на них, и они увидели в его глазах мутные, непроливающиеся слезы.

— Сколько стоит лицензия? — спросил он.

— Двадцать пять долларов.

— Она может и не прыгать, — сказал он. — Мы много чего умеем. Я врую в землю два столба, повешу трапедию, и Эйнджел покажет вам на ней такие чудеса, что вы только ахнете. На худой конец обойдемся и без трапедии, я просто влезу на грузовик и буду глотать шпаги и огонь, а Стелла и Эйнджел будут танцевать.

— Это безразлично, что вы собираетесь делать, для любого представления нужна лицензия.

Хромой пожал плечами и снова опустил голову.

— У вас что же, нет денег?

Он покачал головой, глядя в землю.

— Тогда и говорить не о чем, — отрезал полицейский. — Разбирайте свою башню — и скатертью дорога. По нашим законам...

— Подождите! — прервал его приехавший лавочник. — Вы ведь собираетесь продавать билеты, не так ли?

Хромой кивнул.

— Если этот ваш прыжок хорошенько разрекламировать, можно будет собрать не меньше тысячи зрителей, считая ребятишек. Сколько вы берете с человека?

Хромой наконец-то взглянул на них и улыбнулся своей болезненной, обнажающей кривые зубы улыбкой.

— Совсем мало — двадцать пять центов, — сказал он. — А билетов у нас сколько угодно, они напечатаны.

Лавочник быстро подсчитал что-то в уме.

— Хорошо. Вот что я могу вам предложить: я покупаю вам лицензию, а вы отдаете мне половину всего, что выручите.

— Половину? Вы с ума сошли! Это слишком много. Ради половины не стоит и прыгать. Вы не знаете, как это опасно.

— Ну что ж, я вас не неволю.

— А что вам меня неволить? Меня нужда неволит. Ладно, согласен.

— Тогда сделаем так. Мне в магазине помогает парнишка, я пришлю его вам. За сколько времени вы закончите все вдвоем?

Хромой вздохнул.

— Вдвоем? Думаю, завтра к вечеру.

К ним неслышно подошла женщина, держа за руку девочку в белом платьице, и остановилась в сторонке, улыбаясь своей удивительной улыбкой. Судя по всему, она совершенно не догадывалась, о чем идет речь. Но когда все вернулись к машинам и стали садиться, они увидели, что женщина стоит рядом с хромым и уже не улыбается, а он качает, бесконечно качает головой, и вдруг руки ее заметались, забились, как пойманные птицы, в тоске и гнев.

Назавтра к полудню вышка была готова — хрупкое, ненадежное сооружение, качающееся даже при самом слабом ветре, конечно, ниже той заоблачной башни среди птичьего хоровода на афише, но все-таки очень высокое, при одном взгляде на него замирало сердце. До самого верха шла веревочная лестница, а наверху была крошечная площадка с доской-трамплином для прыжка. Внизу на земле хромым установил огромный деревянный чан, и

до самого вечера он с женщиной и с мальчиком, которого прислал владелец магазина, носили туда ведрами воду из уличной колонки за полмили, пока он не наполнился до высоты хорошего мужского роста. Рядом с чаном стояла старая армейская канистра на двадцать литров с бензином. Вокруг хромой развесил на столбах гирлянды разноцветных лампочек и направил на площадку, с которой Стелла будет прыгать, два огромных прожектора; достал из машины маленький ломберный столик и отнес его туда, где от шоссе сворачивала к пустырю дорога, потом наклеил на стволы голых, облетевших деревьев, на фонарные столбы и на стенки своего грузовика афиши. Часам к пяти все было готово.

И вдруг погода переменилась. Подул северный ветер, начал моросить мелкий, холодный дождь. Мокрая вышка раскачивалась и скрипела. Женщина с девочкой не выходили из палатки. Хромой, закрывшись от дождя газетой, стоял с билетами у столика и ждал первых зрителей.

Когда уже почти стемнело, приехал лавочник. На поле вокруг вышки собралась большая — даже больше, чем они надеялись, — толпа в плащах и с зонтиками. Люди молча, терпеливо дожидались.

— Так, прекрасно, — сказал лавочник, — я вижу, у нас все в порядке, невзирая на погоду.

— У нас-то в порядке, — ответил хромой, — только она не хочет прыгать.

— Как не хочет?

— При таком ветре это очень опасно.

— Зачем же вы тогда продавали билеты? Надо было думать раньше. Давайте показывайте им свое представление, а то тут может начаться такое, что я за последствия не ручаюсь.

— О, представление мы им обязательно покажем, мы никогда не обманываем зрителей. Я буду глотать шпаги. Сейчас что-нибудь сообразим.

— Нет, пусть она прыгает, — упрямо сказал владелец магазина. — Иначе вам предъявят обвинение в мошенничестве, и так просто вы от него не отделаетесь.

Хромой и лавочник вошли в палатку. Там горел фонарь, освещая странным красным светом разбросанную повсюду одежду, чемоданы, ящики, консервные банки, комиксы. На единственной раскладушке сидела женщина в своем купальном костюме из блесток, таком узком, что он, казалось, вот-вот на ней лопнет, и читала комикс. Рядом с ней, чистенькая и наглаженная, как всегда, не до-

ставая ножками до полу, сидела девочка. Женщина была без грима; она не улыбнулась, когда они вошли. Даже обманный теплый свет фонаря с красными стеклами не мог замаскировать, как в палатке холодно, промозгло и неуютно. Пахло дешевой стряпней, потом, косметикой, сыростью.

— Скажите ей, пусть готовится прыгать, — сказал лавочник.

Хромой принялся быстро объяснять женщине что-то, она медленно повела руками, улыбнулась и покачала головой. Толпа снаружи дружно захлопала.

— Она говорит, это очень опасно. Всегда опасно, а сейчас, в такую ночь...

— Э, бросьте набивать цену, — прервал его лавочник. — Не такая уж это страсть, как вы расписываете. Она же не просто так прыгает, а с каким-нибудь фокусом.

Хромой покачал головой.

— Нет, сэр. Никакого фокуса мы не знаем. Это очень страшный прыжок. Она ненавидит его.

— Ненавидит?! Вот это мне нравится! Если она ненавидит прыгать, зачем вы тогда ездите по городам, расклеиваете свои афиши, строите вышки и продаете билеты? Объясните мне, пожалуйста.

— Кто-то же должен показывать этот прыжок людям. Не мы, так другие.

— О господи! — владелец магазина воздел руки к небу. — Ну вот что, друзья: если через пять минут вы не начнете свой номер, я всех вас засажу в тюрьму за жульничество, понятно?

Он отбросил полог и шагнул под холодный, пронизывающий дождь. Заплакала девочка, послышалось бормотание хромого, и вдруг раздался глухой жалобный стон — единственный звук, который умела издавать немая. Владелец магазина закурил. Полог снова поднялся, и мимо него пробежал хромой. Он включил мотор грузовика, и разноцветные лампочки вспыхнули. И в эту минуту появилась женщина — в огромном, на несколько размеров больше, мохнатом халате и резиновой купальной шапочке. Она подошла к подножию вышки, положила руку на перекладину веревочной лестницы и улыбнулась.

— Леди и джентльмены! — сказал хромой. — То, что вы сейчас увидите, противоречит всем законам природы и науки. Вы не поверите своим глазам. Это чудо двадцатого века. Женщина, которая стоит здесь перед вами, поднимется на вышку и с этой огромной высоты прыгнет в пылаю-

щий чан глубиной меньше двух метров. Вы спросите, как она это делает? Циркачи любят иногда рассказывать о своей работе всякую чепуху, что они-де учились у йогов, или у цыган, или у каких-нибудь кудесников, что все, что они делают,— это чудеса и заклинания, что им ведомы тайны Древнего Востока. Мы не знаем никаких тайн, у нас нет ничего, кроме искусства, того самого искусства, которое дается только трудом. Подняться на эту вышку и прыгнуть в пламя может каждый, у кого есть мужество и терпение. Встающая из огня с улыбкой на устах Стелла — живое доказательство того, что человеческим возможностям нет границ. Это наполнит ваши сердца радостью, заставит почувствовать счастье, что вы живете на свете.

— Кончай, пусть прыгает! — крикнул кто-то, и толпа разразилась хохотом и свистом.

— Больше я ничего вам говорить не буду, — спокойно продолжал хромой. — Скажу только одно: сейчас вы увидите подвиг. Итак, выступает известная всему миру акробатка Стелла!

Он тронул женщину за локоть. Та сбросила халат и, раскинув руки, предстала перед зрителями в своем сверкающем купальном костюме — мускулистая, бледная, некрасивая. Потом повернулась и начала медленно взбираться по веревочной лестнице. Лестница тяжело раскачивалась под ней; казалось, она вот-вот сорвется и упадет. Наконец она добралась до площадки на самом верху вышки и встала на колени, отдыхая, — даже снизу было видно, как трудно она дышит. Наконец она выпрямилась во весь рост, и хромой включил прожекторы. Женщина отвязала веревочную лестницу, и та медленным, ленивым кольцом упала на землю, словно мертвая змея. Толпа громко ахнула.

— Видите? — закричал хромой. — Видите? Теперь у нее только один выход — прыгать.

Он подбежал, ковыляя, к чану, схватил канистру и вылил бензин в воду. Потом поднял голову и махнул женщине рукой. Она ступила на доску-трамплин и посмотрела вниз. Вышка скрипела и шаталась на ветру, и женщина снизу казалась совсем крошечной. Она снова посмотрела вниз и сделала знак хромому. Он поджег бензин и боком отскочил от взметнувшегося с ревом пламени. И в это мгновение она поднялась на носки и прыгнула. Раскинув руки, стремительная и невесомая, она на миг застыла высоко в воздухе, словно пойманная слепящим светом двух прожекторов птица. Потом вдруг быстро сжалась и кам-

щий чан глубиной меньше двух метров. Вы спросите, как она это делает? Циркачи любят иногда рассказывать о своей работе всякую чепуху, что они-де учились у йогов, или у цыган, или у каких-нибудь кудесников, что все, что они делают,— это чудеса и заклинания, что им ведомы тайны Древнего Востока. Мы не знаем никаких тайн, у нас нет ничего, кроме искусства, того самого искусства, которое дается только трудом. Подняться на эту вышку и прыгнуть в пламя может каждый, у кого есть мужество и терпение. Встающая из огня с улыбкой на устах Стелла — живое доказательство того, что человеческим возможностям нет границ. Это наполнит ваши сердца радостью, заставит почувствовать счастье, что вы живете на свете.

— Кончай, пусть прыгает! — крикнул кто-то, и толпа разразилась хохотом и свистом.

— Больше я ничего вам говорить не буду, — спокойно продолжал хромой. — Скажу только одно: сейчас вы увидите подвиг. Итак, выступает известная всему миру акробатка Стелла!

Он тронул женщину за локоть. Та сбросила халат и, раскинув руки, предстала перед зрителями в своем сверкающем купальном костюме — мускулистая, бледная, некрасивая. Потом повернулась и начала медленно взбираться по веревочной лестнице. Лестница тяжело раскачивалась под ней; казалось, она вот-вот сорвется и упадет. Наконец она добралась до площадки на самом верху вышки и встала на колени, отдыхая, — даже снизу было видно, как трудно она дышит. Наконец она выпрямилась во весь рост, и хромой включил прожекторы. Женщина отвязала веревочную лестницу, и та медленным, ленивым кольцом упала на землю, словно мертвая змея. Толпа громко ахнула.

— Видите? — закричал хромой. — Видите? Теперь у нее только один выход — прыгать.

Он подбежал, ковыляя, к чану, схватил канистру и вылил бензин в воду. Потом поднял голову и махнул женщине рукой. Она ступила на доску-трамплин и посмотрела вниз. Вышка скрипела и шаталась на ветру, и женщина снизу казалась совсем крошечной. Она снова посмотрела вниз и сделала знак хромому. Он поджег бензин и боком отскочил от взметнувшегося с ревом пламени. И в это мгновение она поднялась на носки и прыгнула. Раскинув руки, стремительная и невесомая, она на миг застыла высоко в воздухе, словно пойманная слепящим светом двух прожекторов птица. Потом вдруг быстро сжалась и кам-

нем упала в чан, выплеснув кверху сверкающий столб огня и воды.

Толпа замерла. Женщина показалась из воды, тяжело прыгнула на траву и, подняв руки, снова повернулась перед зрителями, вся мокрая, но живая и невредимая. Потом подобрала халат и убежала в палатку. Хромой выключил гирлянды, заглушил мотор и тоже исчез в палатке. Люди начали расходиться, но несколько человек осталось стоять в темноте возле вышки и потухшего чана.

Когда владелец магазина вошел в палатку, мужчина, женщина и девочка сидели рядом на раскладушке и что-то ели из консервной банки. Красный фонарь стоял на полу возле их ног.

— И это все? — спросил он. — Все, что вы собирались показать людям?

Хромой кивнул, не переставая жевать.

— За двадцать-то пять центов можно увидеть и не такое короткое представление, вам не кажется?

— Нет, не кажется. Она могла разбиться насмерть. Для одного вечера этого вполне достаточно. Люди должны радоваться, что все кончилось.

Владелец магазина повернул голову к женщине. Она доставала что-то пальцами из банки, и вид у нее был совершенно счастливый и безмятежный. Его вдруг опалило сумасшедшее желание.

— Покажите им еще что-нибудь. Вы говорили, что умеете глотать шпаги. Вдруг люди станут жаловаться, что зря заплатили деньги!

— Нет, черт возьми! — сказал хромой. — Они получили за свои деньги все, что им причиталось. Больше мы ничего показывать не будем.

Лавочник еще долго убеждал и настаивал, но в конце концов забрал свою долю выручки и ушел. Скоро разошлись и последние зрители.

А на следующее утро и мужчина, и женщина, и девочка исчезли. Исчезла вышка, исчез грузовик, исчезла палатка, словно никогда их тут и не было. Остались только черные пятна на траве, куда выплеснулось из чана пламя, да несколько афиш, где все было совсем не так, как оказалось на самом деле. Но забыть то, что произошло на пустыре дождливым осенним вечером, люди не могли; воспоминание об этом долго преследовало их укором, словно не знающий покоя призрак. Священники продолжали обличать заезжих циркачей как явных пособников дьявола. Пьяницы, чудаки и фантазеры так расцвели и приукра-

сили легенду об огненном прыжке, что она сделалась похожей на старинный гобелен с героическим сюжетом, на фоне которого наша жизнь кажется ничтожной и жалкой. Дети не давали покоя взрослым, допытываясь, когда к ним опять придет Стелла. Один старый мудрый калека рассудил, что они видели страшную вещь, хотя дьявол тут ни при чем: «Нельзя людям показывать такое. Теперь мы никогда не захотим смотреть обыкновенные чудеса, которые творят фокусники, канатные плясуны и наездники. Теперь нас может удивить только настоящее чудо».

И он в общем был прав, насколько может быть прав старый, мудрый человек, додумавшийся до чего-то один. Мог ли он знать, что одиноким, обездоленным женщинам становится легче жить после того, как они увидели этот прыжок? Мог ли он видеть, как счастливо они улыбаются во сне, бестрепетно бросаясь с захватывающей дух высоты в бурлящее пламенем озеро?

Джордж Гаррет

Лев

Жожо так и знал, что утром они вернутся.

В серых сумерках рассвета, в тот час, когда от земли пачинают подниматься терпкие, пряные запахи и все становится призрачно-лунным, он сбросил одеяло и тихо прокрался к окну. Возбравшись на подоконник, он ловко, по-обезьяньи, прыгнул и, падая, поймал ветвь растущего возле дома дуба. С минуту он висел, вцепившись в трепещущий сук, пока не перестало колотиться сердце, потом сильно раскачался, легко закинул на сук ноги и сел. Дальше все было просто. Он съехал вниз по суку на животе, снова повис на руках и бесшумно соскочил на землю. В городе начали перекликаться петухи.

Дом их еще долго будет спать. Никто не заметит, что нет Жожо, по утрам у них всегда такая кутерьма: отец с Рэймондом и Стоуни кричат, где же завтрак, черт возьми, они опаздывают на работу; Марсия заперлась в ванной («Целый час сидит, вы подумайте!» — возмущается Сью) и, судя по всему, выходить оттуда совершенно не собирается, а Сью стучит в дверь худыми кулачками и визжит — господи, для кого так стараться, кто ее видит, ведь она телефонистка, это ей, Сью, приходится целый день быть на виду в приемной массажиста-хиропрактора, доктора Траута, ей нужно следить за собой и быть красивой, на что звонкий, безжалостный, как укус змеи, голосок Марсии со смехом отвечает: пожалуйста, она может торчать в ванной хоть круглые сутки, все равно на нее ни один дурак не взглянет; Сью раздражается слезами и в бешенстве пробует высадить дверь; Марсия, чтобы не слышать, спускает в унитазе воду; а внизу мама и их цветная служанка Далмация, обе большие, грузные и неуклюжие, словно

медведи, которых заставили плясать на задних лапах, обе сонные и нечесанные, похожие, как сестры-близнецы, — только одна белая, а другая черная, — топчутся по кухне, налетая друг на друга и бормоча извинения, пока яичница с беконом превращается в уголь и все кофе убегает на плиту; они не произносят ни слова, и только когда домо-чадцы наконец разбегутся на работу — причем все выскакивают из дому разом, будто чья-то рука швыряет из двери пригоршню монет и они рассыпаются в разные стороны, — только тогда женщины усядутся за кухонный стол, огромные, едва помещающиеся на стульях, и после чашки кофе начнут понемногу приходить в себя, начнут болтать и смеяться, — так неужели в этой суматохе кто-нибудь хватится Жожо, о котором никто никогда не беспокоится, потому что он маленький, и раз его нет, значит, он в школе — хотя сейчас конец июля и у ребят давным-давно каникулы — или еще где-нибудь, и которого мама называет своим маленьким постскриптумом и при этом всегда громко смеется!

Жожо скользнул за угол, быстрый и неслышный как тень, и побежал к центру.

Там, на площади, перед одноэтажным кирпичным зданием конторы шерифа стоял старый разбитый автомобиль со скошенными фарами, весь в ошметках засохшей грязи под толстым слоем пыли, и в нем было двое вчерашних. За рулем сидел крошечный толстенький человечек в мокрой от пота белой рубаше с закатанными до плеч рукавами; он вытирал лысый череп замусоленным носовым платком, боспокойно оглядывая пустую улицу, и его большие светлые глаза блестели и переливались за толстыми стеклами очков, словно рыбки в аквариуме.

— Не понимаю! — бормотал он. — Ничего не понимаю, хоть убей. Мы всю ночь мчимся сюда сломя голову, а этот тип до сих пор изволит почивать!

Его спутник ничего не ответил. Он сидел сгорбившись, прижавшись лбом к поднятому до самого верха стеклу. Липо у него было ястребиное, худое и очень смуглое, а волосы такие блестящие и гладкие, что казались нарисованными. Маленькие усики, прямые и тоненькие, как ниточка, и брови тоже тонкие, черные, стрелчатые, гордые. В глазах была усталость, скука, пустота, губы — с изумлением разглядел Жожо — подкрашены губпой помадой. Черный пиджак, пестрая рубашка, завязанный строгим узлом желтый галстук — и ничего, па вид ему совсем не жарко, будто сейчас п не лето. Что ж, так оно. значит, и

есть, ведь этот человек всемогущ — Алонзо — укротитель львов! Жожо сразу узнал эти утомленные, невидящие глаза, красные губы и гладкие черные волосы; он видел расклеенные по городу афиши и хорошо помнил все, что произошло вчера вечером. Толстяк был не то директор, не то импресарио — в общем, хозяин знаменитого Бродячего цирка братьев Кларк.

Жожо глядел на них во все глаза. И вдруг стекло в машине опустилось, и укротитель львов безвольным, томным движением протянул ему монету.

— Мальчик, — сказал он, — сбегай принеси нам кофе.

Жожо взял монету с белой, прохладной, как цветок, ладони и бросился к французскому кафе. До него донесся голос лысого:

— Это он должен нас ждать, а не мы его. Не понимаю!

Вчера на закате, когда среди облаков догорали последние кровавые отблески солнца и из бледной синевы начали проступать дрожащие и слабые, будто отраженные в воде огни, звезды, в городе увидели машину — эту самую, со скошенными фарами. Бог знает откуда она появилась, но за ней ехала вереница фургонов, и были они также старые и запыленные, тащились друг за другом так медленно и обреченно, что напомнили Жожо стадо покорно бредущих куда-то доисторических животных — он видел такую картинку в какой-то книжке. Он сразу понял, что это — знаменитый Бродячий цирк братьев Кларк, потому что город уже с неделю пестрел афишами. В их городе цирк не остановится, он едет дальше, об этом говорили взрослые, когда афиши только появились. Жожо вылез из своего тайника на дереве — у него их было несколько в разных местах, так что он мог наблюдать за всем, что происходит, а сам оставаться невидимым, — и побежал за цирком в горланящей толпе белых и негритянских ребятшек и дворняг, которые собрались сюда, казалось, со всего света. Эх, жалко, что он еще маленький и у него нет велосипеда, а то бы он помчался за процессией, не держась за руль, лихо ныряя прямо под колеса скрипящих, громыхающих фургонов и громко, пронзительно вскрикивая.

Цирк проехал через весь город. За последними домами караван свернул с дороги и остановился. Между фургонами забегал лысый, что-то кричал водителям, махал руками, суетился; а когда кто-нибудь высовывался из кабины и сверху спрашивал его о чем-нибудь, он только пожимал плечами. Жожо бродил среди машин, подлезал под них, приюхиваясь к удивительным, незнакомым запахам, за-

чарованно смотрел на людей, которые спрыгивали на землю и начинали потягиваться, разминать затекшие, негнущиеся ноги, равнодушно оглядывая лежащий рядом город и темнеющие поля. Лысый велел кому-то пустить воду из колонки — последней городской колонки, которую поставили на пустыре в надежде, что город займет и его, — и мужчины потянулись туда с ведрами. И тут-то появились шериф с начальником пожарной охраны. Они приехали в завывающих сиренами автомобилях, один — в черном, другой — в красном, вылезли из них у дороги, важно приблизились к колонке и принялись вдвоем орать на лысого, не обращая внимания на шум льющейся воды и свист и насмешки передающих ведра людей. Лысый тоже стал орать на них, махая руками и беспрестанно вытирая затылок. Когда Жожо подбежал к окружившим их плотным кольцом ребяташкам, крик утих и теперь они просто разговаривали.

— Нам нужно напоить животных, — говорил лысый. — Немного воды, больше мы ничего не просим.

— Сначала полагается получить разрешение, — твердил шериф. Он стоял, засунув руки за свой черный, поскрипывающий от натуги ремень с блестящими головками патронов, на котором висел — зависть и восхищение всех ребят — револьвер с перламутровой рукояткой в лакированной кобуре.

— Кто мог подумать, что вы пожалеете нам немного воды!

— Нужно разрешение, — сказал начальник пожарной охраны. — Без разрешения пользоваться водой нельзя.

— Надолго вы тут остановились? — спросил шериф.

— Нет, капитан, ненадолго, — ответил лысый. — Минут через десять уедем.

— Ну смотрите, не задерживайтесь.

Льющаяся из крана вода растекалась все дальше по земле, люди с ведрами скользили в размешанной грязи. Жожо отошел от них. Его не интересовали группы мужчин и женщин возле фургонов — среди них не было ни великанов, ни карликов, все были без костюмов. И он снова принялся бродить среди каравана машин, жадно ловя горьковатый запах сена и резкий, сильный запах животных; он слышал возле некоторых фургонов, как они ворочаются, дышат. Как же их увидеть? Неужели не удастся? Наверное, нет.

Огорченный, он залез под последний фургон и, прислонившись к огромному, выше его головы, колесу, стал

ждать — а вдруг все-таки произойдет что-нибудь необыкновенное, — и вдруг увидел Алонзо, укротителя львов. Тот подошел и остановился так близко, что Жожо мог дотронуться до него рукой. Он быстро спрятался за колесо. На Алонзо были рейтузы и свитер с глухим воротом, и он курил коротенькую сигару. Пахло кожаными сапогами, сигарой и еще чем-то приятным, словно бы розами или духами Сю. К укротителю подошла женщина в красной кофточке и красных брюках, таких узких, что они были прямо как кожа.

— Ты благоухаешь, как шлюха из французского борделя, — сказала она, сверкнув в сгущающейся темноте удивительно белыми зубами.

— Уж ты-то знаешь, как они благоухают.

— Ты что, не понимаешь шуток? Я же пошутила.

— О, у тебя потрясающее чувство юмора.

— Какая муха тебя укусила? И вообще, чего ты требуешь от своей жены? Чтобы она целыми днями любовалась тобой?

— А разве ты способна любоваться кем-то кроме себя?

— Послушал бы, что о тебе говорят люди.

— Пусть говорят. Что они обо мне знают?

— Скажите пожалуйста — непонятый герой!

— Я вижу, у тебя сегодня большой запас шуток.

— Я в первый раз в жизни встретила мужчину, к которому могла бы относиться с уважением, а он оказался грязным, неблагодарным подонком.

— Относиться с уважением? Кому оно нужно, уважение?

— Да ведь нельзя же любить человека, который тебя все время отталкивает!

— Знаешь ли ты, что такое любовь? И никто о ней ничего не знает. Это великая тайна.

Укротитель откашлялся и плюнул.

— Ну что ж, так мне, глупой, и надо.

— Ты все добиваешься правды. Пожалуйста, получай свою правду — ты мне бываешь противна. Так противна, что меня от одного твоего вида начинает тошнить.

Он швырнул сигару и быстро пошел от нее прочь вдоль ряда машин, скрипя сапогами и унося с собой нежный запах духов.

Женщина закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись. Когда она опустила руки, Жожо увидел, что она беззвучно плачет. Лицо ее показалось ему сейчас смазанным и размытым, словно оно было сделано из воска и слезы

растопили его. Она вся как будто сломалась, и он понял, что она гораздо старше, чем он решил сначала. Пахло от нее мылом. Впереди снова слышались громкие голоса; люди кричали что-то друг другу от фургона к фургону; начали реветь заводимые двигатели. Наверное, надо авлести из-под машины, подумал Жожо, и пусть она увидит, что он был тут все время, но не успел он сделать и шага, кик женщина вдруг резко выпрямилась, посмотрела направо, налево — будто собиралась переходить улицу — и бросилась к задним дверцам фургона. Загremела тяжелая цепь, скрипнули ржавые петли. Дверцы отворились.

В нос Жожо ударил незнакомый запах — запах зверя, хотя в нем был привкус полыни, сухой пыли и навоза, — и на землю мягко прыгнул лев, огромный, с могучей грудью и длинной, лохматой гривой. Он постоял возле машины, подняв голову и принюхиваясь, потом побежал по полю и скрылся в темноте. Женщина закрыла дверцы, долго возилась с цепью. Когда она прошла мимо Жожо, от нее резко и неприятно пахло потом, как от больного в жару, и она тяжело дышала. Машины зажгли фары, все одновременно, и тронулись. Жожо едва успел выскочить. Громadные колеса стерли следы его ног в пыли, и яркая цепочка огней помчалась по шоссе. Наконец темнота поглотила красные огоньки последней машины, и Жожо побежал по полю туда, где скрылся лев.

Когда Жожо вернулся с двумя бумажными стаканчиками горячего кофе, шериф уже был там. Его черная машина стояла чуть не поперек мостовой — он мог себе это позволить, — а сам он разговаривал на тротуаре с лысым и укротителем.

— Ну и что? — говорил шериф, засовывая руки за пояс и усмехаясь. — Что вы пытаетесь мне доказать?

— Господи, я же вам все вчера объяснил по телефону! — волновался лысый. — Его надо найти, я думал, вы соберете тут целую толпу народу к нашему приезду.

— Я тоже вам все вчера объяснил, — отвечал шериф. — Только вы, видно, плохо поняли.

— Спросите его! — Лысый указал на укротителя. — Послушайте, что он вам скажет.

Укротитель стоял рядом с ними но, казалось, был где-то за тысячу миль и не видел их. На нем были те же изумительные рейтузы, что и вчера, и блестящие сапоги, руки в желтых перчатках сжимали коротенький кнут. Вид у

него был измученный и совершенно безучастный; бледное лицо с сизыми бритыми щеками и покрашенными губами было похоже при ярком свете дня на лицо трупа. В общем, он был в точности такой, как его изображали на афишах, и, как па афишах, двухмерный. И от него опять слабо пахло чем-то приятным. Он стоял, сжимая за спиной свою плетку, и глядел мимо шерифа и лысого, мимо домов и деревьев, будто все они были из целлофана или будто он обладал волшебным даром делать вещи прозрачными.

— Чтобы я стал о чем-то спрашивать этого типа? — возмутился шериф. — Пусть у меня спачала язык отсохнет.

— Ну хорошо, хорошо! — замахал руками лысый. — Прошу вас всех, не надо горячиться. Давайте обдумаем все спокойно.

И он снова вытер платком свой блестящий череп, морщинистое лицо и шею. Его белая рубашка совершенно вымокла от пота и прилипла к телу. Грудь и плечи у него были широкие, мощные, а ножки коротенькие и тонкие; Жожо поразили его башмаки — крошечные желтые с черным детские туфельки. На своих хрупких пожках он был похож на воробья.

— Спасибо, мальчик, — сказал укротитель и взял у Жожо стаканчики с кофе и сдачу.

— Хотите? — Лысый протянул кофе шерифу. — Я сейчас не в состоянии сделать и глоток.

— Пейте сами, — отказался шериф, — я завтракал.

Пока лысый с укротителем пили кофе, шериф их разглядывал. Потом укротитель закурил маленькую сигару, а Жожо отнес стаканчики в урну.

— Ну, хорошо, давайте разберемся, — приступил к делу шериф. — Вы утверждаете, что вчера вечером, когда вы тут останавливались, у вас пропал лев. Вы подозреваете, что он убежал, но при каких обстоятельствах это произошло, вам неизвестно.

— Я догадываюсь, при каких, — сказал укротитель.

— Ну и догадывайтесь, сколько вам угодно, нас догадки не интересуют, — отрезал шериф.

— Ясно, — ответил укротитель. — Ясно.

— Джентльмены, прошу вас! — взывал лысый.

— Я только сказал «ясно», не так ли?

— Значит, вам нужно, — продолжал шериф, — чтобы я собрал людей и искал для вас этого самого льва.

— Это не только нам нужно, — ответил лысый. — Вы же не хотите, чтобы вокруг вашего города рыскали дикие звери?

Шериф усмехнулся.

— Я должен найти Короля! — сказал укротитель. — Дайте мне несколько человек — и я его найду.

— Это что же, у него такое имя — Король? — хихикнул шериф.

Укротитель стряхнул с сигары пепел.

— Логичное заключение. Я называю его «Король», стило быть, это его имя.

— Ну-ну, без дерзостей!

— Джентльмены, ради бога!

Лысый выжал носовой платок.

— Я продолжаю, — сказал шериф. — Может, вы своего льва действительно потеряли, а может, и нет. Я лично думаю, что нет, чепуха все это. Если вы придумали этот трюк для рекламы...

— Для рекламы?! Да господь с вами! — закричал лысый. — Он убежал, убежал, поверьте нам!

Укротитель молча усмехнулся, показав великолепные белые зубы.

— Повторяю, если вы придумали этот трюк для рекламы, я посажу вас обоих за решетку. Вчера вам было велено убираться отсюда подобру-поздорову. Вы что, думаете, я шуточки с вами шутил? Не нужны нам здесь балаганщики, попятно?.. Теперь давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Предположим, вы говорите правду. Тогда мне приходится сделать вывод, что вы плохо смотрите за своими зверями.

— Короля выпустила эта сука, — сказал укротитель. — Она его ненавидит.

— Это тоже противозаконно — выпускать на волю львов. За это вас тоже следует привлечь.

— Совершенно не представляю, как это случилось, — развел руками лысый. — У нас на фургонах стальные двери и цепи.

— Ладно, давайте сделаем так, — предложил шериф. — Сейчас появится мой помощник, и мы поедем поглядим, что и как.

— Его обязательно надо найти! — сказал лысый. — А вдруг мы его не найдем?

— Если он действительно здесь, — ухмыльнулся шериф, — придется нам открывать свой зоопарк.

— Короля вам в зоопарке не удержать, — ответил укротитель.

Пришел помощник шерифа. Шериф вынес из своей конторы ружье и моток веревки, а укротитель взял вместо

своей плетки длинный бич и пристегнул пояс с револьвером. Все четверо уселись в машину шерифа — он со своим помощником спереди, а циркачи сзади. Машина тронулась. Укротитель опустил стекло и кинул Жожо десятицентовую монету. Она со звоном покатилась по тротуару.

— Возьми, мальчик.

Жожо положил монетку в карман, обошел здание конторы и присел на корточках у кирпичной стены там, где начала ложиться тень. Да, трудно быть укротителем. Укротитель должен иметь призвание, как священник. Жожо закрыл глаза и стал представлять, как залитый ослепительным светом прожекторов Алонзо входит в клетку со львами и тиграми, а зрители, затаив дыхание, смотрят на него из темноты горящими глазами. И вот он стоит на арене в своем сверкающем костюме, и весь мир видит, что даже дикие звери покоряются человеку: он шелкнет бичом — и они начинают танцевать, или застывают неподвижно, как статуи, или прыгают через горящий обруч. Вот это да, вот это настоящее счастье! Все будут любить тебя и восхищаться тобой, потому что ты храбрый и сильный. Но только все равно тебе будет немножко грустно — ведь ты никогда не сможешь никому ничего рассказать. Разве такое расскажешь? Вот ты выходишь из этой страшной клетки, клапаясь, и все тебе хлопают, а потом кто-нибудь говорит: «Э, нет, тут без обмана не обошлось». Ясно, тебе все на свете опостылеет, и у тебя будут такие усталые, невидящие глаза.

Так мечтал в полудреме Жожо, сидя в тени и дожидаясь, когда они вернутся.

Часа через полтора в конце проснувшейся улицы показался автомобиль шерифа. Из правого переднего окошка торчало помощниково ружье. Машина медленно подъехала, и все четверо вылезли на тротуар.

— Чтобы через десять минут вашего духу здесь не было, — приказал шериф.

— Господин шериф, послушайте, — лысый прижал руки к груди, — вы должны предупредить людей...

— Да вы что, спятили? Хватит того, что мы ни свет ни заря разъезжаем по городу с заряженным ружьем, и так всех переполошили, — ответил помощник.

Шериф поглядел на часы.

— Время идет, — напомнил он.

— Да, да, — сказал лысый, — мы уезжаем.

Укротитель плюнул на тротуар.

— Берегитесь, — сказал он. — Король опасный зверь.

И вдруг заплакал, не обращая ни на кого внимания. Лысый взял его под руку и повел к машине со скошенными фарами.

— Подождите! — остановил их шериф. — Если мы его все таки найдем, что он ест?

— Мясо. Сырое мясо. — Укротитель всхлипнул, как ребенок.

Под громкий смех шерифа и его помощника старенький, разбитый автомобильчик развернулся и быстро покатил туда, откуда несколько часов назад приехал.

— Каковы мазурики, а? — сказал помощник.

— А знаешь, почему этот тип душится?

— Потому что он педераст?

— Нет. Потому что он негр. По виду он совсем как белый, но меня не проведешь. Я черномазых узнаю по запаху. У них волосы по-особому пахнут.

Они снова захохотали и стали подниматься по ступенькам в контору.

Вечером дома разразился скандал. Жожо ждал его. Уставшие после работы, все сидели в столовой, дожидаясь обеда. Стуча вилками по тарелкам, Рэймонд, Стоуни и отец кричали, будут их в конце концов сегодня кормить или нет? Мама с Далмацией тыркались по кухне — они днем пили виски, Жожо чувствовал это по запаху, — в поисках пропавшего мяса.

— Ну что же, ма! — возмущался Рэймонд. — Долго ты будешь морить нас? Мне некогда.

Мама подошла к двери, но в комнату входить не стала. Она прислонилась к косяку и сказала со странной улыбкой:

— У нас было мясо. Но только оно куда-то исчезло. Понимаете, было, а потом исчезло.

— Мясо исчезло?! — закричал Стоуни.

Мама медленно кивнула, по-прежнему улыбаясь.

— Силы небесные! — Папа вскочил из-за стола. — Ну хватит, ребята. Идем обедать в кафе.

Отшвырнув стулья, мужчины покидали об стену тарелки — тонкие белые фарфоровые тарелки, которые мама так любила, и мелкие осколки весело посыпались на пол, точно звенящий снег. Потом все трое выбежали из комнаты, хлопнув дверью, мама заплакала, а Далмация пришла из кухни и обняла ее за плечи. Жожо слез со стула и, стараясь не шуметь, поднялся наверх. Там было еще хуже.

Сью с ножницами в руках гонялась по всем комнатам за Марсией, они топали и визжали, как дикие лошади. На Сью была комбинация, на Марсии вообще ничего не было. Жожо остановился, и они закружились вокруг него, будто он столб или дерево. Наверное, дома никому не приходило в голову, что он тоже человек, ей-богу. Вдруг Жожо увидел, что из-под двери ванной медленно растекается лужа. Ванна перелилась через край. Он пробрался в ванную — дверь висела на одной петле, как сломанная рука, потому что Сью сорвала ее, — закрыл краны и вынул пробку. Марсия и Сью наконец устали бегать и теперь стояли, тяжело дыша и с ненавистью глядя друг на друга.

— Ах ты гадина! — говорила Сью. — Еще смеет при-
творяться!

— Да я их в глаза не видела, честное сло...

— В кои-то веки у меня свидание в середине недели, а ты? Ты украла у меня духи, потому что лопаешься от зависти!

— Ха! Нужны мне твои вонючие духи! И не изображай из себя святую, голубушка. Где моя новая губная помада, а?

— Понятия не имею.

Они несколько секунд смотрели друг другу в глаза, потом Сью размахнулась и ударила Марсию по щеке, Марсия, не моргнув глазом, дала ей сдачи, Сью уронила ножницы, с громким плачем кинулась в свою комнату и так хлопнула дверью, что задрожал весь дом. Марсия хихикнула, повернулась на пятке и вошла в ванную.

— А, это ты, малявка, — сказала она. — Закрой дверь с той стороны. Я хочу принять ванну.

Жожо на цыпочках прошел к себе в комнату, запер дверь и лег на кровать. Закрыв глаза, он стал ждать ночи.

Когда стало совсем темно, ярко разгорелись звезды и воздух наполнился таинственными ночными запахами и громким треском цикад, Жожо встал. Порывшись в шкафу среди своих грязных вещей, он нашел костюм офицера королевской конной полиции Канады, который остался от рождественского маскарада. Костюм был ему тесноват, но он все равно влез в него, хотя застегнуть красный мундир на все пуговицы не удалось. Потом он вытащил из-под матраса сверток, кинул его за окно и вскочил на подоконник. Несколько секунд Жожо вглядывался в темноту — он столько раз совершал этот спуск, но ночью ветку было трудно разглядеть, и у него всегда холодило внутри — а вдруг он промахнется? Пригнувшись, он прыгнул в пусто-

ту. Руки поймали шершавый сук, он повис, оглушенный стуком своего сердца. Потом, отдышавшись, спустился на землю и подобрал сверток.

На самой окраине города стоял старый трехэтажный дом. Когда-то он принадлежал директору банка, но в тридцатом году, во время кризиса, банкир застрелился, и с тех пор в доме жила совершенно одна седая полусумасшедшая старуха — его вдова. Под тяжестью ее горя и одиночества дом словно пригнулся к земле. Парадное крыльцо было завалено хламом, на газоне высились кучи рваных башмаков и зонтиков, сломанных игрушек, проколотых шин и покрышек, пожелтевших газет и журналов, просто мусора — только эти вещи и интересовали сейчас старуху. Она выходила ночью из своего темного, без единого огня дома и начинала бродить по улицам с красной детской коляской, роясь в урнах, в помойках и на свалках, пока коляска не наполнялась до самого верха сломанными, разбитыми, искалеченными вещами, которые отслужили свой век, и теперь их выбросили за ненадобностью. Никто не понимал, зачем она это делает. Впрочем, ее не трогали — в конце концов ее муж был когда-то уважаемым человеком в городе, пусть она собирает хлам, если ей хочется, ведь вреда от нее никому нет.

Жоjo обошел дом и стал пробираться между горами хлама в саду. Вонь стояла ужасающая. Соседи на нее не жаловались — рядом со старухой никто не жил, — зато собачья она привлекала сюда со всего города. В дальнем углу сада возле забора приткнулся полуразвалившийся сарай; в былые дни там помещалась конюшня. Возле сарая Жоjo остановился, намазал губы помадой Марсии и надушился духами Сю, потом отодвинул задвижку и проскользнул в заскрипевшую дверь. В сарае было темно и душно, но он по запаху почувствовал, что лев здесь. Слава богу, ведь его мог кто-нибудь найти, хотя бы та же старуха.

И тут он увидел в темноте глаза. Они светились изнутри нелепым огнем, как драгоценные камни. Жоjo вынул из свертка кусок мяса и, держа его в вытянутой руке, медленно пошел навстречу горящим глазам.

Владимир Михал

Под градом ножей

Господа, был у нас один удивительный, необычайный, изысканный номер. Американцы, привычные ко всякого рода экстравагантностям, не очень-то интересуются номерами, в которых нет риска или опасности для жизни.

Гала-номер может обеспечить успех всего турне, но может так все испортить, что потом уж дела не поправишь. Наша труппа показывала в Америке несколько первоклассных номеров, и в одном из них под именем Джон Мороус выступал мой брат Пепа, хотя мы испокон века были Мороусовы.

Я играл в оркестре на скрипке, а брат метал ножи в свою партнершу Руженку Павкову из Прахатиц. Вряд ли вы ее знаете. В цирке она была известна под экзотическим именем Розалии Пав. Брат всаживал ножи вокруг нее так, что только звон стоял! Не по мне было это зрелище, я всегда отворачивался; и, только слышав заключительные фанфары, понимал, что все обошлось.

Красавица Руженка стоит как принцесса с распущенными по плечам волосами, а напротив нее брат, словно Вильгельм Телль или гордый «тореадор, смелее в бой...», и — бац, бац — ножи так и свистят в воздухе, вонзаясь вокруг Руженки, чудом не пришпиливая ее кожу к доске.

Последний нож брат кидал с завязанными глазами и всаживал его прямо над ее головой. Я никак не мог понять, откуда у него столько хладнокровия. Правда, Мороусы не трусы, но чтобы каждый вечер бросать ножи, да еще в такую красавицу, надо иметь особый характер, и, видимо, брат им обладал.

Вы только представьте себе! Завязывают ему глаза, барабаны выбивают дробь — тра-та-та, — брат кланяется, бе-

рет нож, взвешивает его в руке, словно закликает, подносит к губам, и лицо его становится непроницаемым, как маска. Он сосредоточивается, в цирке тишина, словно там никаких зрителей и нет. А у них просто дух захватывает, и им так же страшно, как и мне.

Джон широко расставляет ноги... и — хлоп! Нож сверкает и воздухе... — бац! — и вонзается в дерево на глубину пальца, в двух сантиметрах над головой Руженки. Бррр! Ну и везло же им! Сколько раз я уговаривал Руженку бросить это дело, пока не случилось беды. Просил брата не кидать ножа над ее головой, уж лучше метать в подброшенное яблоко. Пепа лишь усмехался, а однажды сказал:

— Пойми, Арношт, с этим можно выступать только на ярмарке в Прахатицах, а не по свету разъезжать. На всем земном шаре только четыре человека умеют это делать. А у зрителей выступает гусиная кожа. За гусиную кожу они и платят. Хотят страх испытать. За несколько геллеров, что они отдают у входа, хотят, чтобы их поугадили. Польше об этом ни слова. Ты думаешь, я бросаю ножи в Руженку ради удовольствия? Когда беру последний нож, у меня сердце к горлу подступает и нервы натягиваются, как струна. А тут еще ты со своими уговорами. Я ведь тоже человек.

Он ушел очень мрачный и подавленный.

Больше я об этом не заговаривал. Приехали мы в Балтимору со своим гала-спектаклем. Вывесили афиши, на которых среди блестящих ножей красовалась Ружена больше чем в натуральную величину. Это был самый рискованный номер. Розалия Пав была ослепительна, как солнце, волосы ее сияли, словно лучи. Короче, — неотразима.

Однажды брат, как всегда, метал в нее ножи, только перестук шел. И вот остался последний нож. Я уже машинально отвернулся, барабаны затрещали, но вдруг из публики раздался женский крик: «Стоп!»

Такого еще не бывало. Все повернулись на голос. Я подумал, что у какой-нибудь американской дамочки, прошу прощения, нервы не выдержали. Но в первой ложе поднялась с места удивительно красивая женщина, грациозно перескочила через барьер манежа и сорвала платок с глаз Джона. Мы не сомневались, что она из американской Армии спасения либо из какого-нибудь общества защиты женщин — вы же знаете, что у них там полно всяких ихних ку-клукс-кланов. Нравы в Америке этой всякие.

Однако дама подала Джону его самый тяжелый нож, подошла к Ружене и за руку вывела ее из окружения бле-

стоящих лезвий. Затем сама заняла ее место и среди гробовой тишины громко сказала: «О'кэй, Джонни!» — бросай, мол, в меня этот нож, только с открытыми глазами.

Мы все смотрели на них, вытаращив глаза. Это, я вам скажу, было зрелище! Пепа трижды поднимал руку и трижды опускал.

Красотка была чуть выше Ружены, голова ее как раз кончалась на линии, куда обычно вонзался последний нож.

Пепа понимал, что должен бросить нож, иначе сорвет гала-представление, и завтра об этом раструбят все газеты. Я издали видел, как он покрылся потом, он, лицо которого всегда было словно маска. Видно, душа у него в пятки ушла.

Джон вновь поцеловал нож, вытянул руку и... но тут к нему подскочила Ружена, выхватила нож, оттолкнула его, отставила ногу и — бац! Нож просвистел в воздухе... — дзинь! — и со звоном закачался над головой красотки. Еще секунду стояла гробовая тишина. А потом поднялся такой содом, что шапито только чудом не обрушилось.

Да, господа! Вот это был номер! Такого турне у меня больше в жизни не было. Билеты брали с боя, и Ружене приходилось метать последний нож в Джона.

Надо сказать, каждый вечер после представления у нашего Пены нервы сдавали.

Ружена осталась в Америке. Она вышла замуж за порохового короля, который, увидя Розалию на афише, больше чем в натуральную величину, сразу без памяти в нее влюбился.

Вспоминая о ней, ребята говорили:

— Если только Ружене вздумается бросить нож в своего порохового короля, тут ему и крышка!

Владимир Михал

Кобыла на трапеции

Из музыкантов мы перешли в клоуны. Вся семья. Только моя жена не малевала себе огромного белого рта и не надевала бумажный нос. А все остальные обзавелись клоунским гардеробом — штаны словно два лодочных мешка, фраки с пятьюдесятью фалдами и потайными карманами и ботинки как огромные хлопушки для мух.

Стоило нам накрасться белой краской, как дядя тут же говорил:

— Вот теперь вы при полном параде, с такой рожей можно людей смешить, только держитесь серьезно — так смешнее.

Раскраситься, как индеец перед битвой, особого труда не составляло, а вот отмыться было не так-то просто. Каждый день от красной краски щеки у нас походили на райские яблочки, и приходилось изрядно попотеть, чтобы эту краску смыть.

— Но такова жизнь! Каждому свое! Мы выходили накрашенные как чучела, пинали друг друга, а люди от восторга хлопали себя по коленям — есть, дескать, на свете и похлеще дураки, чем мы.

Однажды, когда мой отец понял, что его остроты всюду приелись и уже не смешно, когда дяди падают один через другого и пинают друг друга по заду гигантскими ботинками, его осенила блестящая идея: «Высшая школа верховой езды клоунов на клоунской кобыле». И с тех пор эту кобылу изображал я со своим братом.

Боже милостивый, это легко сказать, а бегать вокруг манежа в мешке связанным, как арестант, да еще при этом вся клоунская семья лупит тебя по спине — уф! — это была, скажу я вам, настоящая каторга. Пот лил с нас градом,

и ноги еле двигались. А отец, заслышав аплодисменты, входил в такой раж, что еще поддавал нам, а мы уже были при последнем издыхании. А сказать ему об этом не смели, чтобы не обидеть его кровно: он не сомневался, что это была его самая остроумная идея. Старик чувствовал облегчение; его остроты уже не играли главной роли в нашем выступлении. Он воспрянул на старости лет; ему уже не приходилось извергать фонтан несусветной чуши: пан Иоанн, позвольте вам сказать... и т. д. и т. п. — и продолжать трещать без умолку — загорись шапито, он и то не заметил бы — или отпускать довольно щекотливые остроты о том, как однажды неистовый атеист напустил на нашего священника жаждущих телят...

Теперь он больше двигался, и, честное слово, это было куда смешнее. Клоуны разбегались, пытаясь вскочить на мчавшуюся кобылу — на меня с братом, — но неудачно; то перелетая через нее, то падая в опилки мордой. Знаю, знаю, нынче к клоунам предъявляют другие требования, но Чаплин тоже начинал с того, что кидал торты с кремом в лицо партнеру — и какой был успех! Кстати, следует отметить, что это были отнюдь не худшие номера, и зрители от души веселились.

Однажды — мы ездили по свету с полотняной кобылой уже более двух лет — мне в штанину залезла оса. Милые мои! Я смирный, как ягненок, но с осой в подштанниках, посочувствуйте, люди добрые, выступать не привык. Дала мне жару эта бестия! Я находился позади и держал брата за бока. Так мы изображали лошадь. И вдруг в своей полотняной темнице я заорал словно сумасшедший, стал брыкаться, как стадо мустангов, гонять брата вокруг манежа; я падал с ним в опилки, пытаясь просунуть руку в штанину и раздавить проклятую осу. Но она уже так нажала мне задницу, что та огнем горела. Брат, ни о чем не подозревая, мчался вперед и тянул меня за собой, а я позади него корчился от боли и орал, а зрители животы надрывали от смеха, аплодировали, кричали, хохотали до упаду. А я, продолжая бороться за жизнь свою с этой чертовой осой, ничего не замечал.

Наконец я раздавил ее, да слишком поздно. Я сдвинул переднюю часть кобылы обеими руками, раскрыл своего брата, и мы убежали с манежа, а за кулисами я вылетел из мешка и опустил искусанную часть тела в кадку с водой для лошадей.

Сиюю я так, с глазами, полными слез, держу штаны в руках, и тут ко мне подходит вся наша семья, словно ино-

странная делегация, и мой отец, главный клоун, снял бумажный нос и произнес растроганно:

— Пепе, балбес, это был экстра-номер! Я всегда считал тебя дураком, но, гляди, какой ты мировой номер отколол. Публика от восторга едва не разнесла шапито. Надень штаны и беги кланяться, пусть посмотрят, как выглядит задняя часть замечательной кобылы. Поцелуй меня, оболтус, а если тебя прохватил понос, не беспокойся, поклонись, и успеешь прибежать назад.

И только тогда я сообразил, что и впрямь получилась отличная шутка: кобыла стала частями проваливаться, выкручиваться и распадаться на две половины, каждая из которых тянула в свою сторону, а к тому же мы с братом орали иод мешковиной; вернее, орал я, а он с перепугу от меня удирал. Брат признался, что струсил, считая, что я рехнулся и что в этом мешке нам придет конец.

С того вечера отец выделял меня из всей семьи и с гордостью говорил, что это он воспитал меня, что я не подвел его, что наконец он вознагражден за труд, потраченный на этого олуха. А я, разумеется, не признался, что моей заслуги тут не было, что все сотворила оса в моих штанах.

Директор цирка сразу заказал новую афишу — «Коронный номер. Шальная лошадь! Представление, насмешившее всю Европу!»

Отец отправился в дирекцию и заявил:

— Если всю Европу, так это стоит денег!

И нам тут же повысили плату.

Однако у меня было смутное чувство, что без осы номер с двойной кобылой проходит без блеска, мне не удавалось так естественно брыкаться. Увы, в моем исполнении не было искры, вспыхнувшей благодаря жалу осы.

Но это не стало вершиной карьеры нашей клоунской кобылы. Карьера ее продолжалась еще лет пять. За это время мы со своим номером исколесили почти всю Европу и доехали до Царьграда. Мы с братом предвкушали встречу с турецкими баядерками и мечтали о гареме, где на танцовщицах накинута только прозрачная покрывала, а на животе блестит золотой пояс с бриллиантами.

Но отец не спускал с нас глаз, и мы должны были как следует потрудиться в кобыльем одеянии, прежде чем отправиться на поиски какого-либо сладкого турецкого таинства.

Однако при первом же представлении в Царьграде случилась неприятность. Перед нами выступал укротитель медведей. Был у него старый косматый Пепик. Ветеран

цирка. Ветерану уже и намордника не надевали — зубов у него мало осталось. Ему натягивали кожаные рукавицы на лапы, чтобы он мог бороться с добровольцами из публики. А так как желающих среди зрителей не оказалось, то против медведя вышел наш цирковой плотник, который сидел наготове за ширмой, и дал медведю положить себя на лопатки. Все шло гладко, как говорится, без сучка и задоринки, не считая того, что медведь не пожелал уйти с манежа. Мы с братом уже бежали в луче прожектора, скакали в кобыльем мешке туда и сюда, били ногами, а медведь стоял как вкопанный, и укротитель тщетно тянул его за цепь, уговаривая пойти с ним. Топтыгин глядел на нас как зачарованный и не двигался с места. Вдруг брат остановился и громко сказал мне:

— Пене, медведь нас за лошадь принял, сейчас оп на нас пойдет!

И впрямь этот смирнейший добряк, который от лени вряд ли когда потерял шкурку о столбик, вдруг рванулся из рук укротителя, так что тот с ног свалился и — рррррр — бросился на нас! Брат завопил, подпрыгнул и рванулся к большому столбу. А руки-то у него в мешке, и никак он не мог за столб ухватиться. Но от страха, что четвероногий олух сожрет нас на ужин, мы каким-то чудом полезли по столбу. Это, скажу вам, было зрелище! Представьте себе, как полотняная кобыла, составленная из двух испуганных циркачей, лезет на самый верх шапито. Однако медведь лазит лучше человека. И наш космач Пепик полез за нами. Зрители считали, что все идет по программе, гикали и хохотали, аплодировали и кричали, а из нас почти дух вон. Медведь лез за нами по пятам — едва меня за ногу не ухватил. Тут братец заорал: «Держись крепче за мой пояс!» Я вцепился в него как клещ, а брат — гоп! — и вскочил на висевшую трапецию. Как он за нее ухватился, как мы висели и как все выглядело — до сих пор в толк не возьму. То было зрелище на диво! Сломанная кобыла на трапедии! Такого еще никогда не видавали!

Я висел под братом на подтяжках, а он кричал, что не удержится, что мы сорвемся и костей не соберем. Но тут нас начали потихоньку спускать, а люди от хохота едва с лавок не попадали. Однако медведь слез первым и подждал нас внизу; пришлось трапецию с нами подтянуть немного вверх. Мы оба от боли стонали. Еще минута — и мы бы сверзлись. Но тут прибежал укротитель с горящим факелом, и, когда он почти всунул его в пасть своему строп-

тивому питомцу, тот опомнился и покорно пошел в клетку. Когда нас спускали вниз, полумертвых от потери сил, мы все же слетели с нескольких метров и очнулись только в царьградской больнице.

Так что в тот раз в гарем мы не попали, но в больнице за нами ухаживала очаровательная сестра, и ее ласки вполне замилили мне нежность всех баядерок.

Мало-помалу пришел конец нашей клоунской кобыле. Одним словом, она дожила до преклонных лет, и ее надо было чом-то заменить.

Теперь у нас клоунский мотоцикл. Но это уже другая история.

Владимир Михал

Безмолвный кларнет

Полда Микеш мчался в фургон капельмейстера Юркала. Споткнувшись впопыхах о ступеньку, он так растянулся в своей роскошной голубой униформе на полу фургона, что на столике посуда зазвенела.

— Инструмент пропал, — выпалил Полда, перепуганный, как загнанный заяц.

Юркал вынул свои огромные карманные часы, которые могли украсить любую башню, и никто не усомнился бы, что они начнут отбивать время звоном колокольным, взглянул на них и ответил:

— Через пятнадцать минут сбор.

— Но у меня нет кларнета, — завопил Полда Микеш.

— Через пятнадцать минут сбор, — строго повторил Юркал, ибо в деловых отношениях для него и брат был не брат. А Полда братом ему не приходился. Впрочем, подобных проделок во время гастролей хватало с избытком, и капельмейстера отнюдь не взволновал случай Полды Микеша.

Полда помчался назад, в фургон музыкантов. Он уже который раз открыл черный футляр. На него взидала пустота, а голубая бархатная, изрядно потрепанная подкладка словно глумилась над ним. Бедняга перерыл свой армейский чемоданчик, сбросил с нар соломенный тюфяк, распорол его сбоку по шву и с трогательной безнадежностью запустил в него обе руки почти по плечи. Опутившись на колени, он пошарил в соломе, затем вскочил и стал топтаться на тюфяке, но, сообразив, что ботинками можно раздавить кларнет, разулся и в носках исполнил на тюфяке воинственный танец. В голубой униформе с серебряными эполетами он был неотразим. Полда стащил матрац

соседа и продолжил на нем свой танец, затем побросал на пол остальные тюфяки. Солома хрустела и шипела под его ступнями. А кларнета нет как нет. Он станцевал на матрасах своих товарищей чардаш, кадрили, беседу, гавот, мазурку и характернейший бенгальский танец, который ошеломил бы даже самого неистового дервиша или вождя индийского племени. К счастью, его соседи не видели весь этот кавардак. В их чемоданы Полда заглянуть не мог — они были заперты на замок. Несчастный кларнетист то сидел на корточках, то вставал и уже три раза отодвигал и придвигал стол. Кларнет как в землю провалился.

Минуты летели, срок сбора неумолимо приближался.

Полда, в отчаянии, еще раз открыл шкаф и стал как попало швырять в кучу пиджаки и куртки, не щадя и парадную одежду. И вдруг к его ногам упал старый дамский зонтик, бог весть как попавший в шкаф музыкантов.

Полду тут же осенила спасительная идея. Несколько движениями он отвинтил ручку зонта, связал растрепанный шелк шнуром, уложил изуродованную вещь в бархатную колыбельку черного футляра и захлопнул крышку. Затем он поспешно смахнул с рукавов солому, на всякий случай провел рукой по волосам — не застрял ли в них какой-нибудь колосок, обулся и выбежал из фургона.

Музыканты ждали. Время сбора давно прошло. Полда тут же присоединился к ним, а Юркал, который как раз опускал в карман часы, бросил на него строгий взгляд.

Что ж, катастрофу на несколько минут удалось оттянуть, однако Полда с ужасом думал о том, что будет дальше. От страха у него свело живот, и выглядел он, как самый печальный Пьеро на свете.

Музыканты поднялись на свой высокий балкон над главным входом на манеж.

Полда шел шагом осужденного, который, еле передвигая ноги по ступенькам виселицы, входит прямо в царство небесное намного раньше, чем положено.

Он сел на свое место, но, разумеется, охоты открывать футляр у него не было. Остальные музыканты уже вынули свои инструменты, кларнет-а-пистон освободился от черного чехла, подали голос скрипки, забурчал контрабас, только незадачливый кларнетист сидел неподвижно, устремив отчаянный взор в пустоту. Капельмейстер Юркал скользнул по нему взглядом, и Полда поднял свой футляр. Со словами: «Пронеси господи!» — он открыл крышку и вынул... зонтик.

Его ближайший сосед Войта, играющий на корнета-пистоне, вытарашил на него глаза, а Полда только прошипел:

— Не глазей на меня, а то заметит!

Войта, совершенно зачарованный увиденным, устоял перед собой, но взгляд его то и дело возвращался к зонту.

Юркал взглянул на ярко освещенный манеж. Директор, издали махнув рукой, подал знак, что пора начинать. Капельмейстер постучал смычком по пульта, все подняли инструменты, и Полда всунул в рот конец зонта. Войта, ошарашенный до последней степени, не мог отвести взора от сего предмета. Даже живая кобра вряд ли могла так завожить его.

Тем временем Полда сосал грязный конец зонта с такой самоотверженностью, с какой, можем вас уверить, никогда не смаковал даже леденец на храмовом празднике. Пальцы его скользили по черному шелку, словно нажимали клапаны, он втянул голову в плечи, укрывая свой новый музыкальный инструмент за пультом.

Играли? Да, играли! Однако Юркал был капельмейстер и слух имел капельмейстерский. Он сразу уловил безмолвие кларнета. Но из-за пульта виднелся только лоб кларнетиста. Юркал встал на цыпочки и вновь метнул свой строгий взгляд на Полду. Однако тот при всем желании не мог сделать больше того, что делал. Зонтик просто молчал, а музыкант все ниже опускал голову за пульт.

Зал быстро наполнялся, и Полда переживал мучительнейшие минуты. И, вдруг решившись, он положил зонтик на пол, поднялся и... запел. Музыканты ахнули от удивления и чуть было не перестали играть.

Только капельмейстер Юркал сохранил присутствие духа. Он смотрел как сатана, ел глазами Полду и заиграл на скрипке громче, чтобы дать возможность оркестрантам прийти в себя. Оркестр продолжал играть, а Полда — петь. Его голос разносился вокруг, поднимался под купол цирка и звучал в каждом углу шапито. С каждой песней певец обретал уверенность, и его пение казалось уже вполне уместным в этой обстановке. Больше того, музыкант пел хорошо, голос у него был отличный.

Наконец оркестр смолк.

Полде казалось, что он пел двадцать четыре часа. Юркал отложил скрипку и двинулся было к кларнетисту, чтобы объясниться с ним, но тут снизу прозвучал рожок, извещавший о начале номера, и оркестр немедленно заиграл

галопа. На манеж выбегали лошади. Теперь Полда уже не решался петь — лошади с непривычки могли напугаться. Он сидел растерянный, но вдруг сунул руку в карман, вынул гребенку, обернул ее бумагой и стал подыгрывать оркестру. Немного спустя на ступеньках показалась голова клоуна Фридолини. Он протягивал снизу кларнет. Полда с блаженным выражением на лице схватил свой инструмент. Оказалось, злополучный кларнет утащил сынишка клоуна. Полда только рукой махнул. Он стиснул кларнет, сунул его в рот и заиграл так, как никогда в жизни не играл.

В антракте, когда Юркал отчитывал Полду, к ним поднялся директор цирка. Он взял Полду за локоть и сказал: — Гуд, Микеш, гуд! Умей хорошо петь. Антракт можно опять пой. Но на представлении лучше играть.

Полда воспрянул духом, а капельмейстер больше не сказал ему ни слова.

На этот раз все обошлось, и Полда стал известным и, по-видимому, единственным певцом в цирковом оркестре.

А зонт он хранил как талисман и даже привез его домой на память.

Владимир Михал

Индус и его змеиная семейка

Противнее змей, скажу вам, для меня ничего на свете нет. Хотя они и разные — то питон с головой, как средневековый башмак, то кобра, у которой башка плоская, словно раздавленная, — для меня все одно: змея, только и жди, что она вас так цапнет, что потом целый штаб докторов не поможет. А знаете, кстати, что, чем змея меньше, тем опаснее? Наш младший в школе учил пословицу: «маленькая, мол, змейка громче шипит» или еще что-то в этом роде. Я это к тому, что черт с ней, что шипит, пусть себе шипит. А то ведь и кусает. Кусанет раз-два — и ваших нет. Конец вам.

Одним словом, не выношу я змей. И надо же, именно со мной такое приключилось. Бывает же! Как вспомню, мороз по коже. Бррр...

Было это в цирке Гагенбека. Все шло, по-русски говоря, «харашо», а по-американски «ол-райт»; играли мы в оркестре не хуже Филадельфийского симфонического, налево тоже можно было подработать; в общем, жаловаться грех. Да, к чему это я? Ах да, рядом с нами — в соседнем фургоне — жил факир.

Злейшему врагу не пожелаю такого соседа. Черт с ним, что на ужин он съедал пару битых бутылок, черт с ним, что бритвы глотал, не моргнув глазом, черт с ним, что в глотку себе засовывал меч Петра Великого да все это запивал миской горящего бензина. Тут все дело понятное, чистый факт. До этого мне никакого дела. И плевать мне, что спал он па гвоздях. Как-то раз, помню, специально, чтобы нас повеселить, проглотил мою бритву, понятно, раскрытую, а потом назад отдал. Верите, я ею после того даже бриться не мог, до того мне противно стало. Но во-

обще-то я все его штучки сносил терпеливо, можно сказать, героически.

Но беда была в том, что он, подлец, факир этот, держал в фургоне весь свой зверинец. Удава, правда, того в клетку запирали. И то сказать: удав у него был не хуже локхесского чудовища. Удаву он воли не давал, тут ничего не скажу, зато змей помельче в его комнате была тысяча, ей-богу, не меньше. Накажи меня Будда, если вру, — змеи у него копошились на полу, как пиявки в пруду. А уж он с этой дрянью нянчился и миловался, только что не целовал, а трясся над ними, и не дай бог на этих змей косо посмотреть. Спаси, господи, мою душу! Я все-таки европеец, притом из деревни из-под Сушиц, знаете, на Шума-ве? Что такое гадюка, понять могу. Как, бывало, в наших краях этакого гада ползучего увижу, сразу хватить его камнем, чтоб мокрое место от него осталось.

А наш факир этой всей сволочи давал по себе лазить: и по лицу-то они ему ползают, и с ушей свисают, и вокруг шеи обвиваются, и на руках, как браслеты, и между пальцев на ногах переплетаются... А уж на кровати их, а стол так ими и кишит, тарелки не видно. Попробуй-ка Расскажи кому в наших местах, иного, знаете ли, и стошнит.

И еще стояли у этого факира всюду корзинки — черт их разберет, которая со змеями, а в которую он грязное белье складывает.

Ну а так-то парень он был «харашо-ол-райт». Если правда, что молчание золото, то быть ему миллионером.

Мы его называли Индусом. Факиром звать, знаете, как-то невежливо. У нас так не принято. Ну, к примеру, меня же называют не «контрабасистом», а Франтой — и красиво и прилично. А его мы, значит, называли Индусом, и он к этому привык. Вроде бы ему это имя даже нравилось, хотя черта лысого у него поймешь, вечно он ходил с таким видом, будто только что изобрел земной шар. У него не поймешь, когда злится, когда радуется. Ровно держался все время. И то сказать: чтобы жевать осколки и сабли да горящим бензином запивать, тут, знаете, какой характер нужен?

Да, значит, сижу я как-то на приступочке, на солнышке пригрелся, а тут наш сосед свое змеиное гнездо открывает. И тут, знаете, на порог полезла вся нечисть. Бррр, твари скользкие! Через минуту их там была целая куча. Я чуть сознание не потерял. Но держусь, молчу.

Однако когда вся эта компания полезла дальше и поползла по лестнице, тут уж я не выдержал.

— Индус, говорю, ты тут?

Он, значит, высунулся: чего, моя, надо?

— Присмотрел бы за своим сокровищем! Шныряет ведь повсюду. Того и гляди, под одеяло заберется. Загони ты их назад в курятник, дай человеку покурить спокойно!

Он, значит, только головой закивал. Сообразил, хоть по-нашему и не понимал ни шиша, и давай своих гадов по траве собирать, словно улиток каких, а потом у себя дома еще на дудочке заиграл что-то очень жалостное, чтоб они, значит, не слишком огорчались.

У всех, скажу вам, свой вкус, но со мной что ни делай, не могу змей терпеть.

И надо же, чтоб аккурат со мной такое случилось! Как-то тоже, значит, после обеда выхожу я из фургона — и что я вижу? Наш факир на коленях шастает в траве, лезет под свой фургончик, время от времени тихонько свистит и все ищет, ищет чего-то. И никак не может найти. Потом начал возиться под нашим фургоном — тут уж нам стало не по себе.

— Эй, Индус, у тебя, часом, не бестии твои разбежались? — спрашиваю.

Он головой кивает. Ну, господа хорошие, это уж маленько чересчур.

— Рожа твоя эфиопская, сколько у тебя их по описи не хватает? — заорал на него Пепик Подлага, тоже наш парень, оркестрант.

А Индус, значит, так скромненько палеп показывает — одна, мол, единственная змейка. И чтоб нам понятно было, что за змейка, берет у меня из рук ботинок (только я ботинки чистить собрался), вытягивает оттуда шнурок: та-кая, мол, даже еще короче, — и всего одна.

— Слушай, Индус, а ведь тут не до шуток, — я опять говорю.

Он, значит, головой вертит, мол, пет, не до шуток. Тут опять Пепик влез:

— Ядовитая она, поганка эта?

А Индус, значит, огорченно кивает, да, мол, ядовитая.

— Сильно ядовитая? — кричит Пепик.

Факир на нас смотрит и тихо говорит:

— Зильно ядофитый — и змерть. Зильно ядофитый, зильно. Хороший, хороший, но наступить — и кусать. Атансьон! Зильно ядофитый.

Можете себе представить, как мы обрадовались! Люди добрые, да мы свой фургон скребли, как перед свадьбой. Все вверх дном перевернули, вечером к постелям подойти

боялись. Крышка нам, да ж все тут; этакая гадина в доме, да где же это видано! Вообще я этих змей недолюбиваю.

Что бы мы ни делали, а этого паскудника сопливого так и не нашли, а факир все ищет, ищет, лазает на четвереньках в траве. Пепик еще, помню, ругался: давно, мол, надо было выкурить к чертям собачьим всю эту бражку; пахнет от нее нечистой силой. И вообще нам всем топшовато стало.

Но прошел день, другой, третий; ничего не случилось, и мы постепенно начали успокаиваться.

Пока однажды...

...В антракте поставил я контрабас в угол, а сам побегал в буфет пива выпить. Дело минутное, тут же назад вернулся. Хочу, значит, контрабас в руки взять, и... Не спрашивайте, что увидел... Из отверстия в инструменте лезет маленький, коричневый живой шнурок от ботинок. Лезет, тварь такая!

Я как заору, пальцем показываю — ребята увидели и обомлели.

В миг мы все оказались в противоположном углу, и я завопил, чтобы позвали факира, чтоб он немедленно бежал к нам вверх. Он и вправду влетел, как черт на веревочке. Сел на корточки и начал тихонько насвистывать. А шнурочек этот замер, поднял головку и полез по струнам вниз, покорный такой, как овечка. Бррр. Для меня это уже слишком.

Но если бы на этом дело кончилось! Ох, господа хорошие, до конца было еще далеко. Индус продолжал свистеть, а в отверстии появился следующий «живой шнурок», маленький-маленький, и немедленно пополз за первым.

Мы все сгрудились в углу, а директор цирка внизу криком изошел, поскольку антракт кончился и непонятно, чего мы тянем. Знать бы ему, что у нас творилось!

Индус все свистит и свистит, а из контрабаса выползает следующий ядовитый «шнурок». Потом еще один, а за ним еще несколько таких же. Глаза б мои не глядели! Вся эта компания выстроилась перед факиром, как детишки в детском садике, а потом вытянулись как на параде, только что не зашипели факирский национальный гимн.

Тут наш Индус одним махом сгреб их всех в коробку, и на том спектакль кончился.

Пора было играть, а я не мог заставить себя прикоснуться к контрабасу. Руки вспотели, тряслись и совсем меня не слушались. Прямо как после удара, ей-богу. Хватаю я тут факира за рукав и кричу ему хриплым голосом:

— Эй, Индус, проверь инструмент по-человечески! Если там хоть какая тварь осталась, я об тебя контрабас обломаю!

Факир, чтобы меня успокоить, еще пару минут свистел прямо в контрабас, а потом спокойно кивнул, больше, мол, ничего не высвистишь.

Так ли, не так ли — не знаю, а еще несколько дней я не мог прийти в себя. До сих пор вспоминать неохота, как в моем контрабасе устроилась ядовитая семейка. Бывает же такое! Да, вот что случилось со мной в цирке Гагенбека, где в остальном все шло «харашо-ол-райт».

Прости меня, боже, а только змей я люто ненавижу, особенно с тех пор.

Смерть акробатки

Давным-давно, в те незапамятные времена, в зародышевый период истории человечества, когда еще не было ни театральных агентов, ни актерских пансионатов, ни подземки, ни «Вэрайети»¹, когда мегатерий рыскал по деревьям, а Бродвей был закован льдами, первый лопухий, низколобый импресарио, замышляя свое самое первое эстрадное представление, учредил настоящий декрет: «Вначале идет акробат».

Почему акробат должен идти первым, никто не знал, но то, что это сомнительная честь, отлично знали все актеры, включая акробата. Потому что даже в те младенческие годы эстрадного дела ни для кого не было секретом — тому, кто выступает первым, достается меньше всего аплодисментов. И из века в век во дворах, дворцах и плохоньких театрах первым шел акробат, и как бы его при этом ни называли — шутом, фигляром, гаером, коверным, буффоном, арлекином или пульчинеллой, — его первым из собратьев-актеров бросали на потребу жадных до развлечений зрителей, чтобы раздражить их аппетиты перед более лакомыми блюдами.

Гуго Бринкерхоф ничего не знал о капризных традициях своей профессии, знал он только, что и отец его и мать были акробатами и странствовали с труппой по Германии, что у него прекрасно развитая мускулатура, могучая и пружинистая, и что больше всего он любит работать на трапеции. И он был счастлив — у него была его трапеция, его Майра и аплодисменты снисходительной публики от

¹ «Вэрайети» — еженедельная газета, посвященная театру, кино, радио и ночным клубам.

Сиэтла до Окичоби, а ничего больше он от жизни не требовал.

Так вот, Гуго очень гордился своей женой Майрой, маленькой, гибкой, красивой женщиной, обладавшей проворством кошки и кошачьими дремотно-зелеными глазами. Когда он увидел ее впервые в конторе театрального агента Брегмана, вялое сердце в груди флегматичного гиганта забилося быстрее и он сказал себе: вот твоя судьба, вот твоя женщина — и не ошибся. Ибо кто, как не Майра, догадался назвать их помер «Прометей и К⁰», когда они поженились между третьим и четвертым представлением в Индианаполисе. Кто, как не Майра, дрался насмерть за лучшие места в афишах. Кто, как не Майра, задумал и усовершенствовал ослепительное колесо их финала. И опять же именно прелестная фигурка Майры, изящно вращавшаяся под куполом, и ее дремотная улыбка превратили «Прометей и К⁰» в «акробатический дивертисмент, известный от моря и до моря»; она принесла им лестную заметку в «Вэрайети» и место в одной из лучших трупп, куда Брегман собрал самые сливки эстрадного общества. Могучий Прометей, гигант Бринкерхоф, конечно, знал, что мужчины сходят с ума по Майре, и гордился этим. Да и можно ли было устоять перед ней? От нее были без ума и танцующий баритон в Бостоне, и комик в Ньюарке, и чечеточник в Буффало, и *adagio*¹ в Вашингтоне. И не только они — Текс Кросби, поющий ковбой (пение и конферанс), Великий Горди, иллюзионист, морячок Сэм, мастер бурлеска; вот уже несколько недель подряд все они значились на одной афише, и все они были влюблены в дремотноглазую Майру, а огромный Прометей лишь снисходительно улыбался. Флегматичному и глупому гиганту только льстило их восхищение. Разве его Майра не была лучшей акробаткой в мире и самой прекрасной женщиной на свете?

А теперь Майра была мертва.

Тревогу в эту теплую весеннюю ночь поднял сам Бринкерхоф, с отчаянным видом ворвавшийся в полицейский участок. Шел шестой час утра, а Майра так и не явилась домой, в театральный пансион на 47-й улице, где они остановились. После последнего представления в театре

¹ Здесь — актер, исполняющий танцы и песни под медленную музыку.

«Метрополь», что на Коламбус-серкл, Бринкерхоф с женой остались репетировать новый номер. Они закончили репетицию, потом Бринкерхоф переоделся и поспешил на свидание с театральным агентом Брегманом, обсудить условия нового контракта, а Майра осталась в уборной. Они договорились встретиться дома. Он возвратился в пансион, но — увы и ах! — никаких следов Майры. Он помчался в театр — театр был уже закрыт. И всю долгую, нескончаемую долгую ночь он ждал...

— Небось где-нибудь шляется, приятель, — зевнув, сказал дежурный лейтенант.

Но Бринкерхоф бурно замахал руками:

— Она никогда такого не телать. Я звонить театр, не ответшают. Пошалуста, найдите ее, лейтенант.

— Ох уж эти мне немцы, — сказал лейтенант сыщику по кличке Плешак, слоняющемуся в участке. — Да уж ладно, Плешак, пособи ему, чем можешь. Ну а если окажется, что она засела в забегаловке, врежешь разок-другой этому верзиле, чтоб зря людей не беспокоил.

Итак, Плешак и бледный гигант отправились на поиски Майры. Как и говорил Бринкерхоф, театр «Метрополь» был закрыт.

Время шло к шести, над парком занималась заря, и Плешак затащил Бринкерхофа в ночной ресторан подкрепиться чашкой кофе. И до семи они протоптались у дверей «Метрополя», пока не явился старикашка Перк, сторож и хронометрист, и не впустил их в театр; они тут же кинулись в уборную «Прометея и К⁰», где и нашли Майру. Ее тело было привязано к трубе огнетушителя грязной, толстой, как стальной трос, веревкой, обвивавшейся вокруг прелестной шеи Майры.

И тут Прометей сел на пол, сжал косматую голову руками и тупо уставился на качающееся тело жены.

Когда мистер Элери Куин протолкался сквозь шумную толпу репортеров и сыщиков, запрудившую кулисы, доказал через дверь сержанту Вели, что он и есть он, и ворвался в душную, битком набитую взбудораженными актерами уборную, инспектор Куин со своей свитой уже приступил к делу. Элери сквозь зубы клял эгоизм убийц, из-за которых честным людям приходится вставать ни свет ни заря. Но пи массивный сержант, ни крохотный инспектор не обращали внимания на его воркотню. Они были слишком заняты, а увидев свисающее с трубы тело, Элери и

сам замолк. Бринкерхоф понуро сидел в кресле у туалетного столика жены. Глаза у него были красные.

— Я вам все сказал, — бормотал он. — Мы репетировали новый номер. Потом у меня пыло наснатшено свитание с мистер Прекман. Я ушел.

Брегман, толстяк с жестким взглядом, коротко кивнул.

— Вот и все. Кто — потшему, я не снаю.

Басистым sotto voce сержант изложил скудные факты. Элери еще раз окинул взглядом мертвую женщину. Мыскулы ног, скованные *rigor mortis*'ом, вздулись под туго натянутым шелковым трико. Зеленые глаза были широко раскрыты. Тело слегка колыхалось, словно исполняя танец смерти.

Плешак тоже торчал здесь — он представлял полицейский участок — и был явно взволнован своей неожиданной популярностью среди газетчиков. Рядом с Брегманом свертывал сигарету высокий худошавый мужчина, похожий на Гари Купера. Это был Текс Кросби, поющий ковбой; привалившись к заляпанной стене, он не сводил злобного взгляда с Великого Горди. Горди — демонического вида мужчина с ястребиным носом, лоснящимися черными усами и пронзительными черными глазами — молчал. У крошки Сэма, мастера бурлеска, вид был усталый, под глазами набрякли мешки, и похоже было, что он с утра рвался опохмелиться, но не успел. Чего нельзя сказать об администраторе Джо Келли — от него разило, как от пивной бочки, и он бормотал себе под нос бессвязные ругательства.

— Как давно вы женаты, Бринкерхоф? — прорычал инспектор.

— Тва года. Ja¹. В Интианаполисе мы поженились, Herr Inspektor².

— Она была замужем до вас?

— Nein³.

— А вы?

— Nein.

— У нее или у вас были враги?

— Gott, nein⁴.

— Вы были счастливы?

— Мы пыли как голупки, — пробормотал Бринкерхоф.

¹ Да (нем.).

² Господин инспектор (нем.).

³ Нет (нем.).

⁴ Боже, конечно, нет (нем.).

Элери рассматривал труп акробатки. Ее руки с взбухшими, как веревки, венами, были связаны за спиной грязным, перемазанным румянами полотенцем, второе полотенце связывало лодыжки. Ноги акробатки болтались в метре от пола. У стены стояла ветхая стремянка. «С этой стремянки, — подумал Элери, — убийца мог легко дотянуться до трубы, перекинуть веревку и подтянуть легкое тело».

— Когда вы пришли, стремянка была у стены? — тихо спросил он у сержанта Вели, который с интересом рассматривал тело.

— Ага. Они говорят, она всегда стоит у распределительного щитка.

— Тогда это не самоубийство, — сказал Элери. — Значит, эту версию мы можем исключить.

— Фигурка что надо, верно? — восхищенно сказал сержант Вели.

— Я видал и хуже.

Но, по правде говоря, его интересовала не фигурка, а грязная веревка, обвивавшая шею акробатки двумя параллельными кольцами, как нашейные ожерелья женщин Убанги. Ошейник этот целиком закрывал шею. Веревка была завязана огромным узлом под правым ухом женщины и прикреплена к трубе наверху другим узлом.

— Откуда эта веревка? — отрывисто спросил Элери.

— Со старого сундука, мистер Куин. Он с незапамятных времен стоит в комнате с реквизитом. Его там какой-то актер забыл. Сундук пустой. Хотите посмотреть?

— Верю вам на слово, сержант. Так вы говорите в комнате с реквизитом?

А Бринкерхоф все ныл, как они были счастливы с Майрой и как он разделается с тем *verdammte Teufel*¹, который убил красавицу Майру, и его огромные руки судорожно сжимались и разжимались.

— Она вся как светок, — говорил он, — она как светок.

— Чушь, — отрезал администратор Джо Келли, качаясь, как боксер в нокауте, — обыкновенная шлюшка, инспектор. Вы меня лучше спросите.

И он ухмыльнулся.

— Шлюшка? — с трудом выговорил Бринкерхоф, поднимаясь. — Это што знатшит?

Комик Сэм заморгал запухшими глазками.

— Ты спятил, Келли, просто спятил, — сказал он хрипло. — Зачем ты это говоришь? Он пьян в стельку, шеф.

¹ Мерзавцем (нем.).

— Кто пьян в столько? Я пьян? — завопил Келли, вне себя от ярости. — Хорошо, тогда спросите у него. — И он указал пальцем на высокого худого ковбоя.

Глаза инспектора загорелись:

— Ну-ка, ну-ка, ребята, давайте разберемся, что тут у вас происходит, — пропел он. — Обсудим все хорошенько. Вы хотите сказать, Келли, что у миссис Бринкерхоф была интрижка с Кросби?

Бринкерхоф издал звук, который могла бы произвести разве что озадаченная горилла, и двинулся к ковбою. Руки его ходили как цепи, он рвался к горлу соперника с неотвратимой яростью дикого зверя. Но сержант Вели был начеку и, подскочив к гиганту, заломил ему руку за спину, а Плешак тут же схватил его за другую руку. Бринкерхоф вырывался, не спуская злобного взгляда с ковбоя. Кросби побледнел, но не тронулся с места.

— Уведите его, Вели, — рявкнул инспектор, — передайте двум парням посильнее и скажите, чтоб не пускали сюда, пока он не поутихнет.

Свирепо сопящего акробата выволокли из комнаты.

— А теперь, Кросби, валяйте выкладывайте, что знаете.

— Нечего мне выкладывать, — заявил ковбой, но глаза у него при этом бегали по сторонам. — Я техасец, мистер полицейский, и вам меня не запугать. Бринкерхоф просто болван. А что касается этого трепача, — и он показал на Келли, — я его, пожалуй, проучу, чтоб зря пасть не резал.

— Да, он наставлял рога этому остолопу, — верещал Келли, — не верьте ему, шеф. Эта потаскуха получила по заслугам! Она надувала этого борова Бринкерхофа всю дорогу от Ки до Бинтауна.

— Прекратить, — спокойно сказал Великий Горди. — Разве вы не видите, инспектор, что Келли совершенно пьян и не отвечает за свои слова. Просто Майра всегда любила бывать на людях. Может, она и сходила пару раз выпить со мной или с Кросби тайком от Бринкерхофа — он не разрешал ей пить, — но просто за компанию, только и всего.

— Просто за компанию? — пробормотал инспектор. — Интересно бы узнать, кто из вас врет? Давайте, Келли, выкладывайте, что знаете.

— Что я знаю, то знаю, — ухмыльнулся администратор. — И по правде говоря, шеф, Великий Горди то же мог бы кое-что порассказать об этой шлендре. Кому и расска-

зять, как не ему! Ведь он ее переманил у Кросби всего пару недель назад.

— Спокойно, — рявкнул старик, увидев, что техасец и Горди двинулись друг на друга. — Откуда вам это известно, Келли?

Мертвая акробатка колыхалась, исполняя свой беззвучный танец.

— Слышал на днях, как Текс схлестнулся с Горди из-за Майры, — сказал Келли, еле ворочая языком, — а вчера и сам видел, как Горди обжимался с ней за кулисами. Ну что вы на это скажете? Да уж, в искусстве поприжать дамочку нашему Горди нет равных.

Ему никто не ответил. Высокий техасец пронзал пьяницу злобным взглядом, кончики пальцев у него побелели; иллюзионист хранил молчание. Дверь отворилась, и вошли двое — судебный врач доктор Праути и высокий неуклюжий мужчина с обветренным лицом моряка.

Все облегченно вздохнули. Инспектор сказал:

— А мы уж заждались, доктор. Но вы не трогайте ее, пока Бредфорд не рассмотрит хорошенько этот узел. Валяйте, Бредди, лезьте на трубу.

Бредди неуклюже вскарабкался на стремянку, осмотрел узел за ухом и узел на трубе. Праути ущипнул акробатку за ногу.

Элери вздохнул и стал осматривать комнату.

В верхнем ящике туалетного столика он нашел заряженный дамский револьвер с перламутровой рукояткой, украшенной инициалами М. Б. Он многозначительно посмотрел на отца, отец кивнул. Элери продолжал мерить шагами комнату. Внезапно он остановился, и его серые глаза сверкнули. На колченогом столике посреди комнаты среди прочей ерунды он заметил длинный стальной нож для разрезания бумаги. Элери осторожно взял его и внимательно осмотрел острое лезвие.

Никаких следов крови. Он отложил нож и снова стал мерить шагами комнату.

Потом его внимание привлек дешевый газовый рожок. Труба его выходила в отдушину в стене, но газ был выключен. Элери потрогал рожок, он был холодный.

С ощущением обреченности Элери побрел в кладовку. Предчувствие его не обмануло — прямо за открытой дверью кладовки стоял деревянный ящик с плотницким инструментом; на самом его верху лежал тяжелый стальной молоток. На полу около ящика валялась стружка, а свежеобструганная притолока была еще не окрашена.

Глаза Элери сверкали; мысль его напряженно работала.

— Чей это револьвер? Майры? — шепотом спросил он у инспектора.

— Да.

— Куплен недавно?

— Нет. Бринкерхоф подарил его Майре вскоре после свадьбы. Для самозащиты, он говорит.

Элери поглядел на представителя флота. Неуклюжий краснолицый моряк растерянно топтался у лестницы. Сержант Вели — он уже успел вернуться, — зажав в руке перочинный нож, полез наверх. Доктор Праути нетерпеливо переступал с ноги на ногу у подножия ветхой стремянки.

Сержант старательно принялся перепиливать толстую веревку, привязанную к трубе огнетушителя...

— Откуда в кладовке оказался этот ящик с инструментом? — спросил Элери.

— Вчера плотник чинил дверь — она покорибилась или что-то в этом роде. Профсоюзы теперь совсем озверели, так что он бросил работу на полдороге и ушел.

— Теперь мне все понятно, — сказал Элери. — Это многое объясняет.

— Да что же это, по-твоему, объясняет? — взвился инспектор.

— Абсолютно все, — ответил Элери.

Великий Горди буквально смотрел Элери в рот, но тот не обращал на него внимания. Морячок Сэм забился в угол и оттуда пожирал глазами сержанта. Техасец сердито курил и, казалось, ушел в себя.

— Да, абсолютно все, — повторил Элери. — В жизни не встречал ничего поразительней.

Инспектор обалдело озирался вокруг.

— Но, Элери, бога ради, скажи ты мне, да что тут поразительного. Я тебя просто не понимаю...

— А должен бы понять, — нетерпеливо прервал его Элери. — Тут и ребенок бы все понял. Если призадуматься, так просто диву даешься, как это очевидно. В этой комнате находятся четыре орудия убийства на выбор: заряженный револьвер, молоток, нож и газовый рожок. А убийца неизвестно почему, связав женщину полотенцами, выходит из комнаты, проходит через всю сцену в бутафорскую, отвязывает старую веревку от сундука, забытого бог знает когда, бог знает каким актером, и тащит веревку и стремянку от самого распределительного щитка в уборную

Бринкерхофов, карабкается на стремянку, привязывает веревку к трубе огнетушителя и вздергивает тело.

— Да, но...

— Да, но зачем? — возопил Элери. — Зачем убийца, наплевав на четыре простых, удобных и сподручных орудия убийства — пистолет, нож, газ, молоток, — затеял всю эту волюнку только для того, чтобы повесить Майру?

Сержант Вели опустил тело на пол, и доктор Праути опустился на колени перед мертвой женщиной. Краснолицый моряк вразвалку подошел к трупу и сказал:

— Да, крепкий орешек!

— Что еще за крепкий орешек? — рявкнул инспектор.

— Да узел этот на трубе. — Короткие красные пальцы моряка перебирали витки веревки. — Узел у нее за ухом — самый обыкновенный и завязан так неуклюже, что только диву даешься, как он не развязался, но тот, что обвязан вокруг трубы огнетушителя, вот этот узел, сэр, крепкий орешек.

— Вам этот узел не знаком? — спросил Элери, в задумчивости перебирая сложные витки веревки.

— Нет, такого я еще не встречал, мистер Куин. Я много лет работаю консультантом по узлам в нашем департаменте, но такого узла мне, честно говоря, встречать не довелось. Это не морской узел, это сразу видно, и не ковбойский.

— А может, это работа любителя, — пробормотал инспектор, пропуская веревку между пальцами. — Может, он случайно так получился.

Эксперт покачал головой.

— Нет, сэр. Я бы этого не сказал. Тут какая-то вариация морского узла. Такой узел случайно не завяжешь. Тот, кто его завязал, знаток своего дела. — И, сделав это заявление, Брэдфорд вразвалку удалился. Доктор Праути поднял глаза от трупа.

— Черт побери, — взорвался он, — здесь мне делать нечего, мне надо отвезти тело в морг и поработать там! Мои молодцы ждут у входа.

— А когда она перекинулась, доктор? — спросил, нахмурившись, инспектор.

— Вчера где-то около полуночи. Точнее сказать не могу. Ну и, конечно, смерть последовала от удушья.

— Что ж, напишите нам отчет. Может, он нам ничего и не даст, но на всякий случай не помешает. А теперь введите привратника.

— Когда вы вчера закрыли театр? — спросил инспектор грозно.

— Ей-ей, инспектор, — сказал старикашка Перк прерывающимся от волнения голосом. — Я не нарочно... Но если дойдет до мистера Келли, он меня тут же выставит... Просто я умирал как хотел спать...

— Ну, что там у вас такое? — сказал, смягчившись, инспектор.

— Майра сказала, что после последнего представления они с Прометеем будут репетировать новый номер. А мне страсть как не хотелось их дожидаться, — заныл старик, — да и в театре никого не осталось, даже уборщицы ушли, так что я все двери позакрывал, оставил только сценический выход, и говорю Майре и Прометею: «Когда будете уходить, — говорю им, — захлопните за собою дверь». И пошел себе домой.

— Что за чертовщина, — сказал раздраженный инспектор. — Теперь нам никогда не узнать, кто тут был, а кого не было. Да любой мог пройти в здание незамеченным и притаиться до тех пор, пока... — Он прикусил губу. — Эй, вы там, где вы были вчера после представления?

Первым ответил Великий Горди, но его бархатный голос звучал как-то неуверенно:

— Я сразу же пошел к себе в пансион и лег спать.

— Вас кто-нибудь видел? Вы живете в том же пансионе, что и Бринкерхоф?

Иллюзионист пожал плечами.

— Никто не видел. Да, в том же.

— А вы, техасец?

— А я поплелся в бар и надрался там, — протянул ковбой.

— В какой бар?

— Понятия не имею. Я был пьян вдрабадан. Сегодня утром проснулся с жуткой головной болью.

— Да, вы, братцы, попали в хорошенький переплет, — сказал насмешливо инспектор. — Куда это годится, даже об алиби вовремя не позаботились. Ну а вы, Сэм.

— Да у меня этих доказательств сколько хочешь, инспектор, — ответил поспешно морячок. — Пошел в одну забегаловку — я там завсегда, так что меня видели человек двадцать знакомых, не меньше.

— Когда вы туда пришли?

— Около полуночи.

Инспектор хмыкнул.

— Проваливайте, — сказал он. — Но далеко не уходи-

те. Может, вы мне еще понадобятся. Уведите их, пока я пе вышел из себя.

Давным-давно, в те незапамятные времена, когда, как вы помните, мегатерий еще рыскал по деревьям, тот же самый лопухий импресарио, который сказал: «Вначале идет акробат», — вынес и еще одно постановление: «Представление продолжается», — изрек он опять же довольно бездоказательно. И что бы ни случилось — укротительница львов сбежала с исполнителем детских ролей, инженеру напилась вдрызг, в самый разгар представления дама в пятом ряду устроила свой ежемесячный эпилептический припадок, начался пожар в уборной «А», — но представление во что бы то ни стало продолжается. Даже самое кровавое убийство не может нарушить этого священного постановления.

И поэтому ничуть не удивительно, что, когда рано утром в «Метрополь» начали стекаться энтузиасты, никому из них и в голову не пришло, что в его пестрых стенах минувшей ночью произошло убийство и что полиция и сыщики рыщут за кулисами, пронзая всех подозрительными, хотя и несколько озадаченными, взглядами.

Инспектор Ричард Куин ерзал на жестком сиденье в пятнадцатом ряду, а рядом с ним сидел погруженный в свои мысли Элери. Инспектор никак не мог взять в толк, почему Элери заставляет его сидеть в зале. Сначала они смотрели фильм. «А ведь я его уже видел», — укоризненно сказал инспектор. Потом хронику, потом мультфильмы. И лишь когда на экране замелькали рекламные кадры, Элери встал. «Пошли за кулисы», — сказал он. Протиснувшись за пыльными ящиками, они вошли в железную дверь, охраняемую офицером в штатском. На огромной пустой сцене царила непривычная гнетущая тишина. Администратор Келли, протрезвевший и от этого еще более злой, сидел на шатком стуле неподалеку от распределительного щитка и грыз пальцы, руки у него тряслись. Актеров не было видно.

— Келли, — неожиданно спросил Элери, — у вас не найдется полевого бинокля?

Ирландец разинул рот.

— А на кой черт он вам сдался?

— Очень нужен.

Келли ухватил за рукав пробежавшего мимо служителя, и тот мигом слетал за биноклем.

— Ну, что еще ты придумашь? — хмыкнул инспектор.

Элери пожал плечами и поднес бинокль к глазам.

Оркестр заиграл увертюру.

— «Поэт и крестьянин», — заворчал инспектор, — неужто они не знают ничего поновее?

Но Элери молчал, нацелив бинокль на залитую огнями сцену. Наконец отзвучала последняя труба, раздалась жидкие аплодисменты и появилось объявление «Прометей и К⁰». Тут даже инспектор перестал ворчать и несколько оживился. Занавес пополз вверх, и на сцене возник Прометей собственной персоной (ибо никто не смог убедить обычно мягкого и податливого Бринкерхофа отказаться от выступления); его огромное тело в телесном трико казалось особенно массивным — он кланялся и расточал улыбки, а рядом с ним стояла высокая женщина с золотыми волосами и ее золотые коронки сверкали в огнях рамп. Она тоже была в телесном трико.

Театральный агент Брегман прислал ему новую партнершу, и эти два дотоле незнакомых человека целый час репетировали свое первое совместное представление — они сплетались в объятиях, отталкивались, взлетали под купол и снова мчались навстречу, простирая друг другу руки. «Представление во что бы то ни стало продолжается». Прометей и золотоволосая женщина проделали сложные серии сальто и эквилибристических прыжков. Оркестр заиграл бойкий мотив. На сцену спустили трапеции. Простые раскачивания. Сальто в воздухе. Грянули тарелки.

Элери опустил бинокль. За кулисами царила тишина, лишь Келли дышал так тяжело, словно долго просидел под водой и теперь вынырнул глотнуть воздуха. Сзади слышались шаги; Элери обернулся. За ним стоял морячок Сэм, облаченный в огромную, не по росту, морскую форму, висящую мешком на его тщедушной фигурке. Лицо морячка обильно покрывал грим. Он бесстрастно смотрел на «Прометея и К⁰».

— Чисто работают, верно? — сказал он тихо.

Ответа не последовало. Элери повернулся к администратору и прошептал:

— Келли, проследите за... — и понизил голос так, чтобы его не слышали ни Сэм, ни инспектор Куин. Келли обалдело вытарашил налитые кровью глаза, но тут же смекнул, в чем дело, и, понимая кивнув, устоял на вращающихся в вышине акробатов.

Вскоре номер подошел к концу, оркестр заиграл туш. Прометей отвешивал поклоны и улыбался, его партнерша приседала и скалилась, демонстрируя золотой зуб, потом

занавес опустился, и Элери посмотрел на Келли, но администратор покачал головой. На сцене появилось новое объявление: «Морячок Сэм». Оркестр оторвал разухабистый мотив, и крошка Сэм в не по росту огромной морской форме широко ухмыльнулся три раза кряду, словно примерял, какую лучше выбрать улыбку, набрал воздуха в легкие и проковылял на сцену, но, не дойдя и до середины, растянулся плашмя. Его личико гнома вынырнуло прямо над огнями рампы под аккомпанемент донесшегося из тьмы партера хохота изумленной аудитории. У морячка был отлично отработанный номер. Он нес чепуху, запинаясь, замолкал и снова принимался болтать, описывая некое фантастическое путешествие, падал, кувыркаясь, карабкался на воображаемую мачту и снова замолкал, переходя на пантомиму, от которой зал сотрясали громовые раскаты хохота.

— Да он даст сто очков вперед Джимми Бартону¹ — так он здорово пьяницу изображает, — вынужден был признать инспектор Куин.

— Куда ему, — проронил сухо Келли.

Морячок Сэм, эффектно загребая руками, «уплыл» со сцены. Он тяжело дышал, с лица его градом тек пот. Отдышавшись, он снова побежал на сцену — поклониться публике. Раздались бурные аплодисменты — морячка вызывали на бис. Он убежал за кулисы. Еще раз вышел кланяться. И опять убежал. На его задорной мордашке было написано упрямство.

— Сэм, — прошипел Келли, — не ломайся, выдай ты им этот номер с веревкой. Не ломайся, Сэм...

— Номер с веревкой? — переспросил Элери.

Морячок провел языком по пересохшим губам. Потом скрючился и на четвереньках выполз на сцену. Зрители приветствовали его бешеными аплодисментами. Он качался из стороны в сторону и пьяно моргал.

— Эй, там! — взвыл он вдруг. — А ну гоните сюда веревку!

Из-за кулис вылетела трехметровая сигара из папье-маше.

Хохот зала.

— Вы что, простых слов не понимаете, — визжал карапуз, подпрыгивая на месте, — веревка мне нужна, веревка.

Из-за кулис выползла черная веревка и змеей обвилась вокруг щуплых плеч морячка. Сэм пытался сорвать верев-

¹ Известный цирковой актер, мастер пантомимы.

ку, носился за ее просмоленными концами, прыгал не хуже антилопы. Но просмоленные концы ускользали, и, чем больше морячок сражался с веревкой, тем сильнее запутывался в ее черных витках.

Галерка надрывалась от хохота. Да, Сэм знал свое дело; даже кислое лицо Келли прояснилось, а инспектор откровенно смеялся. Однако вскоре номер подошел к концу. Из-за кулис вынырнули служители и утащили морячка — недвижимый сверток, опутанный веревкой. Лицо Сэма под гримом было мертвенно-бледным.

За кулисами он в два счета освободился от пут.

— Молодчина! — хохотнул инспектор. — Лихо сработано!

Сэм что-то буркнул и поплелся в свою уборную. Черная веревка осталась на сцене. Элери окинул ее беглым взглядом и снова стал смотреть на сцену. Оркестр заиграл новую мелодию. Звучный тенор запел песню. Оркестр приглушенно играл «В родных полях». Занавес поднялся, явив залу Текса Кросби.

Высокий и стройный Кросби был выряжен в ковбойский костюм, какой можно увидеть только на сцене. Однако на нем этот наряд не выглядел смешным, даже шестизарядные кольты с перламутровыми рукоятками, торчавшими из кобуры, не казались неуместными. Белое сомбре-ро с широкими полями бросало тень на худое лицо уроженца запада, он стоял, непринужденно расставив кривые ноги. Да, как ни крути, а Текс Кросби был ковбой что надо.

Он спел несколько песен Дикого Запада, рассказал пару смешных побасенок на своем протяжном техасском говоре, и все это — не выпуская из рук лассо. Казалось, лассо живет своей собственной, отдельной от хозяина жизнью. Лассо взвилось, не успела тощая фигура Кросби показаться из-за занавеса, и ни минуты не оставалось в покое в течение всего номера — и шуток, и рассказов, и даже во время неизбежного прощального «Последнего загона скота».

— Бил Роджерс¹ для бедных! — ухмыльнулся Келли, моргая налитыми кровью глазами.

Тут Элери снова поднес к глазам бинокль. Когда техасец отвесил последний поклон, Элери вопросительно посмотрел на администратора. Келли покачал головой.

Великий Горди в сатанинско-черном плаще с красным подбоем появился под грохот грома и сверканье молний.

¹ Знаменитый цирковой артист, виртуоз лассо, впоследствии ставший известным актером немого и звукового кино.

В его шарлатанском облике было нечто впечатляющее. Черные глаза иллюзиониста сверкали, кончики усов трепетали над губой, нос походил на клюв; руки иллюзиониста все время ходили ходуном, а рот практически не закрывался.

Ловко заговаривая зубы публике, иллюзионист отвлекал ее от чудес, что тем временем с неуловимой быстротой творили его руки. В его номерах не было ничего сверхъестественного, но техникой своего дела он владел в совершенстве. Горди показал несколько карточных фокусов. Потом проделал трюки с монетами и платками, которые человеку неискушенному могли показаться необъяснимыми. Его вечерний костюм явно таил немало секретов.

Из-за кулис следили за трюками иллюзиониста со все возрастающим напряжением. И вдруг Элери вздрогнул — он увидел, что в кулисах напротив затаился Бринкерхоф, так и не переодевшийся после своего номера. Акробат пожирает глазами иллюзиониста. Но его не интересовали ни быстро мелькающие пальцы, ни стремительные движения одетого в черное тела. Только лицо... Во взгляде Бринкерхофа не было ни ярости, ни злобы, он теперь просто наблюдал.

— Да в чем же тут дело? — подумал Элери. — Хорошо еще, что Горди его не замечает, — решил он, — а то бы он мог и сбиться.

Казалось, номеру иллюзиониста нет конца. Теперь он проделывал фокусы с непонятного вида аппаратом, который вывезли из-за кулис его ассистенты. Зал был весь внимание.

— Отличная работа, — сказал удивленно инспектор. — Да у вас, оказывается, прекрасное обозрение, Келли.

— Перебиваемся как можем, — буркнул Келли. Он тоже, не отрываясь, следил за фокусником.

Внезапно в номере что-то сбилось. Оркестр сбился с темпа. Горди, закончив фокус, поклонился и отбыл за кулисы, где стояли Келли и Элери. Занавес не успели опустить. Оркестр было растерялся, но потом с ходу рванул другой мотив. Дирижер ошалело мотал головой из стороны в сторону, пытаясь дознаться, что же такое стряслось.

— В чем дело? — спросил инспектор.

— Он опустил последний фокус, — рявкнул Келли. — Вы попали в самую точку, мистер Куин.

— Эй, ты, выскочка, — завопил он на фокусника, — давай кончай свой номер, черт бы тебя побрал, пока публика не перестала хлопать!

Горди побледнел, но не обернулся. И так, ничего не ответив, нехотя поплелся на сцену, преследуемый злобым взглядом Бринкерхофа. Тут Горди заметил акробата и вздрогнул.

— Да что тут у вас такое происходит? — встревожился инспектор.

Элери поднес бинокль к глазам.

Из-за кулис выбросили трапецию — стальной прут, подвешенный на двух тонких тросах. Вслед за трапецией на сцену откуда-то сверху кинули гладкую желтую веревку, по виду совершенно новую. Зал затаил дыхание. Оркестр умолк,

Горди медленными, рассчитанными движениями поднял веревку и, повернувшись к публике спиной, произвел с ней какие-то манипуляции. Затем обратился к публике лицом и поднял левую руку над головой. Вокруг его левой кисти был обвязан огромный узел. Горди поднял другой конец веревки, подпрыгнул, ухватился за трапецию, остановил ее на уровне груди и снова повернулся спиной к публике. Эффектно отстранившись, он показал публике, что другой конец веревки привязан таким же узлом к пруту трапеции. Подняв правую руку, Горди дал сигнал оркестру, и барабанщик раскатился долгой дробью. Трапеция поползла вверх, и оказалось, что в веревке нет и полутора метров. Трапеция вздымалась вверх, а вместе с ней поднималось на веревке и гибкое тело Горди. Когда ноги иллюзиониста оторвались на полметра от пола, трапеция остановилась.

Элери не отрывал глаз от мощного бинокля. Из-за других кулис за иллюзионистом следил Бринкерхоф.

Горди дрыгал ногами, брыкался, показывая, как надежно держат его узлы: даже вес тела не может их развязать, а только ту же затягивает.

— Отличный фокус, — пробормотал Келли, — мы даем на секунду затемнение, через пять секунд снова включаем свет — и он уже на сцене, а веревка валяется на полу.

Горди приглушенно крикнул:

— Готов!

— Живо занавес, — сказал Элери.

Келли со всех ног бросился выполнять приказание. Занавес, с минуту покачавшись, упал. Зал онемел, но потом зрители решили, что этого требуют условия фокуса. Горди корчился, изо всех сил пытаясь дотянуться до трапеции свободной рукой.

— Опустите трапецию, — взревел Элери; он выскочил

на авансцену и замахал руками. — Опускайте трапецию! Горди, не двигайтесь!

Трапеция с глухим стуком опустилась. Горди растянулся на полу, хватая воздух ртом. Элери кинулся к нему, на ходу открывая нож. Подскочив к иллюзионисту, он одним махом разрубил канат. Канат распался.

— Вставайте, — сказал Элери, переводя дух. — Я хочу посмотреть на узел, Горди.

Но силы оставили иллюзиониста, и он так и остался лежать на полу. Вокруг него столпились актеры. Здесь был Бринкерхоф, грозно поигрывающий мускулатурой, Кросби, морячок Сэм, сержант Вели, Брегман, Келли... Накопец Горди смог сесть, но он все еще хватал ртом воздух, а в глазах его застыл страх.

Инспектор внимательно осмотрел узел, прикреплявший канат к трапеции. Затем не спеша вынул из кармана обрывок веревки, на которой повесили Майру Бринкерхоф, и сравнил два узла. Они ничем не отличались друг от друга.

— Ну что ж, Горди, — устало сказал инспектор. — Похоже, что вам каюк. Давайте вставайте. Я арестую вас по обвинению в убийстве, и все, что бы вы ни сказали...

Но он не успел закончить фразы — Бринкерхоф, могучий Прометей, кинулся на иллюзиониста. Келли, техасец и сержант Вели втроем еле оторвали акробата от Горди.

Посиневший Горди схватился за горло.

— Это не я, говорю вам, ото не я. Я не виновен! Да, мы были... Я любил ее. Но для чего мне было ее убивать? Это не я. Бога ради...

— Schwein, — рычал Прометей.

Вели схватил Горди за шиворот. Но тут Элери лениво протянул:

— Мои подозрения оправдались. Примите мои извинения, мистер Горди. Ну конечно же, вы не убивали ее.

За тяжелым занавесом послышались голоса. Это пустили короткометражку.

— Не убивал? — пробормотал Бринкерхоф.

— А как же узлы? — сказал озадаченный инспектор.

— Вот именно, что узлы. — Элери задумчиво потер стекла пенсне. — Я хочу задать вам один вопрос: почему Майру Бринкерхоф повесили? Почему Майру повесили, а не убили четырьмя другими способами, что было бы гораздо проще и сподручнее? Объясняю: если убийца выбрал самый неудобный, сложный и окольный способ, — значит, способ этот он выбрал намеренно.

У Горди отвалилась челюсть.

— Но почему же, — продолжал Элери, — почему он выбрал именно повешение? Очевидно, потому, что повешение давало какие-то преимущества, каких не давал ни один из четырех других способов. Итак, давайте придумаем, в чем же заключаются эти преимущества, которых не дает ни пистолет, ни нож, ни газ, ни удар молотком? Или, иначе говоря, чем повешение отличается от всех этих методов? Только одним. Для него нужна веревка.

— И все-таки никак не возьму в толк... — нахмурился инспектор.

— Однако тут все яснее ясного, отец. Очевидно, убийце для каких-то его целей нужна была веревка, и именно поэтому он и предпочел повешение. Что же особенного в этой вот веревке, в веревке, на которой повесили Майру Бринкерхоф? Только одно — узел, которым она завязана, — оригинальный узел, настолько оригинальный, что даже эксперт никогда не видел подобного. А значит, по этому узлу можно опознать преступника, ибо оставить такой узел — все равно что оставить отпечатки пальцев. Ну и чей же это оказывается узел? Иллюзиониста Горди. И, как я сильно подозреваю, кроме него самого, узел этот никому не известен.

— Ничего не понимаю! — завопил Горди. — Я сам работал этот узел и никому его не показывал... — Тут он закусил губу и запнулся.

— Вот именно, — протянул Элери. — Так вот, если б мистер Горди хотел убить Майру Бринкерхоф, неужели он выбрал бы повешение? Ведь этот способ бросает подозрение на него и только на него одного. Разумеется, нет, если он не совсем уж глуп. Но предположим, что он машинально завязал веревку привычным для него узлом. Такие вещи случаются. Но и в этом случае спросим себя, с какой стати Горди вешать Майру вместо того, чтобы выбрать один из четырех других имеющихся в его распоряжении способов, — сказал Элери и хлопнул иллюзиониста по спине. — А ответ тут один: убийца повесил Майру да еще затянул веревку личным узлом Горди для того, чтобы обвинить его в преступлении, которого Горди не совершал. Так что примите наши извинения, Горди.

— Но ведь он сам говорит, что никто, кроме него, не знает этого проклятого узла, — зарычал инспектор. — И если ты прав, Элери, значит, убийца разучил его тайком.

— Вполне вероятно, — пробормотал Элери. — Ваши соображения, signor?

Иллюзионист медленно поднялся на ноги и отряхнул

костюм. Бринкерхоф, разинув рот, тупо глядел то на него, то на Элери.

— Не знаю, — сказал бледный как полотно Горди. — Мне казалось, что мой узел никому не известен. Даже моим ассистентам. Но мы разъезжаем вместе уже не первую неделю. И, наверное, если б кому-нибудь очень понадобилось...

Назавтра Элери сидел в конторе инспектора Куина и говорил:

— Скажу как на духу: я и сам не знаю, где тут зарыта собака. Я уверен только в одном: Горди невиновен. Убийца хорошо знал, что всем бросится в глаза этот особый узел Горди. Что же касается мотивов...

— Послушай, — огрызнулся инспектор, потеряв терпение. — Я не хуже тебя могу понять, что к чему. У них у всех были мотивы. Эта дамочка дала отставку Кросби, Горди с ней... А ты знаешь, что и морячок Сэм последние две недели ухлестывал за Майрой? Из кожи вон лез, чтобы ее заполучить. Келли тоже с ней путался, когда она в прошлый раз выступала в «Метрополе».

Дверь отворилась, и в комнату ворвался раздраженный доктор Праути, судебный врач. Он плюхнулся в кресло и закинул ноги на стол инспектора.

— Ну, кто из вас быстрее отгадает, какую я вам принес новость? — кисло сказал старик. — У меня для вас сюрприз, джентльмены, но не стану скрывать, я и сам был удивлен. Дамочку-то ведь не повесили.

— Что? — закричали в один голос Куины.

— А то. Когда ее вздернули, она уже была мертва.

— Будь я проклят, — сказал Элери. — Праути, — обратился он к врачу, — бога ради, перестаньте давить нас своим превосходством. Говорите, чем ее убили? Пистолетом, газом, ножом, молотком?

— Пальцами.

— Пальцами?

Доктор Праути пожал плечами:

— В этом нет никаких сомнений. Сняв с ее хорошенькой шейки грязную петлю, я обнаружил на коже отчетливые отпечатки пальцев. Вербка, конечное дело, была затянута туго, но следы пальцев, джентльмены, все равно не скроешь. Дамочку задушили и притом, заметьте, мужскими руками, а затем уж вздернули. Но почему — этого я не знаю.

— Странно, странно, — пробормотал инспектор, покусывая ус.

— Но это еще не самое странное, — протянул доктор Праути. — Вам, ребята, довелось видеть немало удушенных на своем веку. Так вот, скажите мне, как обычно идут в таких случаях отпечатки пальцев?

Элери нахмурился:

— Хотел бы я знать, к чему вы клоните... А-а! — Его серые глаза сверкнули... — Нет-нет, не подсказывайте, я сам... Значит, так — большие пальцы тянутся к подбородку, остальные вверх к ушам.

— Башковитый парень. Ну вот, а в этом случае — наоборот. Все следы идут вниз.

Элери надолго замолк, уставясь на стену. Потом ухватил флегматичного Праути за руку и бешено ее затряс.

— Эврика! Праути, вы просто посланы богом в ответ на молитву моего логического ума! Отец, пошли.

— Что еще такое? — скривился инспектор. — Слишком ты прыток для меня. Куда пошли?

— В «Метрополь». Если мои часы не врут, — торопился Элери, — мы как раз поспеем на следующее представление. И я на месте наглядно объясню вам, почему наш убийца не только не захотел отправить малютку Майру к праотцам при помощи пистолета, ножа, газа или молотка, но и не захотел повесить ее.

Часы Элери, однако, ввали. В «Метрополь» они ворвались в полдень, когда на экране уже показывали короткометражку, и сразу же помчались за кулисы.

— Нам нужен Келли или старикашка Перк, сторож. — бормотал себе под нос Элери, подталкивая отца по темному проходу. — Я хочу задать один, всего один вопрос...

Полицейский впустил их за кулисы. Там было пусто. Тренировались только Бринкерхоф и его новая партнерша. Могучий Бринкерхоф висел в воздухе, уцепившись ногами за трапецию, во рту он сжимал резиновый мундштук; под ним, зажав во рту другой конец мундштука, вертелась как волчок статная блондинка.

Элери сказал невесть откуда вынырнувшему Келли:

— Вот и вы! А где остальные?

Келли был, как всегда, пьян. Раскачиваясь из стороны в сторону, он загадочно ответил:

— Как же, как же!

— Соберите всю шайку в уборной Майры. У нас есть еще немного времени. Да, отец, мне не нужен этот вопрос. Я и так догадался...

Инспектор всплеснул руками.

Когда все приглашенные собрались в уборной иокой-

ницы, Элери прислонился к туалетному столику, окинул взглядом трубу огнетушителя и сказал:

— Будет лучше, если убийца признается сам... Потому что я знаю, кто убил Майру Бринкерхоф.

— Знаете, кто упил? — хрипло переспросил Бринкерхоф, но тут же замолк и тупым взглядом обвел присутствующих. Все молчали. Элери вздохнул.

— Вчера я спросил вас: почему Майру Бринкерхоф повесили, а не убили одним из четырех других, более удобных способов? Я доказал невиновность мистера Горди, объяснив, что убийца прибегнул к повешению, так как оно давало ему возможность использовать веревку — и соответственно — неповторимый узел Горди, но при этом я допустил одно серьезное упущение: ведь если находишь труп женщины, умершей от удушья, с веревкой вокруг шеи, естественно, предполагаешь, что ее повесили. И я просто-напросто упустил из виду, что повешение не только позволяет использовать веревку, но и дает возможность закрыть шею жертвы. Но зачем убийце понадобилось закрывать шею Майры веревкой? А вот зачем: веревка далеко не единственный способ удушить жертву; жертву можно удавить и пальцами, но от этого остаются следы, а душитель не хотел, чтобы полиция заметила эти следы на шее Майры. И он подумал, что тугие витки веревки не только закроют следы пальцев, но и уничтожат их — по чистому невежеству, разумеется, так как подобные следы уничтожить невозможно. Но он в это верил, и вот почему он, удушив Майру, повесил ее. Это было главным. А второй причиной, и только второй, было желание бросить подозрение на Горди, завязав веревку его неповторимым узлом.

— Да ты, Элери, спятил, — завопил инспектор. — Предположим, он задушил эту женщину. Но следы пальцев на шее никак не могут его выдать. Их нельзя сопоставить...

— Это так, — согласился Элери, — но зато можно заметить, как необычно расположены следы пальцев. А они идут не вверх, а вниз.

Присутствующие продолжали хранить молчание.

— Дело в том, джентльмены, — твердо продолжал Элери, — что Майру задушили, когда она висела вниз головой. А при каких условиях это было возможно? Только при двух: или, когда ее душили, она висела над убийцей вниз головой, или...

— Ja, — сказал Бринкерхоф, — ja¹. Это стелал я.

¹ Да, да (нем.).

Он повторял эту фразу безостановочно, как патефон, у которого заело иголку.

Бринкерхоф, сверкнув глазами, шагнул к Горди.

— Я вчера сказал Майре: «Майра, мы сегодня путем репетировать новый номер». А после второго представления я вижу, как Майра и этот Schweinhund¹ целуются за текорациями. Я слышу их разговор. Она меня натовала. Я все решать. Я упью ее, когда мы путем репетировать. Вот я ее и упил. — Гигант закрыл лицо руками. — А потом я вижу слеты пальцев на ее горле. Они итут вниз. Я знаю — так нельзя. Я перу веревка и закрываю слеты. Потом завязываю веревка узлом этой Schweinhund и вешаю ее.

— Тут все ясно, как апельсин, — объяснил Элери, — одно из двух: или женщина должна висеть над убийцей вниз головой, или убийца должен висеть над ней вниз головой. А значит, убийцей мог быть только акробат. И тут я вспомнил: Бринкерхоф мне говорил, что они остались репетировать новый номер... — Он замолк и задумчиво закурил.

— Жаль мне Бринкерхофа, — сказал инспектор, — а она, по-моему, получила по заслугам.

— Моральные аспекты преступления, — сказал Элери, — меня несколько не интересуют. Просто я вне себя от злости.

— От злости? Почему?

— Да потому, что наши приятели-газетчики начисто лишены воображения.

— Все шутки шутишь, — сказал инспектор, смиренно вздохнув. — Ладно, валяй объясняй, в чем тут шутка. Не томи старика.

Элери ухмыльнулся.

— Ни одному из газетчиков не пришел в голову самый подходящий, можно сказать, единственно возможный заголовок. Они просто-напросто позабыли, что одного из циркачей зовут Горди. Это надо же — Горди. Такого и нарочно не придумаешь.

— Ну и что же? — наморщил лоб инспектор.

— О господи! Да как они могли упустить случай сравнить меня с Александром и назвать статью «Как был разрублен Гордиев узел».

¹ Свинья собачья (нем.).

Франц Фюман

Жонглер в кино, или Остров мечты

Никогда я не видел его прежде и теперь знаю, что никогда больше и не увижу. Позвонили; был час пополудни и звонили так, как обычно звонили в это время. Я нехотя поплелся к входной двери из библиотеки, где рылся в анатомических книгах отца, строжайше запрещенных и на всякий случай припрятанных от меня (прежде я торопился, но теперь, через полгода после возложения на меня обязанности открывать дверь, я мог только тащиться), как вдруг вспомнил, что именно сегодня я не должен этого делать. Я был в квартире один: мама с прислугой и ассистенткой отца ушли в деревню по соседству, где обычно продавались самые сочные груши, а отец отправился с визитами на дом и раньше, чем через три часа, не вернется. Так что не повезло тебе, мой дорогой, там за дверью, я ничем не могу тебе помочь!

Но только я решил было вернуться к полкам, как вновь раздался звонок, и если первый был, как всегда, короткий и робкий, то теперь звонили настойчиво и громко. Ничего подобного еще не бывало. До сих пор обычно проходили минуты, прежде чем кто-либо из этих попрошайек, кланчивших оставшуюся у нас после обеда еду, набирался храбрости позвонить второй раз, но если он все же осмеливался, то прикасался к кнопке еще более робко, чем в первый раз. И вдруг запрет не открывать, если звонят, а я дома один, рассердил меня. Что случится? В конце концов, мне уже десять лет и следующей осенью я иду в гимназию!

Я вышел в переднюю и через матовый глазок входной двери с трудом разглядел худую фигуру. Кто бы это мог быть? Внезапно меня взорвало от всех этих запретов: не

играть с соседскими ребятами, потому что их родители фабричные рабочие и к тому же никогда не ходят в церковь по воскресеньям; не пачкаться, как остальные дети, которые, правда, носят латаную одежду и зимой в оттепель, не боясь испачкаться, съезжают с горы прямо на штанах; не ходить следом за шарманщиком, когда он бродит по улицам; не листать книги отца; не разговаривать с тем, кого любишь, и не выказывать своей неприязни тому, кого ненавидишь; но прежде всего от запрета присутствовать сегодня вечером на открытии первого в городе кино, где после краткой вступительной речи моего отца, председателя городского общества просвещения, будет показан фильм «Остров мечты». Остров мечты — ведь я любил мечтать так же, как любил сказки, я мечтал и днем и ночью, — и я должен от этого отказаться. И никому не могу открыть, если звонят, а я дома один? К черту, могу — как-никак мне уже десять лет и следующей осенью я иду в гимназию.

Внезапно — это случилось в какие-то доли секунды, — внезапно я ужасно возненавидел обязанность открывать входную дверь любому нищему, который позвонит; усаживать его на ступеньки и ставить ему на колени, по своему усмотрению, тарелку супу, порцию пюре, фрикадельки с соусом или что-нибудь другое; желать ему приятного аппетита, когда он, изголодавшись, набрасывается на еду, чавкая и жадно глотая. В этом и заключалась вот уже полгода повинность, которую на меня, нерадивого ученика, возложил отец, чтобы я каждый день видел, на какую ступень (буквально — это была восемнадцатая ступенька лестницы, ведущей от прихожей вверх к коридору жилого этажа, и застлана она была, как и вся лестница, палевой, уже довольно потертой тканью с узором лилий, редко разбросанных по ней), — итак, на какую ступень опускается человек, который ничему путному не научился и потому ни на что в жизни не пригодится. Сначала эта обязанность мне нравилась, и я был преисполнен усердия. Теперь я ее просто ненавидел.

Позвонили в третий раз; теперь я заторопился к двери, спешил и изнывал от желания, чтобы случилось что-нибудь необыкновенное и в мои однообразные, ограниченные запретами и приказами, как неприступными стенами, унылые будни вторглась восточная сказка и за дверью стоял Харун-аль-Рашид или Али-Баба с его заклинанием: «Сезам, откройся!» — и, может, даже сам Синдбад-Мореход, чтобы унестись со мной на всех парусах к Острову

мечты, — почему бы и нет, разве это невозможно? Я уже ухватился за ручку двери, как вдруг вспомнил, что отец часто предостерегал меня от злых людей, которые будто бы охотятся за детьми, но я никогда не мог представить себе, что скрывается за его словами. Что это значит: охотиться за детьми? И на мгновение мне даже захотелось, чтобы порог переступил убийца. Я жаждал приключений. Уж я бы ему показал! Как-никак мто десять лет и следующей осенью я иду в гимназию!

И вот я распахиваю дверь и вижу, крайне разочарованный, что выглядит он почти так же, как и все мужчины, которые обычно звонят к нам после обеда, — плохо выбритые, но чисто вымытые (это я вижу с первого взгляда!), в костюме, в котором стараются выглядеть прилично, хотя рукава, колени, карманы пиджака и, уж конечно, зад заштопаны; стоят опустив голову, уставившись на свои серые от пыли, ощерившиеся башмаки, и в этой смиренной позе стыдливо и тихо, запинаясь, выдавливают слова:

— Я хотел только спросить, молодой господин, не осталось ли чего-нибудь после обеда?

Тот, что стоял передо мной, был тоже небритый, но чисто вымытый, в костюме, у которого заштопаны рукава, колени, карманы пиджака и, конечно зад; его серые от пыли, разбитые башмаки словно осклабились, но голову он держал прямо и, вместо того чтобы смотреть на осклабившиеся носки своих башмаков., смотрел мпе прямо в глаза, и это привело меня в замешательство.

Я попятился.

— Я хотел бы поговорить с вашим отцом, молодой господин, — сказал он мне и ступил (никто еще не решался это сделать) прямо на порог.

— Тогда приходите в приемные часы, — ответил я. — Приемная на первом этаже, а прием начинается в три, но сегодня примут только тех, что записался предварительно!

— Мне нужно лично поговорить с вашим уважаемым отцом, молодой господин, — сказал человек и шагнул в коридор.

Вот когда я испугался.

— Отец вернется не раньше, чем через три часа, — сказал я.

И сразу понял, какую ужасную глупость я сказал. Мне стало вдруг так страшно, как не бывало никогда прежде. Это был страх мальчика, заблудившегося в лесу, где вот-вот появится волк, а охотник далеко. Человек затворил за собой дверь, петли ее тихо скрипнули, когда он ее закры-

вал, и скрип этот отозвался у меня внутри ноющей болью. Мне стало плохо. Замок защелкнулся с таким звуком, словно загремел засов в подвале людоеда. Мы были одни — он и я, и вокруг — немые стены. Внезапно я понял, почему нельзя открывать дверь незнакомым людям, если кроме меня никого нет дома. Мужчина шагнул ко мне. «Дяденька, почему ты так скалишь зубы? Почему у тебя такие большие глаза, дяденька? Почему у тебя когти на руках?» Человек подошел ко мне; я отступил, а он последовал за мной и был уже у двери единственной комнаты, из окна которой я мог бы еще позвать на помощь, если бы я, дурак, ее не миновал. Все другие окна, до которых я мог еще добраться, выходили в сторону двора или сада, где не было ни души. Внезапно я почувствовал то, чего раньше никогда не ощущал, — биение собственного сердца. Я отступал, с трудом переставляя ноги, к кухонной двери в конце коридора. Человек следовал за мной. Коридор сразу стал коротким, как мое дыхание. Все еще не выросла между ним и мной алмазная стена? Все еще не прилетел мне на помощь херувим с огненным мечом? От желудка к горлу, застревая в глотке, мучительно поднималось что-то тяжелое и давящее.

Я попытался глотнуть и задохнулся.

— Я могу дать вам жаркое из свинины с гарниром, — пробормотал я задыхаясь, — большой кусок жаркого, он лишний, мы ждали гостей.

И только я это проговорил, как кто-то другой во мне тотчас отметил эту мою третью глупость. «С минуты на минуту должны подойти гости, я уже слышу их шаги на лестнице — вот как нужно было сказать», — с глумливым смешком прошептал во мне этот другой, но я уже сказал все наоборот, а человек, не останавливаясь, подходил все ближе и ближе, не отвечая, пристально глядя мне в лицо.

Это был убийца, и он приближался ко мне. До входной двери уже не добраться. Единственная дверь в комнату, из окна которой я мог бы позвать на помощь, тоже была за его спиной. Оставалось еще одно: распахнуть кухонную дверь, быстро скрыться в кухне, захлопнуть за собой дверь, выпрыгнуть через окно во двор и, если кости останутся целы, удирать оттуда на улицу. Да, это был выход; я затравленно посмотрел на кухонную дверь и с ужасом увидел, что ключ торчит с этой стороны двери и, прежде чем я его вытащу, рука убийцы неминуемо настигнет меня. В том, что он убийца, я больше не сомневался, и теперь, когда было уже слишком поздно, я понял, как

оправданны были и мой неистовый страх и все запреты. Слишком поздно, слишком поздно... Меня бросило в жар, сознание мое помутилось. «Один шаг, мелькнула мысль, потому что я знал теперь, куда надо бежать,— еще бы один шаг», но в этот момент убийца почти вплотную придвинулся ко мне, и я не мог даже ногу оторвать от пола, чтобы сделать этот шаг, да и отступить было некуда, и тут я почувствовал спиной холодную сталь круглого дула револьвера: па кухне сообщник! Колени у меня подкосились; я начал оседать, ударился лопатками о что-то деревянное и, прежде чем окончательно рухнуть, понял, что спину мне буравит ключ в кухонной двери, и, не оборачиваясь, я все же попробовал схватить его дрожащими пальцами, но тут мужчина положил свою руку убийцы мне на плечо, и я наделал в штаны, но все же попытался собраться с силами, чтобы оттолкнуть его, но сил не было даже вздохнуть.

И тогда я подумал, что мне нужно упасть на колени и просить убийцу пощадить мою жизнь, но тут в коридоре вдруг совсем потемнело, и вот я уже больше не вижу убийцу, да и вообще ничего не вижу, а слышу лишь свое сердце и звон, и коридор тоже звенит, и пока он звенел, тьма расплылась, все посерело, а убийца упал передо мной на колени.

Все это произошло в течение каких-нибудь трех секунд, которые мне, однако, показались вечностью, вечностью удушливого, прерываемого тщетными надеждами забытья где-то между страхом и смертью, и вечность эта все еще длилась, и в то же время, как сквозь туман, я видел и убийцу — он лежал у моих ног бесформенным холмиком, а она простиралась до самых дальних пределов, куда только хватает глаз, подхватила, унесла ребенка, потом, неслышно шурша, вечность слилась со временем, и тут мне показалось, словно убийца что-то тихо шепчет, и, кажется, я даже расслышал слова «молодой господин», да, я слышал, что он это шепчет, но воспринимал его шепот безвольно, как вошенная полоска, записывающая звук. «Господин», — снова услышал я шепот человека на коленях, тут глаза мои опустились и встретились с его глазами; смотревшие незадолго до этого так убийственно неподвижно, они мерцали теперь в темноте, полные страха, а ухо мое отчетливо расслышало и его голос, который в смятении умолял: «Не убегайте от меня, пожалуйста, не прогоняйте меня, господин, убедительно прошу вас, выслушайте меня!»

Так звучит во сие голос избавления, и с этого момента я начал постепенно приходить в себя, почувствовал, как все еще в полуобмороке стою, прислонившись к кухонной двери, не ощущая своего тела, а предметы смутно двоятся, и коридор, и человек, стоящий на коленях, и я словно раскачиваемся в облаках, почему-то зеленых. Так мы провели некоторое время, паря в воздухе, а потом я почувствовал, и на этот раз не вздрогнув, ключ кухонной двери за спиной, и в тот же миг полет приостановился, а облака превратились в зеленые стены, и мне показалось, словно бы я очнулся во сне, а у моих ног стоит на коленях человек; и человек стоял-таки передо мной на коленях и, как только я взглянул на него, потупился совершенно так же, как и остальные, и устался на носок моего начищенного до блеска светло-желтого ботинка, а потом коротким сердитым рывком снова вскинул голову, но смотрел уже не в глаза мне, а мимо.

— Господин, — снова услышал я, как он опять стал говорить, и говорить все быстрее и быстрее, — господин, — все больше волнуясь, твердил он, — вы же всеобщий благодетель, вы — кормилец бедных и покровитель нуждающихся, вы — дающая десница нашего господя! Дорогой милостливый господин, прошу вас, будьте снисходительны и выслушайте меня!

— Вы можете поесть, — услышал я голос, который мог бы быть моим и который звучал, как далекое, замирающее эхо моих мыслей, и я не знал, во сне это или наяву, потому что все еще не совсем пришел в себя: и предметы воспринимал как расплывчатые пятна, и человека перед собой, и зеленые стены коридора тоже едва различал.

— Я могу дать вам свинину с гарниром, — услышал я свой голос; рука моя машинально нажала на ручку, дверь распахнулась, и запахи жаркого наполнили коридор.

Казалось, человек, вдохнув их, немного скорчился, однако он даже не взглянул на плиту, где заманчиво красовалось жаркое со всем своим гарниром, стоявшее на слабом огне.

— Прошу вас замолвить словечко перед вашим уважаемым отцом, господин, — продолжал он, — простите мое грубое вторжение, но вы моя единственная надежда!

Нет, это все же был сон!

— Разрешите мне кое-что показать вам, уважаемый господин, — попросил человек.

Голова моя кивнула. Человек все еще стоял на коленях, а я по-прежнему не ощущал своего тела.

— Не будете ли вы так добры включить свет, дорогой господин, здесь так темно, — попросил человек.

Выключатель находился на лестничной площадке. Спина моя отделилась от кухонной двери, и снова мне показалось, что я парю в воздухе, — я не замечал ни пола, который легко, словно во сне, скользил у меня под ногами, ни человека, которого случайно коснулся, проходя мимо; лишь когда я его миновал, и дверь в комнату с окном на улицу и даже спасительная входная дверь оказалась передо мной, и когда я коснулся выключателя, а через матовый глазок входной двери различил слегка расплывчатые контуры открытых ворот во дворе, лишь тогда я очнулся от своего забытья и ощутил пот на лбу, и тяжесть во всех членах, и пульсацию артерий, и дрожь в коленях, и давящую боль в желудке, которая медленно ослабевала, и услышал скрип половиц в коридоре, и ощутил под пальцами прохладный фарфор выключателя, и услышал свое прерывистое дыхание — я почувствовал все это с облегчением и сообразил, что спасен, понял, что пережил потрясающее приключение, но больше всего меня радовало, что я нарушил запрет отца, и тут я необычайно возгордился собой.

Я включил свет, и коридор ярко осветился, а человек резко вскочил на ноги и тот, кого я считал убийцей, превратился в волшебника, и теперь уж я твердо знал, что это был не сон. Он был настоящий волшебник: в одно мгновение он извлек из пустоты и уже держал между пальцев беленький шарик, потом подбросил его в воздух, одновременно из-за правого плеча достал другой такой же и тоже высоко подбросил, и в то время, как шарики, меняясь местами, перелетали из одной руки в другую, только чудом не сталкиваясь на вершине своей кривой, он внезапно извлек изо рта третий и запустил его в хоровод кружащихся шариков и тотчас присоединил к ним еще и четвертый, который на этот раз достал из-за левого плеча; и теперь в воздухе, казалось, без всяких усилий танцевали четыре шарика, четыре онемевшие от счастья, грациозно порхающие птички, волшебные комочки, пернатые без крыльев, беззвучное ликование, невесомые пушинки; а танец становился все быстрее и безудержней, и кружащихся шариков было уже не четыре, а шесть, потому что и обе руки мелькали в неистовом хороводе; они описывали вокруг головы мага круг, похожий на нимб; это было чудо; ничего подобного я никогда не видел. Разумеется, на ярмарках выступали и фокусники, и пожиратели огня,

и шпагоглотатели — представители колдовского мира, в котором, конечно, много таинственного и непонятного, но все, что я видел до сих пор из их трюков, было ничто по сравнению с этим захватывающим волшебством, которое потом закончилось так же удивительно, как и началось, — так же как в конце сказки тихо в молчание слушателей падают слова, так же с мягким стуком один за другим падали шарики в пустую правую руку; рука взметнулась еще раз и показала шарики, зажатые между пальцев; потом левая, не прикасаясь к правой, небрежным взмахом скользнула в воздухе и растворила шарики — они исчезли, исчезли! Правая рука разжалась — она была пуста, как и левая, каждая повертывала ко мне то внутреннюю, то внешнюю сторону ладони, а потом они снова улыбнулись, руки улыбались — ну не чудо ли? — а мужчина низко поклонился. Я захлопал в ладоши как одержимый.

— Я буду весьма признателен, если вы вернете мне птичек, — сказал человек, порывисто шагнув ко мне, — потрудитесь поискать у себя в карманах!

Руки мои скользнули в карманы. О чудо — в каждом кармане лежало по два шарика. На мгновение меня охватил страх, но только на одно мгновение — чудесный танец был так красив, дарил столько счастья, что человек этот просто не мог быть злым волшебником. Попроси он сейчас позволения скрутить меня, завязать мне глаза, я спокойно, без малейших колебаний и подозрений доверился бы ему. Но этого он от меня не требовал — он, который мог теперь требовать все, что угодно, начал снова просить, и постепенно мне стало ясно, что ему нужно от меня. Если бы мой отец, так говорил он, мог бы предоставить ему возможность показать вечером перед началом киносеанса свое искусство, и не замолвлю ли я за него словечко.

— Ах, уважаемый господин, — запинаясь говорил он, — если бы мне удалось собрать небольшую сумму денег, пусть даже малую — все же это было бы начало; мне необходимы два обруча, нужны и рубашка, и галстук; вы даже не представляете себе, молодой господин, что это значит — хорошо выглядеть. Дал бы каждый хотя бы по паре геллеров, было бы уже кое-что; открытие кино — такое бывает не каждый день, и это было бы моим шансом, господин, моим шансом, моим шансом, — умоляю вас!

Я повел его на кухню, хотя это было строжайше запрещено, отрезал свою долю жаркого, поверх мяса положил горкой гарнир и пододвинул человеку, который одним махом проглотил эту порцию и вслед за ней еще две такие

же. Отца, который вернулся домой в хорошем расположении духа от быстро поправившегося, вопреки всем ожиданиям, пациента, мне не пришлось долго уговаривать. В хорошие минуты он был способен кое-что сделать для людей искусства и даже просто для бродяг, ведь самого себя он считал художником и поэтом (по воскресеньям рисовал виды гор и лугов, написал либретто к опере «Дева-лебедь»), и мой полный энтузиазма рассказ тронул его настолько, что он, обычно такой властный, строгий и неумолимо карающий, простил мне мои грубые промахи (о том, что я провел человека па кухню, я умолчал) и даже позволил присутствовать сегодня вечером на выступлении этого волшебника и посмотреть первую часть фильма.

— Хотя ты сделал нечто совершенно непозволительное, что могло бы стоить тебе жизни, и мне, строго говоря, следовало бы наказать тебя двумя неделями домашнего ареста, — говорил он, — но коль скоро все так счастливо обернулось, не будем больше омрачать радость этого дня!

Потом он сказал, что у каждого человека, даже и у этого шута, есть в жизни право на свой шанс, а я спросил его, о чем не хотел спрашивать волшебника, что это, собственно, такое — шанс.

— Это возможность для человека показать, на что он способен и чего он может достигнуть. Вот этот шанс мы ему и дадим! — пояснил отец.

Я невыразимо гордился своим отцом. «Мы дадим ему шанс», — сказал он. Мы — он и я! Мы сидели в комнате для мужчин, в массивных кожаных, как в клубе, креслах, у бронзового столика для курения, и отец дымил гаванской сигарой, а я вдыхал ее аромат и, чувствуя себя совсем взрослым, давал ему, фокуснику, шанс, и мысль об этом словно уносила меня на Остров мечты; и, утонув в кресле, уже едва различая наставительные речи отца, что я не должен все же быть таким распушенным и вести себя как шалопай, я, изнемогая от усталости, задремал.

А вечером кинозал (в этом помещении раньше был склад) наполнился гулом голосов, запахом духов и шуршанием вечерних туалетов; на бледно-голубых стенах висели в овальных рамах портреты улыбающихся женщин и сияющих мужчин, а передняя стена зала вся была затянута занавесом, переливающимся всеми цветами радуги. Билеты были распроданы; собрались все сливки общества нашего маленького городка, и я был единственным ребенком, присутствующим на этом торжестве, единствен-

ным из сотни, и даже сына бургомистра, который был настолько старше меня, здесь не было. В эти минуты за отца я позволил бы распять себя на кресте. Я искал глазами своего подопечного, фокусника, которому мы давали шанс, но не увидел его. Пианист сыграл марш, потом на сцену вышел мой отец; слегка опершись на рояль и сунув левую руку в карман пиджака, он произнес короткую речь.

— Об огромной тяге дорогих сограждан к искусству, — говорил он, — свидетельствует сооружение в честь муз и самой юной их сестры, кинематографии, в столь тяжкие годы экономического кризиса, этого прекрасного храма, к вящей радости, развлечению и назиданию граждан.

Потом пианист сыграл туш, а отец заявил: он надеется, что выразит желание всех собравшихся, если позволит одаренному, находящемуся здесь проездом артисту показать свое искусство — такое выступление будет, по его мнению, вполне уместным. Великолепный занавес раздвинулся, мой подопечный вышел на сцену, поклонился, но не так низко, как тогда мне. Я сидел рядом с отцом в первом ряду, которому тогда в кинематографе отдавалось предпочтение; мой подопечный стоял прямо напротив в каком-нибудь метре от меня, и я ободряюще кивнул ему. Публика великолепно заплодировала; мой подопечный поклонился еще раз, и тут мне показалось, будто он делает над собой какое-то усилие; лицо его как-то странно изменилось, напряглось, а руки ослабли, и шарик он извлек совсем не так, как я ожидал, — из пустоты за плечом; он достал его из левого кармана пиджака, а другой — из правого, а третий извлек, уже перебрасывая оба шарика из руки в руку, к удивлению моему, не изо рта, а из-за расстегнутого воротничка рубашки, и хотя, судя по-всему, он ограничился только тремя шариками, один он упустил, и тот, а за ним и остальные упали подбитыми птицами и показались по залу. Жонглер стал белым как полотно, а я почувствовал, как меня что-то кольнуло в сердце.

— Ну-ну-ну, не надо так волноваться, это бывает, — успокаивающе сказал отец, сказал громко, и мое восхищение и любованье им, вспыхнувшие незадолго до этого, разгорелись с небывалой силой.

Один из шариков подкатился к моим ногам; человек нагнулся за ним; он почти встал передо мной на колени, и тут я увидел, как на лбу у него выступили большие капли пота, как дрожат его руки и он, я увидел это почти с отворачиванием, едва сдерживает резкие приступы рвоты. Не-

смотря на этот срыв, публика, не считая нескольких смешков, оставалась благожелательно-спокойной даже тогда, когда вторая попытка не удалась так же, как и первая, но я решил не волноваться, я твердо верил в своего волшебника, больше того — я был убежден, что он просто представляется таким неловким, чтобы потом неожиданно поразить публику ни с чем не сравнимым чудом. Я верил в него, хотя он снова нагнулся, чтобы поднять укатившийся шарик; я верил в него и не сводил с него глаз; я хотел, чтобы он посмотрел на меня, почувствовал мою неколебимую веру в него и его мастерство; и вот он, с шариком в руке, взглянул на меня, и я ему улыбнулся, а он попытался улыбнуться в ответ; и тут я с ужасом вдруг увидел, что улыбка эта больше похожа на жалкую, беспомощную гримасу, маску ни с чем не сравнимого страха; и, еще ничего не понимая, совершенно растерявшись, я почувствовал, и на это раз с неопровержимой уверенностью, что волшебник этот на самом деле не настоящий и что — ощущение неловкости положения было мне еще незнакомо — происходит нечто ужасное; и тут меня захлестнул бушующий поток — чувство жгучего стыда. Ведь он же был подопечным; это же я рекомендовал его отцу, а он, полагаясь на меня, представил его публике; и потому любой позор этого человека, который кажется публике позором моего отца, в действительности — мой позор, и я стыжусь этого почти до смерти, и мне стыдно, что я поставил своего замечательного отца в такое сомнительное положение; я подумал, что теперь мой долг — встать и, чтобы оправдать отца, объяснить все происходящее; ну а если дрожащие руки человека упустят шарики и в третий раз, я вскачу, схвачу его за шиворот и выволоку вон из зала, крича и бранясь, отплевываясь и проклиная, что вступился за такого подлого типа, жалкого обманщика и плута; однако человек, подавляя рвоту, почти приступ, устало сунул шарики в карман, поставил на голову старую шляпу углублением вверх, извлек откуда-то из-за кулис теннисный шарик, положил его на ошерившийся носок башмака, чтобы, содрогаясь от ледяного холода молчания, перебросить его в шляпу, а когда и этот и в самом деле очень простой трюк закончился плачевно, мой стыд внезапно сменился другим, куда более мучительным — состраданием. Только сейчас, но на этот раз с чувством гневного разочарования, я понял, что никакой он не волшебник, а всего-навсего обычный человек, совсем такой же, как я; но зато теперь я чувствовал, что человека этого здесь публично истязают, больше того — что-то уби-

вают в его душе, и сердце мое разрывалось от горя, а сочувствие к такому похожему на меня человеку было таким сильным, словно это не он, а я стоял перед затаившейся, глумливо-враждебной публикой и отдавал себя ей на суд; это же был я, дрожащий, уже не похожий на человека, смешное, жалкое существо, совершенно беззащитное перед толпой, застывшей в ледяном молчании, это же я во второй раз положил шарик на ощерившийся носок башмака, зная, что все равно не попаду в шляпу, и я же сидел в кресле первого ряда; и стыд и мучения истязуемого были настолько моими, словно я был на его месте; мне захотелось ринуться прочь, вырваться отсюда, забиться в заросли латука у ручья или взобраться на скалу и, прыгнув, разбиться насмерть, мне хотелось, чтобы меня поглотила земля, но я сидел в кресле, поверженный стыдом, как никогда до сих пор ни одним противником, а жонглер снова кинул шар мимо шляпы, потом, устало наклонив голову, сбросил шляпу на пол и, не поднимая ее, полузакрыв глаза, медленно пошел к двери по длинному, как коридор, боковому проходу, и тут, как по уговору, грянули аплодисменты и раздались возгласы: «Браво!», «Бис!», «До свидания!», «Приезжайте снова!», а вслед за этим посыпались монеты, просто дождь геллеров; это и был сбор — то, чего ему так хотелось, настоящий капитал, монеты, которые барабанили по спине, груди и голове человека, а я подумал, что вряд ли когда-нибудь у него была хоть малая толика из всего этого и теперь ему нужно только нагнуться, чтобы собрать этот урожай побивающих геллеров; и мысль эта немного успокоила меня; но человек шел, даже не дрогнув, очень медленно, не оглядываясь, шаркающей походкой к выходу, и в этот момент я понял его.

Он был волшебник и всех их подверг испытанию, а они не выдержали его; только мне одному показал он, на что способен, и теперь он уходит, чтобы никогда не вернуться в эти места, где не оценили его! Ой, он же уходит, и мне нужно с ним! Все страдания моей десятилетней мальчишеской жизни, а это были не голод, нужда и лишения — напротив, ужасающая сытость, заранее исключаящая любое чудо; робкое ожидание исполнения несбыточного; ее-то я и оплачивал жизнью, застывшей, как в стенах, среди запретов и приказов отца, который глубоко сознавал свое общественное положение. Эти стены, несмотря на все презренное богатство за ними, скрывали пустоту и холод буржуазного мира, замыкали меня в кругу моей тоски;

все страдания всколыхнулись теперь во мне и подталкивали броситься за человеком, упасть перед ним на колени и просить о прощении за то бесчестие, которое ему причинили, просить прощения и за отца, который — я мог бы задушить его за это — кричал басом: «Не забудьте свой великолепный цилиндр, вы, артист!» — и при этом сделал перед бесновавшейся публикой жест извиняющий и изящный и потому в еще большей степени унижительный; броситься за ним, поспешить ему вдогонку, упасть перед ним на колени и умолять его взять меня с собой, увести отсюда прочь, туда, где я мог бы стать самим собой, как все остальные дети, где можно быть грязным, играть с детьми фабричных рабочих и крестьян, обнимать друзей и давать пощечину врагу, даже если там не каждый день будет жаркое, и фрукты, и шоколад, даже если не будет комнаты для мужчин с кожаными креслами, как в клубе, и бронзовым столиком для курения; прочь из родительского дома, который при всем своем изобилии в съестном, в платье и подарках был чудовищной тюрьмой и который я просто ненавидел горячей ненавистью, так, как ненавидел теперь и ежедневное жаркое, и ежедневный шоколад, и кожаные кресла, и столик для курения; мне хотелось уйти прочь и только прочь, в мир, где приключения, чудеса, привидения, где голодают, и мерзнут, и страдают и где кусок хлеба превращается в лакомство, туда, поближе к Острову моей мечты, где столько таинственного. Теперь я завидовал и восхищался всеми, кто когда-либо присаживался на лестнице моего родительского дома на верхней ступеньке, обтянутой палевой, уже немного поблекшей тканью с узором лилий, редко разбросанных по ней, и жадно поглощал остатки обеда; я завидовал и восхищался ими в такой же мере, как презирал чистенького, высокомерного, молодого нахала, который просил их присесть на ступеньку и кормил объедками, как презирал барственного отца, который принудил его, с целью исправления ленивого ученика, к этой отвратительной обязанности; мне хотелось бежать, и я знал, что это — единственный и последний шанс. Это был шанс, но я уже знал, что потерял его и никогда больше не соберусь с силами вскочить и последовать за этим человеком.

Свет погас, смех затих, пианист заиграл томный вальс, занавес раздвинулся — и в таинственных сумерках показался широкий белый экран; что-то загудело и зажужжало, метнулся пучок света, и в то время, как — о чудо из

чудес! — на экране скользили в танце живой мужчина во фраке и живая женщина в великолепном платье, зал еще раз прорезала полоска дрожащего света; жонглер открыл дверь и, выйдя на улицу, снова закрыл ее за собой, и я знал, что безвозвратно утратил свой шанс и никогда больше не увижу этого человека, но пока я горевал об этом, испытывая почти сладостную боль, с возрастающим восхищением я начал различать, как на экране после танцующей пары вдруг возникли качающиеся пальмы, и море, и заросли алтеи, и мачты кораблей, и все это видел я, я — единственный ребенок из всего городка, и был обязан этим исключительно отцу; я отыскал его руку, чтобы благодарножать ее, а в это время на экране корабль снимался с якоря и уносил меня в никогда еще не виданные южные моря, к цветущему берегу и коралловым рифам...

Кусочек тюля

Марта любила чувствовать под ногами землю. В ее устойчивости было что-то успокаивающее. С нее не упадешь, она не перевернется, и вообще не о чем беспокоиться, кроме тех кратких мгновений, когда пересекаешь площадь Пигаль.

Разумеется, Марта Жирар вовсе не боялась балансировать в воздухе. Она никогда не стала бы одной из лучших акробаток Франции, если бы хоть раз в жизни испугалась высоты.

И никогда бы не довелось ей выступать в знаменитой цирковой труппе супругов Мартен, разъезжавшей по всей стране.

Акробатами были ее отец и дед, и, можно точно сказать, Марта начала учиться акробатическому искусству раньше, чем стала ходить, когда, лежа в белье в корзине, глядела, как отец упражняется на параллельных брусьях. Тень его причудливо металась по стене, и тайны полета проникали ей в кровь, а когда она наконец подросла и сделала свои первые шаги, жизнь ее уже подчинялась неосознанному ритму.

Мать Марты не без причины тяготилась своим пребыванием на этой земле и постаралась покинуть ее как можно скорее, так что Марта росла в цирке среди тюленей, клоунов и пони, с собакой, которой нравилось, что ее наряжают быком и заставляют притворно бодать резвящегося матадора. Мамаша Мартен одинаково легко приняла и собаку и девочку в свою большую шумную семью, где с утра до вечера каждый старался отличиться перед другими, а жизнь состояла из репетиций перед представлениями и ссор после них.

Больше всего на свете Марте нравилось кувыркаться на мягком коричневом ковре в стороне от конских копыт и смотреть на артиста, который держал на носу столик с четырьмя бокалами по углам. Иногда Марте везло, и уставшая ассистентка разрешала ей подавать артисту сперва бокалы, а потом и цветочную вазу, которую он ставил на середину стола.

А потом выезжал велосипедист; Марта глаз не могла оторвать от него, когда он мчался по гладкой арене на одном велосипеде и накручивал педали второго, поставленного торчком на переднее колесо, или катил на заднем колесе, подняв велосипед на дыбы. Он творил настоящие чудеса с этой старой машиной, которая чуть не разваливалась на части! Он превращал ее то в ковер-самолет, то в сверкающую молнию. Стальной велосипед становился в его руках податливым как воск.

В раннем детстве Марте казалось, что это сам велосипед обладает такой удивительной легкостью, но, когда она подросла, села в седло и сразу свалилась, ей стало ясно, что в самой машине нет ничего волшебного. Все дело в жестоком, дерзком, мучительном желании актера иметь успех у публики.

Но о жажде успеха Марта еще долгое время знала не больше, чем о велосипедах. Для нее жизнь была полна чудес, а чудеса остаются чудесами независимо от того, совершаются ли они с напряжением всех сил или творить их так же легко, как цирковой лошади взмахнуть хвостом.

С четырех лет отец начал приучать ее работать на турнике. Марте приходилось повторять упражнения снова и снова — так, что ручонки ее сводило от боли, а спину жгло, словно раскаленной проволокой. Когда же наконец отец гладил ее по головке и говорил: «*Assez done \ умница!*» — она чувствовала себя вполне вознагражденной.

В цирке было всего три женщины, но чего стоила одна мамаша Мартен! Ее и женщиной назвать было трудно! Настоящая гроза актеров, она железной рукой бралась за дела папаши Мартена, если ему требовалась помощь. Две другие дамы не представляли собой ничего примечательного, вечно думали лишь о себе и своих выступлениях.

Одна из них, в белом атласном наряде и белых сапогах, ездила на самой умной в мире лошади с таким видом, будто лошадь эта без нее ничего не стоит. Но папаша Мартен любил повторять:

¹ Довольно (*франц.*).

— Женщину, которая захочет рядиться в белый атлас и ездить на подушечке, можно найти на любом углу. Но лошадь, которая умеет танцевать, чувствует ритм и раскланивается перед публикой,— вот это поистине дар божий, да и то ее надо лет двадцать дрессировать!

Другая дама была еще менее примечательна и невыносимо уныла. Она искала утешения в джине, потому что своего номера она не имела и довольствовалась тем, что, наряженная в костюм с серебристыми блестками, несколько раз подавала руку велосипедисту во время выступления.

Затем она одевала что-нибудь попроще и ассистировала жонглеру, державшему на носу столик.

— Собачья жизнь,— с горечью говорила она Марте.— Право, если бы мне не платили за то, что я поддерживаю этих мужчин, плохо бы им пришлось! Они без меня ничего не стоят, но кто этому поверит? Хотела бы я посмотреть, как они справятся без меня! Тогда публика поняла бы наконец, что к чему!

Потом Марта поступила в школу, но проучилась там недолго. Над ее головой разразилась гроза, олицетворяемая мамашей Мартен, и Марта вернулась в цирк, где все чаще и чаще ей приходилось учиться сохранять равновесие и придавать своему тонкому стройному телу гуттаперчевую упругость.

В семь лет Марта впервые встала на проволоку.

— Стоять на проволоке,— говорил ей отец,— так же просто, как на лестничной площадке; в этом все дело, *vois-tu*? Она не провалится, не рухнет, она всегда удержит тебя в воздухе! Ну а тогда зачем же с нее падать? Ведь у тебя ноги в порядке, правда? Щиколотки? Колени? В порядке! Так я и думал!

«Может быть, тогда не в порядке голова?» — задавала она себе вопрос.

— А что должно быть в моей голове, папа?

— *Mon enfant*², слушай меня внимательно — ни-че-го! В голове не должно быть ничего, кроме смелости!

Мамаша Мартен слышала это, но все же настаивала на сетке.

— Ребенок есть ребенок! — втолковывала она папаше Мартену.— Что будет, если она посмотрит вниз? Шею ломают только один раз!

¹ Понимаешь? (*франц.*).

² Дитя мое (*франц.*).

— Да не станет она смотреть вниз — не такая это девочка! — ворчал папаша Мартен.

Но все же он натягивал сетку до тех пор, пока однажды отец Марты не сказал ему очень серьезно:

— Вы расстроите ей нервы, топ реге! ¹ Вы не хуже меня знаете, что единственный способ сберечь шею — это рассчитывать только на себя!

Папаша Мартен согласился, и однажды, когда мамаша Мартен стряпала какое-то лакомое блюдо, поглотившее все ее внимание, он убрал сетку, и Марта осталась наедине с высотой.

Вот с этой минуты она и полюбила землю под ногами, но никогда никому она не рассказывала о своей постыдной страсти.

С четырнадцати лет Марта начала выступать с отцом.

Тогда же она узнала еще кое-что о жажде успеха, но немного, потому что работала не столько она сама, сколько ее отец.

Когда Марта отталкивала от себя трапецию и бросалась навстречу трапеции, посланной отцом, она знала, что обязательно с ней встретится. Отец готов был отдать за Марту всю кровь, до последней капли. Он не хвалил ее, не бранил, не требовал от нее больше, чем она могла сделать. Но он всегда первым оказывался наверху, спокойно и ровно считал ей, и Марте оставалось только вовремя действовать. Если ей требовалась поддержка, толчок или мгновенное прикосновение, которые обеспечивали безопасность, она неизменно получала их.

Когда Марта подросла, отец научил ее считать самостоятельно. Его трапеция теперь находилась дальше от нее. Воздушная пропасть разделила их.

Но Марта должна была только равномерно считать, и тогда ноги, руки и все ее гибкое тело двигалось слаженно на счет, которому она научила его подчиняться. Отец делал свою работу, но Марта чувствовала, что одновременно он делает и ее работу — он следил за каждым ее движением.

В конце номера отец давал последнюю команду. Веревочная лестница оказывалась рядом, и Марта спускалась на арену, а целое море лиц и шквал звуков приветствовали ее снизу.

Марта помнила, что, пока она не окажется внизу, лица эти не имеют для нее значения. Она не должна слы-

¹ Папаша! (*франц.*).

шать аплодисменты, пока не встанет на коричневый ковер, разгоряченная и улыбающаяся. Тогда она могла раскланиваться, посылать воздушные поцелуи и принимать проявления восторга. Но никакие аплодисменты не могли сравниться с ощущением устойчивого коричневого ковра под ногами. На время выступления натягивали сетку, но не для Марты, а ради спокойствия публики.

— Знал я одного человека, — рассказывал ей отец, — который упал в сетку и задохнулся, запутавшись в ней, но никогда не слышал, чтобы кто-нибудь упал из-за того, что сетки не было!

В холодный январский день (Марте уже исполнилось шестнадцать) отец сильно простудился и тяжело заболел — в бреду он пытался удержаться на невидимой проволоке — его забрали в больницу, и отца не стало.

Марта увидела его перед смертью. Задыхаясь, он прерывисто прошептал ей:

— Никакая беда не случится с тобой, если ты не будешь бояться, если сама не накличешь беду!

А потом с ним случилась беда. Но так как Марта знала, что он ничего не боялся, то предположила, что он сам накликал ее. Ему было сорок, а какая жизнь у акробата после сорока лет?!

Долго Марта видеть не могла трапеции.

Папаше Мартену пришлось взять двух новых артистов для работы на трапеции, но успеха они не имели.

Он по-прежнему платил Марте, потому что весь день она проводила в цирке: помогала мамаше Мартен поддерживать порядок, кормила зверей, готовила, чинила одежду, улаживала ссоры, носилась по поручениям, как крылатый Меркурий.

— Все это хорошо, — сказала однажды мамаша Мартен, — но у малышки есть талант. Что-то надо придумать.

В то время они давали представления в Марселе. Папаша Мартен почесал затылок, поворчал и отправился в кафе «Каннебьер», где всегда можно было найти кого угодно — от алжирских акробатов до розово-белых английских гардемарин — и где представители почти всех профессий, включая убийц и даже одного-двух святых, слонялись, готовые взяться за любую работу.

Папаша Мартен вернулся к *dejeuner*¹ с гладко выбритым молодым человеком, своей вкрадчивостью напоминавшим кота.

¹ Завтрак (франц.).

— Марта, — сказал он, — познакомься с Жаком Бейли — теперь он будет твоим партнером. Сегодня же начинай репетировать, в воскресенье ты с ним снова выступишь.

Марта, которая в этот момент разливала акробатам ужасное алжирское варево, засмотрелась на молодого человека и обожгла пальцы о горячую тарелку. Жак был невысокого роста, но с гибкой, ладно скроенной фигурой, и она с первого взгляда поняла, что перед ней истинный акробат.

Взгляды их встретились, и он поспешно отвел глаза.

Марта предпочитала людей с ясным и прямым взглядом. У ее отца глаза были голубые и безмятежные, как летнее небо, они никогда не лгали. А эти бархатистые, бегающие глазки загадочны и коварны; такой партнер вряд ли будет рисковать собой ради тебя под куполом цирка.

И все-таки Жак — прекрасный акробат, знаменит, и публика его любит.

К счастью, Марта не успела потерять спортивную форму за последние полгода, так как не пропускала ни одной возможности потренироваться дома на турнике утром и вечером. Она понимала, что значит для акробата потерять гибкость тренированных мышц! Когда она представляла себя на трапеции без отца, у нее сжималось сердце, по даже это не могло заставить ее сделать такую *betise*¹, как пренебречь тренировкой!

Жак предложил Марте новый большой номер — нечто, как он объяснил, более легкое и в то же время более интересное, чем все, что она делала до сих пор. В этом номере должна быть лестница, вращающаяся вокруг стальной перекладины. Марта стоит на середине лестницы и удерживает ее в равновесии, а Жак раскачивается на трапеции, подвешенной к лестнице. Он качается на руках, потом убирает одну руку и, наконец, держится только зубами с помощью зубника, который он приладит во время выступления, пока Марта будет продолжать удерживать лестницу в равновесии и считать ему.

Потом он взбирается на лестницу, проскальзывает между перекладинами на одном ее конце, а Марта — на другом, и они несутся как кометы, надежно укрытые перекладинами.

— Видишь, все очень просто, — любезно объяснял

¹ Глупость (франц.).

Жак. — Счет, равновесие, немного тренировки — так же легко, как приготовить вкусный обед!

И он послал мимолетную обворожительную улыбку мамаше Мартен, которая довольно холодно взглянула на него поверх тарелки и сухо произнесла:

— Вы полагаете, что готовить легко, не так ли, молодой человек? В таком случае я не берусь готовить вам обеды!

Как только большая семья мамы Мартен, закончив завтрак, начала ссориться из-за сигарет, Жак увел Марту в цирк и показал ей вращающуюся лестницу.

Марту взволновали слова Жака о том, что от ее умения держать равновесие на этих длинных тонких качелях зависит его безопасность.

Вскоре она убежала переодеться в трико телесного цвета и короткую тюлевую юбочку с блестками, и Жак стал учить ее уравнивать его вес на трапеции со всеми изменениями, соответствующими каждому его движению. Они тренировались целыми днями, делая краткие перерывы, чтобы умыться и дать отдых ноющим мышцам.

Если на арене шло представление, они отправлялись к Марте в мансарду и тренировались там.

В воскресенье Марта уже могла выступить, но это был трудный номер, требовавший хладнокровия, сообразительности и постоянного напряжения всех ее сил. Пока Марта выступала с отцом, она даже не задумывалась, есть ли у нее эти качества. Вся тяжесть номера ложилась на плечи отца, а Марта, не задумываясь, выполняла свою программу.

Но этот молодой человек требовал от нее самостоятельности. Никакой помощи от него она не получала.

В их номере Марта не могла предусмотреть всего. Жак был осторожен и умен, но вес его менялся от выступления к выступлению. Он мог двигаться чуть медленнее обычного, или дольше прилаживать зубник, или во избежание риска быстрее обычного возвратиться на лестницу. Все эти небольшие изменения веса и времени Марта должна была учитывать. Их благополучие зависело от гибкости ее ума и тела. Номер висел на волоске. Если Марта переместится слишком далеко в сторону Жака, /Как не сможет вернуться. Если же она перепесет тяжесть своего тела слишком далеко назад, лестница перевернется вместе с ней.

Разумеется, можно было падать сколько угодно, пока они тренировались на небольшой высоте. Сами по себе

легкие падения на мягкий коричневый ковер даже вселяли уверенность. На этих ошибках они учились дерзать безнаказанно. Но на высоте, под куполом цирка, ошибаться нельзя. Там все должно идти абсолютно точно, как хорошие часы!

Марта иногда задумывалась: а знает ли папаша Мартен, как опасен новый номер? Но спрашивать ей не хотелось. Жак знал, что, когда висишь на зубнике, опасения тех, кто находится в сравнительной безопасности, стоя на ногах, не вызывают сочувствия. К тому же Жак и не отличался отзывчивостью и добротой. Во время репетиций он разговаривал с Мартой очень грубо.

Однажды он пошел с ней в «Каннебьер». По его хмурому виду Марта решила, что он опять собрался ругать ее, и сердце у нее заныло. Когда Жак выговаривал ей со злостью, у нее появлялось такое же ощущение, как во время выступления без сетки.

Однако на этот раз он не ругал ее; в углу большого кафе он положил ей на плечо руку и процедил сквозь зубы, как бы против воли:

— Марта, *je t'aime!*¹

Ну конечно, Марта понимала, что означает такое признание. Прожить семнадцать лет в цирковой труппе — и не разбираться в таких вещах!

Не отвечая, Марта заглянула в его бегающие глаза. Они были беспокойные, злые, возбужденные и как будто голодные.

Она переминалась с ноги на ногу, пока его стальные пальцы сжимали ей плечо, и пыталась понять выражение его глаз.

— *Alors!*² — сказала наконец она и засмеялась, потому что девушки в их квартале всегда отвечали «*alors!*» и смеялись, когда молодые люди говорили им «*je t'aime!*».

— Я пойду с тобой потом, ночью, в твою комнату, — почти мрачно продолжал Жак, — и останусь с тобой — понятно?

Теперь Марта не смеялась: предложение оказалось серьезным. Жак собирался не только провести с ней ночь, а остаться жить с ней — стать ее постоянным любовником.

Такого с Мартой еще не случалось. Она легко могла бы завести любовника, но почему-то жила одна.

¹ Я люблю тебя! (*франц.*).

² Ну и что! (*франц.*).

Смогут ли они работать вместе в таком трудном номере, если она ему откажет? Нельзя выступать на трапеции с партнером, который таит на тебя обиду.

А кроме того, Марта чувствовала, что было бы стыдно отказать прекрасному акробату в таком пустяке, как любовь!

К тому же Жак может вообразить, что она невинна и ничего не знает о жизни, а когда вам семнадцать, можно ли мириться с мыслью, что вас считают невинной? И после долгой паузы она сказала:

— Tiens! ¹ Я хочу купить что-нибудь на ужин.

А Жак ответил:

— Ну что ж, я пойду с тобой!

Они купили сыра, салата, редиса, яиц, пирожных с кремом и апельсинов — великолепный ужин; с ворохом пакетов и бутылкой вина в руках они поднялись по бесчисленным лестницам, ведущим во временное жилище Марты.

Внизу под ними в мягких сумерках светились огни Марселя, как глаза дружелюбных зверей, а в мансарде разливался горячий и сладкий запах герани, как будто цветы на подоконнике хранили солнечное тепло.

Они ели и пили, смеялись и спали, а утром вернулись в цирк.

После этой ночи Марте стало легче работать с Жаком. Так или иначе, она всегда знала, что сделает Жак в следующую минуту. Это знание давалось ей без труда. Ее жизнь напоминала ритмический танец, который она видела в детстве на стене.

Но Жак, казалось, совсем не изменился. Часто он точно так же раздражался, а в его глазах таилось странное выражение — недоброжелательность, что-то почти похожее на зависть, которое Марта не понимала.

Папаша Мартен был ими доволен и стал платить им больше. В цирке на их долю выпадал самый большой успех; только клоун с мировой известностью, который как-то приехал к ним погостить, затмил их на время.

Однажды этот великий гений соизволил заговорить с Мартой. Он сказал ей:

— Хотел бы я посмотреть на птичку, которая могла бы научить тебя чему-нибудь!

Жак сердился, когда ему повторяли слова знаменитого клоуна о Марте, потому что о Жаке он не сказал ничего. А ведь Жак мог висеть на трапеции, держась одними зу-

¹ Послушай! (франц.).

бами, и вообще был единственным человеком во Франции, а может быть, и во всем мире, который выполнял такой трюк.

На следующий день Жак подошел к Марте и сказал:

— Марта, будем выступать без сетки. Я уже предупредил папашу Мартена. Такие вещи устарели. Зрители не получают удовольствия. Им нужны острые ощущения. До моего прихода сюда я никогда не видел, чтобы пользовались сеткой помимо тренировок. Если выступать с сеткой, то, собственно говоря, чем я лучше какого-нибудь молодого человека, поднимающегося по лестнице метро?

Марте вдруг стало нехорошо, ее залихорадило, но, конечно, она согласилась. Не могла же она допустить, чтобы Жак чувствовал себя не лучше молодого человека, поднимающегося по лестнице метро.

Мамаша Мартен очень рассердилась, узнав, что сетку решили убрать.

— Это все прихоти этого молодца, — сказала она Марте. — Если ты не хочешь, можешь не соглашаться. Папаша Мартен тебя поддержит.

Но Марта уже согласилась, потому что, приняв мужчину в сердце, нельзя не принять его малейшей прихоти.

Теперь представления давались ежедневно, а по воскресеньям, четвергам и субботам — по два представления; на следующей неделе они покидали Марсель.

Теперь Марта тщательнее обычного натирала подошвы своих мягких туфель канифолью и делала более глубокий вздох перед подъемом по веревочной лестнице. Немного дольше, чем раньше, стояла она, прямая и стройная, успокаивая неустойчивую лестницу, прежде чем пригнуться для равновесия и пропустить Жака к трапедии.

Даже Жак двигался теперь медленнее, выполняя элементы своей опасной программы с изящной и обдуманной плавностью, пока Марта своим ровным счетом оберегала его и себя от опасностей; а под ними царила безмолвная пустота.

Теперь, оказавшись внизу, Марта больше прежнего любила землю,

Но кое-что она любила еще больше, чем землю, даже больше, чем жизнь.

Когда Жак сжимал ее в горячих объятиях, Марта отдавалась ему вся без остатка.

Об этой страсти Марта тоже никому не говорила. Были ночи, когда Жак не возвращался в мансарду; от

этого Марта не переставала принадлежать ему, зато Жак принадлежал ей уже меньше.

Однажды, когда Марта находилась в стойле самого маленького и самого избалованного пони размером чуть больше собаки, которого она холила и ласкала с момента его появления, она услышала два мужских голоса. Должно быть, они, подумала Марта, облокотились спинами на загородку стойла; один из них был Жак, другой — велосипедист.

— Не понимаю, — говорил Адольф, велосипедист, — как ты терпишь, что эта девчонка все время рядом с тобой, принимает твои аплодисменты; никогда не разберешь, кого из вас ими награждают! Тебя, за твой номер — а любому ясно, что ты в нем главный, — или ее за такое глупейшее простое балансирование! К тому же, уверяю тебя, с полной женщиной тебе будет безопаснее. Марта чересчур худа! Тьфу! Я вообще не стал бы выступать в паре. Моя-то девчонка — пустое место, всякому известно. Мне одному достаются все аплодисменты.

— Все дело в этом куске тюля вокруг ее талии, — беспощадно согласился Жак. — Зрители полагают, девчонка уже тем умнее мужчины, что носит юбку. Разве она могла бы выполнить то, что делаю я, — смешно от одной мысли! А вот я с одной рукой мог бы справиться с ее работой!

— Для тебя это было бы сущим пустяком, — сочувственно ответил Адольф. — Но кто об этом знает? Грок ведь не знал этого, когда сказал Марте: «Хотел бы я посмотреть на птичку, которая могла бы научить тебя чему-нибудь!» Люди чересчур высоко ценят Грока, я всегда говорил! Мы могли бы делать то, что он, если бы нам это раньше пришло в голову!

Жак выругался, а потом продолжал в том же тоне:

— Эта крошка слишком глупа! Представь себе, мне пришлось сделать ее своей любовницей, прежде чем я вообще смог с ней работать! Она мне мешала, потому что у меня уже была одна, и очень хорошенькая, к тому же я никогда особенно не увлекался женщинами.

— А я, — сказал велосипедист, — вообще их терпеть не могу.

И он стал долго и подробно объяснять, почему и что он предпочитает вместо.

Но Марта уже ничего не слышала о наклонностях велосипедиста, потому что уткнулась головой в шею Бобби, там, где грива росла гуще.

Бобби терпел сколько мог, потом он замотал маленькой головкой и нетерпеливо забил копытом: ему не нравилось, что на него навалилось дрожащее тело девушки, да и кому это могло понравиться.

Постепенно собеседники удалились от стойла Бобби, и послышался голос папаши Мартена:

— Марта! Марта! Черт возьми, куда делась девчонка? Ей пора на выход!

Только тогда Марта вышла из стойла Бобби и побежала в свою комнату. Она надела розовое трико и обернула талию кусочком тюля. Пальцы плохо слушались ее, когда она застегивала юбочку, но она не забыла, как обычно, тщательно натереть канифолью белые туфли из тонкой кожи.

Как обычно, по воскресеньям цирк был полон, правда, не настолько, чтобы не нашлось свободного места.

Марта выбежала на арену, не взглянув на окружавшую ее стену добрых глаз. Зрители... Да, они смотрят на нее. Они платили за это деньги, но не они интересуют ее.

Перед ней раскачивается веревочная лестница — ее работа.

Не глядя на бегущего рядом Жака, она видела его красивую, стройную, как у мальчика, фигуру, его гибкое и сильное тело.

Странно, это тело, которое настолько сливалось в объятиях с ее телом, что она не могла различить биение своего сердца, больше ей не принадлежало! Она мешает ему, угрожает его успеху. Так вот что означал недоброжелательный взгляд его глаз.

Марта заскользила вверх по лестнице в обычном ровном темпе, но забыла сделать несколько глубоких вдохов, которые отец приучил ее делать перед подъемом. Сердце тяжело билось где-то в боку. На момент, когда она выпрямилась на лестнице-качалке, маленькое облако пеленой закрыло ей глаза. Как будто вокруг нее сгустился воздух. Но через секунду облачко рассеялось, и она начала считать.

Жак скользил за ней, как обычно, и, как обычно, по напряжению бедер и спины, она поняла, что он благополучно уселся на трапедии.

Трапедия еле заметно раскачивалась в воздухе.

Жак всегда медлил минуты две, чтобы расслабиться, прежде чем приступить к выполнению упражнений.

Вот он уже стоит. Одна рука отпустила веревки, и выплывает его тело, свисающее с трапедии; только ее осторожное балансирование позволит ему вернуться.

Марта считала медленно и спокойно. Она не должна думать, только считать. Через десять секунд он будет на лестнице живой и невредимый. Еще десять секунд... Что же это говорил велосипедист об аплодисментах: «Моя девчонка — пустое место!»? Ах! Ей нельзя думать! «Пять! Шесть! Семь!»

Она напрягла все тело для последнего усилия. Жак висел на зубнике. Теперь она должна держать его очень ровно, без толчка и паузы. «Восемь! Девять! Десять!» Опять ужасное облачко перед глазами. Поднимается... поднимается... Никогда еще ее тело так не болело; острая боль разрывала ей бок. Нет! Это просто Жак пролезал между перекладинами — его рука уже достает до веревочной лестницы. Теперь он в безопасности, что бы ни случилось.

Больше Марта не могла сдерживаться. Голова наполнилась странными мыслями. Она видела Жака, обернувшегося к ней, ей показалось, что он что-то крикнул. Руки ее нащупывали перекладыны лестницы, нога соскользнула, но еще ничего не произошло. Казалось, время замерло. Мысли в ее голове проносились, как лошади на ринге, — по кругу, по кругу. Она снова увидела Бобби в стойле. Она видела миллионы лиц, запрокинутых к ней в ожидании; она услышала слова отца: «Никакая беда не случится с тобой, если ты не будешь бояться, если ты сама не накличешь беду!»

Так, значит, это и есть Страх — черный слепой колодец, в который она теперь падает? Ее упругое тело задохнулось в стремительном броске.

Она так и не узнала, что это земля ударила ее.

Жак не был виноват, да никто и не обвинял его. Алжирские акробаты, ожидавшие своего выхода, видели, как все произошло.

Марта сделала все, чтобы Жак оказался в безопасности, потом у нее соскользнула нога. Она была почти между перекладинами, но у нее не выдержали нервы. Она схватилась за проволоку. Ну вот так и бывает: как только вы начинаете хвататься за что попало — вы погибли!

Происшествие получило скандальную огласку, и, конечно, до конца сезона опять стали натягивать сетку.

И все же старый папаша Мартен поступил несправедливо с Жаком, уволив его из цирка сразу после случившегося только потому, что велосипедист заявил, будто Жак хотел этого несчастья! Все знали, что Адольф готов очернить любого, кто пользуется большим успехом, чем он.

На самом деле на его увольнении настояла мамаша Мартен. Это она сказала папаше Мартену, глядя на маленький комок розового тюля и блесток:

— Пусть Жак убирается!

Папаша Мартен запротестовал:

— Голубка моя, — сказал он, — не его вина, что малышка упала! Он имел право остаться в живых!

— Этот-то имел право, — угрюмо повторила мамаша Мартен, — пока Марта была жива... несомненно, он пользовался своими правами! Но теперь, когда она мертва... у малышки есть свои права!

Говард Майер

За стеклом аквариума

Толстуха, лилипут, гуттаперчевый человек, великан, пожиратель огня и татуированный уныло сидели каждый на своем помосте и без улыбки смотрели на зрителей, блуждающих по осыпанным опилками проходам.

В тесном пространстве Малого шатра было душно и жарко.

В воздухе стоял резкий звериный запах, но в клетках, стоявших в ряд у дальней стены, никто не шевелился. Время от времени из обезьяньей клетки доносилось странное хныканье. Этот звук был таким жалобным и настойчивым, что те, кто находился ближе к клетке, останавливались и поднимали голову. Даже дети затихали в эти минуты.

Джону Дугласу, стоявшему около стеклянного аквариума на своем помосте, был понятен смысл этого настойчивого плача. Утром Белла, макака-резус, родила детеныша. Детеныш родился мертвый, и смотритель забрал его.

В его долгой цирковой жизни, вспоминал Джон, был уже такой случай, когда одна обезьяна родила утром, перед началом дневного представления. Тогда тоже детеныш родился мертвым, но этого никто не заметил, и днем, когда в шатре было полно людей, обезьяны в клетке пытались вырвать мертвого малыша у матери. В результате произошла ужасная драка, и зрители, ставшие ее свидетелями, возмутились и выразили протест через мэра города.

В тот вечер, вспоминал Джон, они играли перед пустым залом.

Тогда он не обратил на это внимания, потому что у акробата на проволоке, имя которого стоит первым в афише,

не может быть ничего общего с исполнителями выходных номеров и зверями из Малого шатра.

Потом, пять лет тому назад, с ним произошел несчастный случай, и, хотя казалось, что все обошлось благополучно, его левая нога отказывалась держаться на проволоке. Оттого, что он любил цирк, и еще оттого, что он не представлял себе иной жизни, он придумал выходной номер. Теперь он ел за столом с актерами из своего шатра и никогда не говорил о своей прошлой жизни. И они, то ли забыв об этом, то ли считая это обычным делом, тоже никогда об этом не говорили. Но по ночам, на верхней полке подрагивающего вагона циркового поезда, ему часто снилось, что он опять идет по туго натянутой проволоке и волна аплодисментов поднимается снизу и, прокатываясь мимо него, исчезает под куполом цирка.

Когда Мак Греди, тяжело пыхтя, начал взбираться по лестнице на помост, мальчики-униформисты, качавшиеся на брезенте позади аквариума, поднялись на ноги и принялись проверять воздушный насос.

Проходя мимо Джона к краю помоста, Мак Греди спросил, не разжимая губ:

— Ну что, сынок? Как самочувствие?

Джон коротко кивнул.

— О'кэй. Тогда поехали.

Мак Греди поднял кожаный молот и несколько раз ударил по медному гонгу.

Оглушающий диссонанс наплывал на Джона в душной жаре. Он старался не слушать, не думать, не сравнивать его с чистым звуком фанфар Большого шатра.

Низкие отзвуки гонга докатились до блуждающих между клетками зрителей и словно поманили их, заставив их обернуться и подойти.

Опустив молот, Мак Греди начал свою игру.

— Подходите поближе, ребята, здесь много места, вот тут, впереди. Вот так. Спасибо. И вы тоже, приятель. — Голос Мак Греди разносился по всему шатру, и его толстые щеки подрагивали в такт речи. — Леди и джентльмены, сейчас вы станете свидетелями одного из самых опасных и потрясающих подвигов в мире. Ровно через шестьдесят секунд Джон Дуглас, которого вы видите здесь рядом со мной...

По этому сигналу Джон поклонился три раза поясным поклоном.

— ...человек, который родился здесь, в вашем округе, рискуя жизнью, войдет в этот аквариум. Как только он

войдет туда, а вы не забудете, что в руках у него не будет ничего, кроме тупого деревянного копья, мы откроем желоб, ведущий к аквариуму, и из него появится десятифутовая акула, десятифутовая тигровая акула, самый опасный житель глубин. Удар ее мощного хвоста ломает человеку руку, одно движение челюстей отрывает человеку ногу...

Толпа перед помостом беспокойно задвигалась.

Вполголоса Мак Греди сказал:

— Сегодня можно побыстрее, Джон. Жара их и так доконала.

Затем он громко продолжал:

— Да, ребята, в Древнем Риме выпускали человека один на один против льва или медведя, но никогда еще в истории человек не выходил померяться силой и ловкостью с самым сильным и коварным хищником на свете — с тигровой акулой!

Мак Греди затянул паузу, пока ему не удалось вытянуть из зрителей несколько неохотных хлопков.

— В этом пятнадцатифутовом аквариуме вы увидите титаническую борьбу не на жизнь, а на смерть, борьбу, которая могла бы произойти только на дне Тихого океана в пяти тысячах миль отсюда...

— Готов, сынок? — спросил он тихо.

— Готов, — ответил Джон и подал знак униформистам.

Они надели ему на голову легкий алюминиевый шлем и прикрепили его крест-накрест ремнями на груди. Джон медленно выдохнул и задышал ровно, вдыхая накачиваемый насосом спертый воздух. Через широкое стекло шлема он видел, как Мак Греди открывает и закрывает рот, как подрагивают его щеки. Под алюминиевую каску не проникало ни звука. На секунду, как это бывало перед каждым представлением, им овладела паника. «Их нет, все ушли, — думал он, — я один». Под его босыми ступнями вибрировал насос, зрители шевелились, переступая с ноги на ногу, Мак Греди жестикулировал, но Джон ничего не слышал.

«Ушли, ушли», — нашептывал страх. Он потряс головой — и все прошло.

Рука Мак Греди хлопнула его по спине, ему сунули деревянное копьё. Когда он повернулся, мальчик-униформист надел ему на левую руку медный кастет. Он медленно поднялся по лестнице и осторожно соскользнул в зеленую воду. За аквариумом зажглись прожекторы.

Все, что находилось в аквариуме, он видел ясно и отчетливо, но мир за стеклом аквариума был качающимся

и раздробленным хаосом. Он обошел аквариум и занял свое место в углу. Провисший шланг натянулся. Согнувшись, с нацеленным копьем, он не спускал глаз с противоположной стены. Туда через отверстие стока желоб выпустит свой груз. Каскад брызг взорвался над изумрудной зеленью воды, и огромная серая акула была уже тут. Она лежала, вялая и неподвижная. Ее спинной плавник покачивался, ее маленькие круглые злые глаза уставились на Джона.

Кусок мяса ударился о поверхность воды и начал медленно погружаться. Серая рыба сделала круг, повернулась на бок — и кусок мяса исчез. Теперь акула делала круг за кругом, опускаясь с каждым разом все ниже и ниже. Джон совсем вжался в угол аквариума.

На высоте его груди акула перевернулась на бок, открыв пасть и обнажив белые и острые, как бритва, зубы. И бросилась на него.

Он ударил ее копьем. Удар отдался в руке и плече. Акула, не переставая кружиться, всплыла к самой поверхности воды над его головой.

Теперь настал самый опасный момент: он должен был перейти из одного угла в другой. Примеряясь к круговым движениям акулы, он начал свой путь. Вода давила ему на грудь. Серая туша понеслась на него. Он почувствовал удар, копье сломалось, рыба отскочила, и ее хвост оцарапал его плечо. Он добрался до угла.

На другой стороне аквариума акула медленно опустилась до уровня его груди. Вдруг, рванувшись вверх, она бросилась на него. Джон ударил ее левой рукой, и разрывающая боль отдалась во всех мышцах. А акула уже опять кружила по поверхности над его головой. Он почувствовал, как его плеча коснулся трос. Не отрывая глаз от огромной рыбы, он продел его через плечи под мышки и начал медленно подниматься. Его уже наполовину вытянули из воды, когда последовала новая атака. Он подтянул ноги и ударил вниз тем, что осталось от копья. Поверхность воды замутилась добела. Его осторожно опустили на помост. И снова все было кончено. Ему дали полотенце, с него сняли шлем. И он не успел еще дойти до края помоста, чтобы поклониться, а толпа уже переходила дальше. Пожиратель огня начал разжигать свой факел. Мак Греди забубнил.

Стоя на краю помоста и вытираясь досуха грубым полотенцем, Джон заметил двух мальчиков — все, что осталось от его публики. Им было лет по двенадцати, у одного

были зализанные назад волосы и массивные очки с двойными линзами, другой был светловолосый, веснушчатый и курносый. Они смотрели на Джона, не замечая его, и говорили о нем так, как всегда разговаривают зрители в присутствии цирковых артистов, — словно они не существуют.

— Я бы не побоялся залезть в эту штуку с акулой, — сказал тот, который был в очках. — Я бы сделал это даже лучше, чем он. Потому что я тоньше.

— Да брось ты. Ты бы до смерти испугался, — презрительно фыркнул другой.

— Посмотри на углы аквариума, — настаивал мальчик в очках. — Посмотри, какие они глубокие. Он в них забивается. Вот что он делает. Тот человек сказал, что аквариум длиной в пятнадцать футов, а в акуле десять. Чтобы достать его, ей надо согнуться пополам. А она ж не может. И потом, акула поворачивается на спину, когда она кушается. Она плывет прямо на него. Он дает ей по носу кастетом и отбрасывает ее назад. Акула ничего не может ему сделать. Чего ж тут трудного?

— Да ну, у тебя на все есть ответ, — сказал веснушчатый. Но он говорил это, уже не думая, потому что его внимание было приковано к Джону. Он разглядывал его пристально, словно оценивая.

— Послушай, Билл, — сказал он, — как ты думаешь, он правда отсюда, из нашего округа?

Двойные линзы оглядели Джона.

— Я таких здесь не видел, — веско сказал мальчик.

Веснушчатый кивнул головой.

— Похоже, что не из наших.

Джон махнул на них полотенцем:

— Кончайте, ребята, — сказал он. — Идите отсюда.

Они еще немного постояли, молча глядя на него, потом повернулись и вразвалку пошли в сторону пожирателя огня.

Джон занялся оборудованием — проверил насос, аккуратно высушил и свернул шланг. Огромную цистерну сняли с кузова грузовика и поставили на землю, снова присоединили к ней спускной желоб, а сам стеклянный аквариум приподняли. Акула лежала неподвижно, как толстое серое бревно. Когда уровень воды упал, она после минутной борьбы была втянута наконец в цистерну.

Аквариум начали чистить. В Малом шатре часа два уже никого не было. «Пора», — подумал Джон и набросил на плечи купальный халат.

Он сошел с помоста и пересек шатер; подняв боковой полог, он вышел на безлюдную дорожку «аллеи клоунов», миновал пустой ряд вешалок от костюмов и длинный строй сундуков с поднятыми крышками. Подходя к служебному входу Большого шатра, он услышал последние звуки вальса, под который кружились пони. Он поднял откидной полог и вышел на арену. Заканчивая выступление, пони проносились мимо него — сперва серые, потом гнедые, за ними черные.

Один за другим гасли огни, но Джон уже нашел взглядом слабо очерченный силуэт над головой и не спускал с него глаз. В оркестре сверкнула медь инструментов и зазвучали фанфары — все громче и громче, все выше и выше — и, наконец, замерли на самой высокой ноте. В цирке воцарилась полная тишина. Тишина длилась и длилась, и вдруг — как удар — под самым куполом зажегся прожектор и выхватил из темноты стройную белую фигурку на крошечной качающейся платформе, покрытой красным бархатом.

По залу пронесся вздох облегчения. Высоко над запрокинутыми лицами зрителей маленькая фигурка шевельнулась и потерла ноги в ящике с мелом. В темноте, далеко внизу, ноздри Джона почувствовали запах тертого мела.

Когда фигурка наверху подняла длинный шест для баланса, Джон ощутил его тяжесть в своих ладонях.

Красиво и быстро фигурка добежала до середины шатра. Проволока слегка закачалась, и на мгновение Джону показалось, что она вонзилась в его ступни.

Высоко вверху руки отпустили длинный шест, и он, плавно переворачиваясь, упал на сетку далеко внизу. На какое-то мгновение фигурка замерла, удерживая равновесие, и вдруг подпрыгнула, молниеносно повернулась кругом и опустилась на одну ногу. Казалось, нога сейчас соскользнет — и гигантский вздох, как тысяча стрел, устремился под купол. Медленно и бесконечно осторожно фигурка выпрямилась на проволоке. Взрыв аплодисментов понесся кругами по тесному залу, как вспыхнувшее пламя.

«Молодец», — подумал Джон с торжеством, и его тело задрожало от физической боли свершения. Остальное было лишь делом безошибочной координации и бесконечного терпения. Он повернулся и вышел.

За пологом шатра все было в смятении. Выводили слонов, выкатывали колесницы. Жокеи выстраивались для заключительного парада.

То тут, то там его окликало размалеванное лицо клоуна. За его спиной снова заиграл оркестр, но он уходил дальше и дальше, и звуки становились все глуше.

Когда он опустил за своей спиной последний полог, ощущение полной тишины и неподвижности овладело им. Малый шатер был безлюден, помосты пусты. Лампа у входа отбрасывала желтый круг света, все остальное терялось в темноте. Его ухо уловило безостановочный топот мягких лап. Это одна из диких кошек, измученная жарой, мерно бегала по своей тесной клетке, погруженной в тень. Вдруг, словно почувствовав его присутствие, из обезьяньей клетки снова донесся жалобный и настойчивый плач. Топот прекратился на мгновение, затем послышался снова.

Джон пересек шатер, подошел к своему помосту и открыл ящик. Он достал связку бананов, которую купил утром, оторвал от нее один банан, подобрал палку и пошел к обезьяньей клетке. Он не сразу разглядел ее, серый пушистый комочек, забившийся в дальний угол клетки. Ее руки повисли, подбородок зарылся глубоко в шерсть на груди. Джон просунул банан сквозь решетку и тихо позвал ее. Она задрожала и отвернулась. Он позвал ее снова. Со всех сторон клетки бесшумно набежали обезьяны, пытаясь достать банан, но стук палки по прутьям решетки отгонял их. Он снова позвал ее. На этот раз она подняла голову, но оставалась в своем углу. Он услышал, как справа от него дикая кошка тяжело шлепнулась на пол клетки, устраиваясь на ночь. В шатре стало совсем тихо. Он стоял, просунув руку с бананом между прутьями.

Прошла минута, потом другая. Вдруг Белла, неслышно перебежав клетку, очутилась перед ним, ее маленькие руки протянулись к нему, и она взяла банан. Прижав банан к груди и зарывшись подбородком в шерсть, она съежилась на полу. Джон протянул руку сквозь решетку и взял у нее банан. Она не сопротивлялась. Он очистил банан до половины и снова отдал его Белле. Медленно и неохотно она начала жевать банан. Джон протянул руку и ласково погладил ее пушистую голову.

Бернар Клавель

Хлыст

Цирк братьев Зепино прибыл на площадь, когда утро было в разгаре. Поль Наневич увидел, как повозки появились на углу Главной улицы и Руанского шоссе и остановились перед табачной лавкой. Он подошел поближе. Была суббота, и вскоре с разных концов площади стали стекаться зеваки. Поль узнал среди них нескольких рабочих с кирпичного завода; неподалеку стоял старик Перес; в руке у него была продуктовая сумка, из которой торчали стебли лука-порей.

Старик Перес работал на обжиге кирпичей в том же цеху, что и Поль, только он занимался этим почти тридцать лет и кожа его стала одного цвета с землей. Он был и сухой, как земля,— даже в налитых кровью глазах не сохранилось ни капли влаги. Когда он моргал, казалось, вот-вот раздастся звук, похожий на скрип песка. Поль бесшумно подошел и качнул сумку, висевшую на руке Переса. Старик повернул голову и улыбнулся.

— Привет, Поляк.

Перес всегда так величал его. Поль знал это и тоже улыбнулся.

— Ну так что, — вновь заговорил старик, — пойдешь сегодня вечером в цирк?

Поль пожал плечами.

— Да разве это цирк! Бродяги какие-то.

— Настоящий цирк, только маленький. Вот и все.

— Так-то оно так, но уж больно жалкий.

— До войны они частенько сюда приезжали. Иногда у них даже бывали неплохие номера. Сейчас-то им, наверно, тяжелей приходится. Телевидение, кино — это все не очень им на руку.

Из трех довольно обшарпанных фургонов появились четверо мужчин и две женщины. За ними вылезли трое или четверо ребятишек и тут же затеяли ссору позади самого большого грузовика.

Зеваки обменивались мнениями главным образом насчет ветхости повозок и пышных форм обеих женщин.

— Если эти две работают на трапедии, есть за что заплатить!

— Или на канате...

— Не хотел бы я очутиться внизу.

Раздалось несколько хриплых смешков.

— А вообще-то, — заметил старик Перес, — они вроде нас. Им тоже нужно здорово гнуть спину, чтоб заработать три гроша.

Поль Наневич промолчал. Уже несколько минут он не отрываясь смотрел на одного из циркачей. Поль пытался получше его разглядеть. Но тот складывал на землю доски, которые один из его товарищей спихивал с грузовика, и Полю не удалось увидеть его лицо. Это был довольно высокий, широкоплечий, вероятно, сильный человек лет сорока с небольшим. На нем были голубые полотняные штаны, рубашка в черную клетку и забавная шапочка из бежевой шерсти, сдвинутая назад и открывающая высокий лоб. Из-за грохота сваливаемых досок и болтовни зевак Поль не слышал, что говорил этот человек, — вероятно, шутил с приятелем, потому что оба довольно часто громко смеялись.

— Видишь того, что укладывает доски, — произнес Поль, — я его точно знаю.

— Наверно, ты его видел в другом цирке.

— Не думаю.

— Иногда так только кажется. А потом — бывает, что люди похожи.

— Нет, я уверен, что знаю его.

— Ну поди поговори с ним.

Поляк заколебался, взглянул на старого испанца, потом опять на циркача и наконец произнес:

— Нет... Не стоит.

В нем происходила странная борьба: с одной стороны, его тянуло пойти поздороваться с циркачом, а с другой — почему-то хотелось бежать с площади, добраться до своей комнаты и запереться в ней.

— Ну что, — сказал Перес, — идем пропустим по скамьечку, мы ведь уже видели, как устанавливают скамьи. Знаем, что это такое.

Поль пошел следом за стариком в кафе на улицу Фюме, где они распили бутылку белого вина. Говорил старик. Он рассказал массу историй о том, каким был цирк до войны.

— Ты, — сказал он, — конечно, не можешь помнить это время так хорошо, как я, — ты был слишком молод, и потом в твоей стране наверняка не было цирков.

Полю нечего было возразить. Старик сел на своего конька — он говорил так же размеренно, как орудовал у печи кирпичами и формами. Поль слушал его, не вникая в смысл. Перед ним неотступно стоял циркач, его фигура, его походка. Чем больше Поль думал о нем, тем большей преисполнялся уверенности, что знает этого человека. И не просто знает, а долго и часто соприкасался с ним. Полю даже казалось, что это было не так уж давно. Он тоже старался вспомнить все, что знал о цирке, но хранил это про себя, предоставляя старому испанцу копаться в своих воспоминаниях.

Около полудня Поль вернулся домой и приготовил себе поесть. Он уже сел за стол, как вдруг услышал звуки корнет-а-пистона и барабана, доносившиеся с другого конца улицы. Он подошел к окну. По мостовой катил маленький грузовичок цирка Зепино; за рулем сидела одна из тех толстух, которых Поль видел на площади. В кузове играл оркестр из двух человек, мальчик в высоком черном цилиндре и помятом сюртуке гримасничал и выламывался, а четвертый циркач, едва музыканты замолкали, подносил ко рту рупор и объявлял о начале представления:

— Сегодня вечером, ровно в восемь, на площади...

Он говорил о международном цирке Зепино, о его звенице, о королях эквилибристики, о короле жонглеров, о Зоро — короле хлыста...

Человек, которого Поль как будто знал, играл на барабане. Он был все так же одет, в той же шапочке на голове, и с высоты третьего этажа Поль не мог разглядеть его лицо. Да к тому же он низко пригнулся к барабану и, казалось, весь был поглощен игрой. На мгновение у Поля появилось желание сбежать по лестнице, нагнать медленно ехавший грузовичок... Однако он не сдвинулся с места. У него возникло то же ощущение, что и утром на площади, — внезапно все сжалось внутри, сдавило горло и грудь.

Поль опустил на стул и принялся быстро доедать обед. Вымыв посуду и наведя порядок в кухне, он отправился в кафе «Под платанами», куда ходил каждую субботу играть в шары. Там еще никого не было, и Поль уселся в уютной зеленью беседке. Силуэт барабанщика все вре-

мя стоял перед его глазами. До самого вечера Поль не мог от него избавиться. Он никогда еще так плохо не играл в шары, и члены его команды были вне себя — из-за него они лишились трех даровых стаканов вина и ужина. Когда они, поев, встали наконец из-за стола, противники предложили им реванш, но Поль отказался.

— Мне нужно идти, — сказал он.

Это вызвало громкий смех и шутки. Поль улыбнулся, попытался было ответить, но тут же махнул рукой — такой поднялся гвалт.

Очувтившись наконец один, Поль, вместо того чтобы повернуть на свою улицу, направился к площади. Он не знал, пойдет ли он в цирк; он даже не задавал себе этого вопроса — просто сила, с которой он не мог бороться, влекла его на площадь. Цирк был освещен десятком лампочек, болтавшихся на проводах. Купола не было. Лишь вокруг скамеек был натянут на кольях холст. Люди входили внутрь. Мальчишки пытались проскользнуть под холстом, но одна из циркачек следила за ними. Человек с рупором время от времени подносил его ко рту и произносил свою тираду насчет королей.

Поль подошел ко входу и попробовал разглядеть, что делается внутри. Он увидел только кусок арены, где человек, которого Поль как будто знал, завинчивал распоры турника. У Поля вновь появилось все то же странное чувство — ему хотелось одновременно и войти в цирк и бежать, точно вору. На секунду он пожалел, что не остался играть в шары, но эта мысль тут же исчезла. Он машинально сунул руку в карман и вытащил несколько монет, с минуту разглядывал их, потом положил обратно. Еще какое-то время он переминался с ноги на ногу и вдруг выкрикнул, словно кому-то в ответ:

— Э-э! Будь что будет!

Поль снова вытащил деньги и направился к входу.

Усевшись в первом ряду, он принялся искать глазами человека, которого как будто знал, но человек этот исчез; представление началось, а тот так и не появился.

Поль Наневич не слишком внимательно смотрел номера, сменявшиеся на арене. Он продолжал искать глазами человека в клетчатой рубашке и шапочке из светлой шерсти. Наконец в ту минуту, когда крошечная девушка покидала арену на велосипеде с одним колесом, ведущий программу объявил в рупор:

— А теперь выступает Зоро. Король хлыста, великий мастер лассо.

Поль сразу же узнал знакомую фигуру. Теперь этот человек был в черном трико и в широкополой шляпе; косынка, повязанная вокруг шеи, скрывала всю нижнюю часть лица. Между черной шляпой и черной косынкой только поблескивали глаза. Зоро раскрутил над головой лассо — оно раскачивалось справа налево, вперед и назад, поднималось, обвивалось вокруг его тела и снова взвивалось вверх.

Вот Зоро поймал одну из девушек внутри вращавшегося узла лассо, потом подбежал к двери, положил веревку и взял протянутый ему хлыст. Это был очень длинный хлыст, и Зоро щелкал им вокруг себя. Конец хлыста успел обтрепаться, и после каждого удара серые хлопья медленно оседали в лучах света. При первых же ударах хлыста Поль подскочил, по спине его пробежали мурашки. Перед Зоро встала молоденькая девушка, и он ударом хлыста разрывал газеты, которые она держала в вытянутых руках, гасил свечу, подбрасывал вверх спичечную коробку, стоявшую у нее на голове. Человек этот был необычайно ловок. Когда же он рассек пополам сигарету, которую девушка держала во рту, его коллега взял рупор и крикнул:

— У Зоро, короля хлыста, не бывает промахов. Если среди зрителей найдется храбрец, пусть выходит сюда вместо этой девушки. Он не подвергается ни малейшему риску!

Весь зал пришел в волнение. Одни смеялись, других, казалось, пугала даже мысль о том, чтобы приблизиться к этому узкому, продолжавшему щелкать ремню. Голос продолжал:

— Смелей, храбрецу не придется держать сигарету во рту, он будет держать между пальцами, далеко от лица, лист газеты, сложенный в восемь раз. Сушая ерунда, уверяю вас!

Поль больше не управлял собой. Тело его двигалось, как бы повинувшись лишь голосу этого незнакомого ему человека. Его голосу или, быть может, взгляду того, другого, сверкавшему между чернотой шляпы и косынки.

— А-а! Господин храбрец! Браво, господин храбрец!

Человек с рупором разразился хвалебной тирадой, в то время как по толпе прошло волнение. Полю показалось, что он узнал голос старика Переса, выкрикнувшего:

— Браво, Поляк!

Но Поль больше ничего не слышал. Он зажал между пальцами сложенную бумагу, которую дала ему девушка, занял ее место и стал ждать, вытянув в сторону руку, неподвижный как изваяние. Увидев в нескольких шагах от

себя застывшую фигуру Зоро, Поль едва не потерял сознание.

Тишина.

Нескончаемая тишина, потом первый удар хлыста — должно быть, он прошел совсем близко от бумаги. Поль почувствовал, как воздух всколыхнулся над его правой рукой и звук ударил в барабанную перепонку. И вот как-то благодаря этому звуку все сразу стало ясно. Поль смотрел прямо в глаза человеку, стоявшему напротив него, и невольно с его губ слетело имя — имя, произнесенное еле слышно, но резанувшее его слух, словно вопль:

— Пётшенманн!

Человек с хлыстом не мог его услышать, и все же взгляд его стал иным. Только молния, сверкнувшая между черной шляпой и черной косынкой, дала понять Полю, что тот его тоже узнал. И за несколько секунд перед Полем пронеслась вереница образов, ярких и до ужаса реальных.

Пётшенманн! Человек с хлыстом. Эсэсовец из страшно-го концентрационного лагеря под Львовом. Эсэсовец с хлыстом, который заставлял раздеваться заключенного или заключенную перед всеми узниками и хлестал его, как умел он один. Не просто широко размахивая тонким ремнем, а как артист. Уже тогда — как артист! Срывая с груди сосок, выбивая глаз, отрезая ухо. Там у каждого эсэсовца был свой конек, но никто не мог достигнуть такого совершенства. Пётшенманн действительно был гением хлыста.

И он здесь. Напротив него. В его руках.

Поль Наневич, бывший заключенный, сбежавший из этой фабрики смерти, улыбнулся. Перед ним стоял человек с хлыстом и дрожал. Поль видел это по руке Пётшенманна, угадывал страх в прорези между чернотой шляпы и косынки, где уже потух блеск. А вот он, Поль Наневич, не дрожал. Он ждал спокойно, совершенно хладнокровно. Будто избавился от чудовищного груза, как только заклеил именем это лицо. Голова у него теперь была совершенно ясной, и он представлял себе все, что может произойти, стоит ему сказать одно-единственное слово. Двое полицейских, стоявших у двери, знали историю Поля; они, не колеблясь, арестовали бы бывшего эсэсовца. Поль не сомневался в них. Потом будет суд... Одно слово Поля может изменить жизнь этого человека, существование цирка, дальнейший распорядок этого вечера. Одно слово, одно движение — и этот круглый мирок, это пространство, огражденное жалкими холстами, станет местом драмы. Бу-

дет ли эсэсовец защищаться? Он не мог уже защищаться. Ему было страшно. Он умирал от страха — это было уже возмездием. Способен ли он еще хотя бы верно ударить хлыстом?

Поль сжал губы, сдерживая усмешку. «Я дам тебе шанс, — подумал он. — Если ты ударишь меня...».

Толпа теряла терпение. По залу пробежал шепоток, и, хотя Поль не отрываясь глядел на Пётшенманна, он все же увидел рядом тень человека с рупором. И даже услышал, как тот резко спросил:

— Чего же ты ждешь?

И тихо, но так, чтобы его мог услышать Пётшенманн, Поль в свою очередь спросил:

— Правда, чего вы ждете, герр Пётшенманн?

Хлыст щелкнул дважды. После второго удара бумага, рассеченная у самых пальцев Поляка, разлетелась, — толпа бурно зааплодировала.

Человек с хлыстом стоял как изваяние. Возвращаясь на свое место, Поль Наневич прошел совсем рядом с ним и прошептал по-немецки:

— Браво, герр Пётшенманн, вы не постарели.

Томас Вулф

Цирк на рассвете

А иногда ранней осенью, в сентябре, в город приезжали знаменитые цирковые труппы — братья Ринглинти, Робинсоны, Барнум и Бейли; я был тогда разносчиком газет, и в те утра, когда цирк приезжал в город, я как сумасшедший обегал все дома по своему маршруту в прохладной и волнующей мгле, которая бывает только перед самым рассветом.

А потом мчался домой и вытаскивал из постели брата.

Переговариваясь тихими взволнованными голосами, мы быстро шли обратно в город под шорох сентябрьских листьев, а прохладные улицы серели в том безмолвном, таинственном и магическом первом свете дня, который внезапно словно вновь открывает землю, и земля возникает из мрака в пугающей, величественной, скульптурной неподвижности, и человек смотрит на нее с восторгом и изумлением, как, наверно, смотрели на нее первые люди на земле, потому что это — одно из тех зрелищ, которые остаются с людьми навсегда, о которых думают, умирая.

На скульптурно неподвижной площади, где на одном углу начинала вырисовываться из мрака призрачно чужая и знакомая маленькая, обшарпанная мастерская отца, мы с братом садились на самый первый трамвай, который шел к вокзалу, где разгружался цирк, а иногда мы встречали кого-нибудь из знакомых, и он подвозил нас туда в своем автомобиле.

Подъехав к жалкому, закопченному, ветхому зданию вокзала, мы выходили из трамвая или машины и быстро шли по путям; здесь мы уже видели огненные вспышки и клубы пара, вылетающие из паровозов, и слышали лязг и стук перегоняемых товарных вагонов, резкий, несчастый

грохот маневрирующих паровозов, мелодичный звон станционного колокола и звуки огромных поездов, проносящихся мимо.

И ко всем этим знакомым звукам, исполненным радостных пророчеств дороги, путешествия, утра и сияющих городов, ко всем резким и волнующим запахам поездов — запахам золы, едкого дыма, затхлых и ржавых товарных вагонов, чистых сосновых досок, из которых сколочены ящики, — и запахам свежих продуктов на складах — апельсинов, кофе, мандаринов, грудинки, окороков, муки, говяжьих туш — теперь примешивались магические и знакомые, все странные звуки и запахи прибывающего цирка.

Великолепные ярко-желтые вагоны, в которых жили и спали главные исполнители, все еще темные, могуче недвижимые, стояли на путях длинной цепочкой. А повсюду вокруг них звуки разгружаемого цирка уже яростно наполняли темноту. Отступающую мглу сиреновой, уходящей ночи пронизывали свирепый рев львов, внезапное злобное рычание огромных тропических кошек, трубный рев слонов, топот лошадей и душные, крепкие, незнакомые запахи обитателей джунглей — рыжевато-коричневые верблюжьи запахи, запахи пантер, зебр, тигров, слонов и медведей.

А у путей, вдоль цирковых вагонов, — резкие окрики и ругань слуг цирка, магическое покачивание и танец фонарей в темноте, а потом вокруг — сильный грохот нагруженных фургонов, которые скатывали с товарных платформ и гондол по настилу на землю. И повсюду в волнующей таинственности ночи и пробуждающегося дня ощущалось суетливое, поспешное, но в то же время упорядоченное движение.

Крупные серо-стальные лошади по четыре и шесть в упряжке неторопливо шагали по густой, белой пыли дороги, гремя цепями и постромками, под грубые окрики погонщиков. Погонщики гнали их к речке, которая текла за путями, и поили их там, и в первых лучах рассвета можно было увидеть барахтающихся в знакомой реке слонов и больших лошадей, медленно и осторожно спускающихся к воде.

А на площадке, отведенной для цирка, чудодейственно быстро, как во сне, выросли шатры. И на ее территории (это была единственная достаточно ровная и большая площадка в городе, на которой мог разместиться цирк; к тому же недалеко от станции) царила эта неистовая, невообразимая, но все же упорядоченная суматоха. Яркий

свет газовых фонарей освещал опаленные, помятые лица цирковых силачей, которые ритмично и точно — одушевленные клепальные молотки — колотили кувалдами по столбам, вгоняя их в землю с невероятной быстротой ускоренных кинокадров. А когда рассветало и всходило солнце, вся площадка становилась ареной волшебства, порядка и неистовства. Погонщики ругались и говорили что-то друг другу на своем особом языке, громко пыхтел и неровно стучал бензиновый движок, кричали и ругались распорядители, деревянные гудели вбиваемые в землю столбы, гремели тяжелые цепи.

И вот на обширной расчищенной площадке, па утоптанной пыльной земле уже вбиваются столбы для главного шатра, где будет проходить представление. И к площадке, тяжело ступая, подходил слон, медленно опускал свою огромную, раскачивающуюся голову по приказу человека, который сидел у него на черепе, взмахивал раз или два серым морщинистым хоботом и неторопливо оббивал им один из лежащих на земле столбов, длинных как мачты быстроходных шхун. Потом слон медленно отходил назад и легко, будто спичку из коробка, вытягивал огромный столб.

И, увидев это, мой брат заливался громким безудержным смехом и тыкал в мои ребра своими неловкими пальцами. А два чернокожих, которые, вытаращив глаза, смотрели на представление, устроенное слонем, поворачивались друг к другу, приседали, хлопали себя по коленям и разражались темным, глубоким негритянским смехом и переговаривались, строго чередуя вопросы и ответы.

— А он со столбом не балуется, нет?

— Нет уж! Он подмоги не просит.

— Он не говорит: «Погоди-ка, я сейчас!» — а?

— Нет уж! Он говорит: «А ну пошел!» Вот что он говорит.

— А идет он — кач-кач! — сказал один и в подтверждение своих слов несколько раз опустил свое черное лицо вниз, к земле.

— Он его снизу поддевает, — сказал другой и дернул головой, как будто поддевая что-то.

— Он говорит: «Ар-рампф», — сказал один.

— Он говорит: «Ну, малыш, теперь все в порядке», — ответил другой.

— Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! — Они вопили и задыхались от своего глубокого смеха и звонко хлопали себя по бедрам, восторгаясь необыкновенной силой слона.

Тем временем уже поставили цирковую столовую — огромный брезентовый навес без стен, и мы могли теперь видеть, как под этой крышей за длинными столами на козлах завтракают артисты. А аромат пищи, которую они ели, перемешанный с нашим сильным волнением, с резкими, но здоровыми запахами животных, со всей радостью, свежестью, таинственностью, ликующим чародейством и великолепием утра и с приездом цирка, исходил, казалось, от самого дразнящего, самого аппетитного блюда на земле, которое нам когда-либо доводилось пробовать или о котором мы когда-нибудь слышали.

Мы могли видеть, как артисты цирка с наслаждением поглощают свой грандиозный завтрак, упиваясь своей силой и мощью: они съедали большие бифштексы, свиные отбивные, поджарку из грудинки, полдюжины яиц, огромные куски поджаренной ветчины и огромные груды пшеничных оладьев, которые повар с ловкостью жонглера подбрасывал в воздух, а рослая официантка быстро разносила их по столам, высоко держа большие нагруженные подносы и уверенно балансируя ими на пальцах мускулистой руки.

И над всеми этими будоражащими запахами здоровой и сочной пищи всегда повисал знойный восхитительный аромат, который словно придавал особый смысл и остроту этой волнующей жизни утра, — аромат крепкого кипящего кофе, который посылал облака пара из блестящего кофейника невероятной величины и который артисты пили большими глотками чашку за чашкой.

А сами цирковые артисты — мужчины и женщины, «звезды» представления, — были необыкновенно привлекательными, сильными и красивыми; говорили и двигались они с почти суровым достоинством и благородством, и жизнь их казалась нам такой прекрасной и восхитительной, как ничья другая жизнь на земле. И никогда не было в их манерах ничего развязного, грубого или вызывающего, и артистки цирка не были похожи на размалеванных уличных женщин, и с мужчинами они не вели себя неприлично.

Скорее, казалось, что этим людям каким-то удивительным образом удалось создать общину, которая вела упорядоченную жизнь на колесах и с суровой непреклонностью, неизвестной в больших и маленьких городах, соблюдала благопристойность в семейной жизни. Среди них были молодой сильный мужчина, и поразительной красоты женщина со светлыми волосами и фигурой ама-

зонки, и атлетического сложения коренастый мужчина средних лет с суровым, надежным морщинистым лицом и лысой головой. Возможно, они вместе работали на трапеции — молодой мужчина и женщина прыгали с высоты навстречу пожилому мужчине, он ловил их и с силой бросал обратно, на узкие перекладины трапеции, и они должны были поймать качели в воздухе и, прежде чем достичь их, успеть еще трижды перевернуться, пренебрегая опасностью, демонстрируя всю красоту, ловкость и точность, на которые способен человек.

Но когда они приходили завтракать под брезентовую крышу, они спокойно и вежливо беседовали с другими артистами цирка, садились по-семейному за один из длинных столов и поглощали свой грандиозный завтрак серьезно и сосредоточенно, чаще всего молча, а если разговаривали, то спокойно, сдержанно, немногословно.

А мы с братом смотрели на них будто бы замороженные.

Мой брат наблюдал какое-то время за мужчиной с лысой головой, а потом поворачивался ко мне и шептал:

— В-в-видишь вон того л-л-лысого? Это ловитор, — говорил он со знанием дела. — Ну, т-т-тот самый, к-к-кто их ловит. Он должен оч-ч-чень хорошо уметь это делать. Знаешь, что случится, если он их не поймает, а? — спрашивал мой брат.

— Что? — замороженно говорил я.

Мой брат шелкнул в воздухе пальцами.

— Все будет кончено! — отвечал он. — Они разобьются. Д-да, они умрут еще до того, как сообразят, что случилось. Это уж точно! — добавлял он, энергично кивая. — Это ф-ф-факт! Если он хоть чуть-чуть промахнется, им какую! Этот человек должен знать свое дело, — сказал мой брат. — И знаешь, — продолжал он, понизив голос, с глубокой убежденностью, — было бы с-с-совсем не удивительно, если бы ему платили с-с-семьдесят пять или сто долларов в неделю! Совсем не удивительно! — восклицал мой брат.

И мы опять устремляли восхищенные взгляды на этих прекрасных, романтических людей, чья жизнь была так непохожа на нашу собственную, и нам казалось, что мы уже давно знаем и давно любим их. А потом, когда уже совсем рассветало и всходило солнце, мы с неохотой покидали площадку цирка и отправлялись домой.

И почему-то воспоминание обо всем, что мы видели и слышали в то чудесное утро, воспоминание о столовой под

брезентовой крышей с ее восхитительными запахами пробуждало в нас такой острый, свирепый голод, что мы уже не могли ждать, когда доберемся до дому и позавтракаем там. Мы заходили в какую-нибудь городскую закусочную, забирались на высокие табуреты перед стойкой и с жадностью набрасывались на бутерброды с ветчиной и яйцами, на горячие рубленые бифштексы с красной, ароматной, пряной, сочащейся кровью сердцевинкой, на кофе, на пенное молоко и сдобы, а потом мы шли домой, чтобы съесть все, что поставят перед нами на столе.

Станислав Бубеничек

Павиан Ферда

Павиан Ферда вконец рассердился. Хватит! Разве это жизнь? А еще говорят, что в цирке очень весело и масса нового.

По утрам является служитель Иван. Ферда прозвал его болтливой обезьяной. Болтливая обезьяна приходит, открывает дверцу клетки и спрашивает: «Ну, как поспал, Фердичка?»

Надоел ты мне со своим Фердичкой. Катись к чертям!

Затем болтливая обезьяна скребет в клетке какой-то палкой и выбрасывает из нее весь уют и тепло. Взамен он оставляет морковь, а иногда и яйцо.

Потом наступает долгий, томительный перерыв до самого вечера. А вечером? Ферда уже все знает наизусть. Рядом, в большом помещении, вдруг наступает тишина. У клетки Ферды вспыхивает небольшое солнце. Приходят обезьяны, которых Ферда называет розовыми. Являются по одиночке и группами. Стоят у клетки, рассматривают его да еще ведут глупые разговоры. Порой Ферде кажется, что они смеются над ним. Иногда малыши приносят что-нибудь вкусное. Вообще с маленькими обезьянками гораздо веселее. Обычно малыш тянет старого за переднюю лапу и без конца лопочет: «Папочка, а где здесь львы? Папочка, это обезьянка? Она тоже ходит на горшочек? А этот тигр может съесть тебя? И пана учителя тоже?»

Иногда с ними приходят смешные обезьяны с накрашенными губами и с блестящими красными коготками. Ферда их не любит. С удовольствием вспоминает только малышей.

А шум и тряска два раза в неделю? Приходит, черт бы его драл, болтливая обезьяна, заколачивает досками

клетку и приговаривает: «Опять переезжаем, Фердичка!» Да ну его! Вся клетка ходит ходуном и трясется. А сколько крику и визгу. До чего же мы, павианы, дожили?

Там, за стенами цирка, другой, гораздо лучший мир. Ферда из клетки любовался обширными лугами и рощами. При виде высоких деревьев его сердце сжималось от тоски и жажды свободы.

Однажды цирк «Чехия» остановился в Чешских Буйдевицах.

В воскресное утро Иван пришел чистить клетку.

— Ну, как поспал, Фердичка? — спросил он, по обыкновению.

Ферда не слушал его. Он даже забыл о моркови. Сгорбившись в углу, он сидел и выжидал. Как только Иван открыл клетку, павиан тут же выскочил. От изумления Иван потерял речь и не смог выругаться. Грабли выпали у него из рук. Прежде чем он опомнился, Ферда был под куполом цирка. Высота шапито его очаровала.

— Ферда убежал! — заорал Иван.

Из-за занавесок фургонов высунулись взлохмаченные головы и заспанные лица.

— Что случилось? — спросила спросонок пани Зеленкова. — Не курицы ли сбежали?

— Циркачи украли курицу, — слышится сквозь сон директору цирка.

— Этого еще не хватало. — И в одних кальсонах директор выскочил за дверь.

— Что здесь происходит? — закричал он.

— Обезьяна убежала, — отзываются голоса со всех сторон. Директор посмотрел на купол шапито и оцепенел. Ферда сидел на мачте и радостно поглядывал вниз.

— Сидит на де-е-е, — пояснил маленький Карел.

Тем временем около цирка группами собираются люди. Из фургонов вылезают заспанные музыканты. Следом тянутся рабочие и конюхи. Показывают и спрашивают. Объясняют и покрикивают.

От одной группы к другой бегают несчастный Иван. Взволнованный, едва переводя дух, он рассказывает, как убежал Ферда.

— Погоди, мерзавец, вот поймаю — получишь у меня, — говорит он, показывая Ферде кулак.

— После дождика в четверг, — отвечает Ферда и, раскачиваясь, прохаживается по тросу, протянутому между мачтами. Он идет с уверенностью опытного артиста. Иногда даже кажется, что павиан смеется.

Люди внизу советуются, как быть.

— Я знаю, что надо делать, — шепотом говорит конюх! Ружичка. — Когда мы были с Глейхом в Берлине, у нас однажды убежало одиннадцать обезьян. И мы их всех переловили. А что мне советовать? Раз он такой умник, пусть сам его и ловит.

Пришел опытный зоолог, дрессировщик Самеш.

— Его можно поймать только с двойной клеткой, — заявил он. Хотя Самеш не очень в это верит, но считает, что попытаться все же следует.

В местный зоопарк посылают за клеткой бригаду грузчиков с трактором.

А Ферда, усевшись на другую мачту, смотрит на всю эту суматоху, ничего не понимая. А люди в толпе пожимают плечами и покачивают головой. Они сомневаются: вряд ли Ферда клюнет на эту удочку.

Приходит рекламист Бром. Его усы и борода торчат пучками. В цирке его зовут — Микулаш. Мало кто знает настоящее имя рекламиста.

— В клетку надо посадить пана Микулаша, — предложил контрабасист Маташ. — Он потяжелей других.

Добродушный рекламист даже не возражает.

— Меня всегда суют на затычку, — сетует он, — на меня всех собак вешают. Если дела идут плохо, кто виноват? Рекламист. Когда при разборке шапито идет дождь, кто виноват? Рекламист. Вот увидите, эту обезьяну тоже пришьют мне, — покорно предсказывает он.

В другой группе делится опытом тромбонист Франтик Грах. Он работает в цирке больше двадцати лет. По любому поводу у него есть что вспомнить.

— Вот когда в двадцать шестом я работал у Сарсана, — рассказывает Франтик, — у них однажды сбежал тигр. Помню, было воскресенье. Иду я и вижу: тигр сидит аккуратно возле мужского туалета. Прямо у двери. Я как раз туда направлялся, но когда увидел его, надобность уже отпала.

А наверху Ферда наслаждается обретенной свободой.

— Разрази тебя гром! — отводит душу администратор. — Опять продырявит брезент.

Брезент ветхий, служит уже седьмой год. С ним обращаются бережно, чтобы дотянуть до конца сезона. А павиан скачет по нему, словно на трамплине.

Пришел трактор с двойной клеткой. Это обычная клетка, перегороженная посередине проволочной сеткой. Она закрыта только с одного конца. Секрет в том, что откры-

тый конец снабжен падающими дверками. Ловят на то, что в закрытую часть сажают другую обезьяну. Ее можно заменить и рекламистом Микулашем. На это и должен клюнуть Ферда.

В клетку посадили обезьянку Фрицека. Стали ждать.

— Тихо, не вспугните! — кричит директор.

— Не кричите! — предупреждает зоолог.

— Спокойно! — говорит кто-то из толпы.

— Помолчите минутку! — сердится Иван.

— Черт побери, попридержите языки! — приказывает администратор.

— Нет, этим Ферду не проведешь! Раз уж он вырвался, никто не заманит его обратно. Уберите свою клетку.

Ферда стремительно перебегает на другую сторону.

— Хорошо еще, что шагает по шнуровке, — утешает себя администратор.

— Сбросьте его проводом, — советует кто-то. И сразу несколько рук охотно хватаются за провода, протянутые по стенам шапито. Раскачав провод, пытаются сбросить им Ферду. С детской наивностью павиан принимает это за интересную игру. Он скачет через провод, как через скакалку.

— Бросьте в него камнем, — советует другой. Несколько человек охотно хватают камни. И град камней сыплется на ветхое шапито.

— Одна дыра, вторая, третья, — подсчитывают вокруг.

«Дзинь!» — посыпалось стекло из окна на другой стороне.

— Что вы там, с ума посходили? — вопит женский голос.

Администратор ломает руки: какому ослу взбрело это на ум!

Директор бежит вокруг. Он не может найти себе места. Ему хочется на ком-то сорвать злость. Хотя бы излить на бумаге. В полдень у служебного входа висел приказ.

«ПРИКАЗ № 48

Служителя зверинца Ивана М. оштрафовать
на 20 крон.

Основание: сегодня утром убежал павиан Ферда».

Неподалеку часы бьют двенадцать. «Обед!» — кричат посетители столовой и спешат со своими мисками к кухонному фургону. Иван сегодня не обедает. У него нет аппетита. Ферда — тоже. У него нет обеда.

После полудня, когда солнце начало опускаться, Ферда нашел повое развлечение. Он увидел на брезенте свою тень и яростно преследует ее. «Что за черт! — удивляется павиан. — Куда ни пойду, он всюду со мной. Господи, насколько здесь веселее, чем в клетке».

А внизу после обеда вновь собираются охотники, советчики и скептики. Оптимисты и пессимисты. Музыканты и конюхи. Активисты и фаталисты. Артисты и рабочие. Администратор и директор. Иван и маленький Карел. Они вновь пытаются поймать Ферду.

Находится доброволец — артист Малечек. Малечек работает на трапедии и ежедневно рискует жизнью. На головокружительной высоте он чувствует себя как дома.

Вооруженный длинной метлой, Малечек отправляется за Фердой. Как белка, лезет он по круглому кольцу и вот уже ползет по брезенту вверх.

— Иди по шнуровке, — предупреждает администратор. Но уже поздно.

Гладкая поверхность брезента обманчива и коварна. Провалившись по пояс, Малечек барахтается в брезенте, размахивая метелкой над головой.

Администратор отвернулся и закрыл глаза.

А Ферда, как легкомысленный петушок, сидя на вершине мачты, не мог наглядеться на людей, бегающих внизу. Он, видно, даже не понимает, что является виновником всей этой суматохи.

Наконец Малечек выпутывается из брезента и вновь устремляется кверху. Теперь он лезет по шнуровке. Шаг за шагом, осторожно приближается к вершине. Еще немножечко — и он у цели.

Люди внизу затаили дыхание. Слышно, как муха пролетит. Тихо... внимание... осторожно... еще шажок... Внимание — вот!

— Цыц! — заорал охотник, когда Ферда вскочил ему на голову, и тут же камнем скатился вниз.

— Метлу забыли, — встречают его ехидно внизу.

— Черт с ней, с метлой, главное, что кости целы!

— Красивый был номер, — восхищаются зрители.

Прозвучал первый звонок. Униформисты вынули свои костюмы. По второму звонку музыканты поспешили на балкон. Интерес к Ферде отступил перед ежедневной работой. Но это только кажется. Все знают, что ночью, когда начнут разбирать шапито, пробьет час беглеца. Как только снимут брезент и опустят мачты, Ферде некуда будет деваться.

Перед вечерним представлением у служебного входа появился приказ № 49.

«ПРИКАЗ №49

Сегодня ночью разбираем шапито.

Для поимки Ферды приказываю:

- 1) Всем служащим, выделенным для облавы, запастись мешком или попоной и палкой.
- 2) Как только брезент начнет спускаться, все тесным кругом обступают мачту.
- 3) Ферду поймать живым.
- 4) Дальнейшее, смотря по обстоятельствам».

Ниже стояла подпись директора.

Обычно с разборкой шапито спешили, особенно перед дождем. Но еще никогда с такой быстротой не убрали внутренний инвентарь. От рабочих и музыкантов только пар шел. Администратор всегда боялся росы и не позволял свертывать брезент мокрым, чтобы он не сопрел. Но сегодня брезент будут спускать, если даже с него потекут ручьи.

Наступил долгожданный момент.

— Спускайте, ребята! — скомандовал администратор.

Заскрипели блоки. В раскрытое шапито ворвался ветер, закрутил обертки мороженого. Брезент тяжело упал на землю. Посредине торчали обнаженные мачты. На одной из них тревожно ежился Ферда.

Охотники сузили круг. Задние мачты медленно опускаются вниз.

— Внимание! — звучит команда.

«Бух!» — тяжело грохнулись передние мачты. Все яростно устремляются к центру. Актер Маха, зацепившись за сваю, растянулся на арене, вместе с ним свалился заведующий конюшней; Маха, падая, ударил его палкой по ногам.

— Хватайте его! — орут грузчики. Над головами свистят мешки.

— За ним! — галдят музыканты. Конюхи размахивают попонами. Люди наталкиваются друг на друга. Слышен глухой топот и треск ломающихся палок. В зверинце испуганно режут звери.

— Только осторожно, не искалечьте его, — умоляет директор. Но его голос тонет в общем шуме.

— Карел, где ты? — кричит взволнованная мать.

Свора собак носится под ногами.

— Свет! — кричит электромонтер. По земле катится фигура, закутанная в попону, тщетно пытаясь выпутаться из нее.

— Черт побери, ведь я в тапочках, — вопит дрессировщик, которому кто-то наступил на ногу.

— Вон он побежал! — взревел Иван. — За мной!

Рой темных теней мчится за Иваном. Бегут актеры, музыканты. У Бубеника выпала вставная челюсть. Следом за всеми несется пес администратора Брок.

— Только живым! — хнычет директор.

Теперь охота идет в закоулках среди фургонов и приближается к зверинцу. Собаки остервенело лают. Шакалы воют. Люди наталкиваются друг на друга. Дрессировщик потерял тапочку. Гиена плачет. «Хватайте его!» — вопят тени. Иван наступил на грабли и от удара ручкой по лбу падает на землю.

— Я держу его! — кричит кто-то.

— Болван, ты собаку поймал! — орет другой.

— Все напрасно, он убежал, — безнадежно вздыхает директор.

У обезьянней клетки кто-то заскулил.

— Да ведь это Ферда! — изумились служители.

Да, это был Ферда. Свернувшись в комочек, он зябко ежился. Бедняга замерз и хотел есть. Он ждал, чтобы его пустили домой.

Абраам Вальделомар

«Полет кондора»

В тот день я вернулся домой поздно и не знал, что придумать, чтобы мне не попало. Из школы нас отпустили, как всегда, в четыре, но по пути я застрял на пристани, где собралось много народу. Я сунулся в толпу, которая разглядывала людей, сошедших с парохода. Оказалось, что к нам приехали цирковые артисты.

— Посмотрите, какой силач! — ахнул кто-то рядом со мной, кивая на невысокого человека со скуластым, тяжелым лицом, который о чем-то спорил с таможенниками.

— А тот — дрессировщик! — И показывали на мрачного типа с заостренными бакенбардами, в кепочке, гамашах, который слегка раскачивался на ходу.

Возле него шла красивая дама в шляпке с лиловой вуалью. Она несла большой чемодан и вела на поводке маленькую собачку.

— А это — клоун! — заметил кто-то из зрителей.

Высокий молодой человек хмуро поглядел на него.

— До чего серьезный!

— А они только на арене веселые...

У клоуна были живые глаза, вздернутый нос и ладные руки.

Я увидел всех артистов и среди них белокурую, улыбающуюся девочку с красивыми темными глазами на удивительно белом лице. Девочку держал за руку высокий, насупленный старик. Вместе с другими я проводил артистов до площади, где стоял вагон конки, и вот они уже исчезли, заслоненные большой, шумной, взбудораженной толпой.

И подумать, как мне повезло! Я увидел цирковых артистов! Теперь можно рассказать всем о том, какие они,

кто что говорил... У самого дома я спохватился, что уже стемнело. Было совсем поздно. Наверно, все поужинали. Что теперь сказать?

Внезапно мне на плечо легла чья-то рука, прервав мои невеселые мысли.

— Ну? Где ты пропадал?

Это был мой брат Анфилокий, и я решительно не знал, что ему ответить.

— Нигде! — процедил я с деланным равнодушием. — Нас поздно отпустили из школы.

— Ничего подобного! Альфредито пришел домой в четверть пятого.

— Ну, я погиб! Альфредито — это сын дона Энрике, нашего соседа. Его, наверно, спросили про меня, и он, это уж точно, сказал, что мы вместе с ним вышли из школы. Делать нечего... А дома меня встретили молчанием. Мой брат и моя сестра не смели и рта раскрыть. К счастью, отца не было дома. Когда я подбежал к маме, чтобы поцеловать ее, она подставила мне щеку совсем не так, как обычно, и холодно сказала:

— Ну-ну, молодой человек... разве в такое время приходят домой?

Я — ни слова. А мать добавила:

— Хорош, нечего сказать!

Я юркнул к себе в комнату, присел на кровать и задумался, опустив голову. Никогда мне не случалось приходить домой в такой поздний час. Уловив легкий шум, я подпаял глаза и увидел свою сестренку. Она робко подошла к кровати и потянула меня за руку.

— Слушай, — сказала моя сестра, отводя глаза в сторону, — иди поешь.

У меня как-то сразу отлегло от сердца. Вот кто мой верный и преданный друг! Если что-нибудь со мной случилось, никто не переживал за меня так, как моя сестра.

— А вы уже поужинали?

— Давным-давно. Мы идем спать... и фонарь скоро уберут.

— А что про меня говорили?

— Да ничего.... Только вот мама не хотела ужинать.

Я не пошел в столовую, и сестренка тайком от всех принесла мне хлеб, банан и печенье, которое ей подарили.

— Давай ешь, не глупи. Ничего тебе не будет... Но если ты снова такое устроишь...

— Мне не хочется есть.

— Да... а где же ты был?

Тут я сразу вспомнил об артистах, которые приехали в наш город, и меня охватила такая радость, что я, забыв о всех неприятностях, стал рассказывать сестренке о том, что мне посчастливилось увидеть на пристани. Ведь это же был настоящий цирк!

— Сколько гимнастов, не представляешь! — говорил я. — У акробата такие сильные руки... Дрессировщик — он, правда, совсем некрасивый, но зато видно, что смелый... У него очень серьезное лицо. Потом медведь! Он сидел в железной клетке и, просунув нос наружу, принимался ко всему... А какой клоун, только совсем невеселый! В общем, много артистов. А гимнастов — не сосчитать. Еще я видел белого коня и обезьянку в красной курточке, ее на цепочке вели... Этот цирк — просто чудо!

— Когда же они выступают?

— В субботу.

Я было снова начал рассказывать, что и как, но тут появилась служанка.

— Деточка, пора спать!

Моя сестра ушла. Из соседней комнаты донесся голос матери, которая ее искала. Я остался совершенно один со своими мыслями о цирке и о том, что меня теперь непременно накажут.

Я решил, что все уже спят, но вдруг в комнату вошла моя мать. Она села возле меня и сразу же сказала, что я поступил очень плохо. Но она не очень сердилась, и от этого мне стало совсем стыдно. Мама сказала, что я заставил ее переволноваться, что я ее не люблю и что она все равно ничего не расскажет папе... Тут уж я не выдержал и заплакал в голос.

А мама поцеловала меня в лоб, и я был на вершине блаженства. Подумать, ведь она меня простила и не стала даже наказывать!

Едва я остался один, как снова послышался шум шагов. Ко мне босиком прибежала сестренка. Она подлетела к кровати, бросила что-то на одеяло и тут же удрала, успев шепнуть на бегу:

— Это тебе в подарок — два сентаво и волчок!

Мне приснился цирк. Я как наяву видел всех цирковых артистов. И всех зверей. Я видел клоуна, медведя, обезьянку, белого коня и еще белокурую худенькую девочку с черными глазами, которые мне улыбались. Наверно, она очень добрая, эта молчаливая и тоненькая, как тростин-

ка, девочка... Артисты то собирались все вместе, то расходились. Медведь танцевал, клоун выделял всякие фокусы, человек с мускулистыми руками вертелся на турнике, по арене на белом коне скакала красивая женщина. Но во сне все как-то спуталось, и мне запомнился лишь образ незнакомой девочки с грустным и ласковым взглядом тихих глаз.

Наступил субботний день. Во время обеда мы только и говорили что о цирке. Все наперебой расхваливали ловкого акробата... А обезьянка просто потрясающая! И такого клоуна, как «Конфитито», никто еще не видел... Медведь необыкновенно умный... И вообще все сегодня вечером пойдут в цирк.

Отец сдержанно улыбался, стараясь сохранять серьезность. Но в конце обеда он не спеша вынул из кармана конверт.

— Билеты! — ахнули в один голос брат и сестра.

— Да, билеты. Только спокойнее...

— Билеты! — закричал я.

Конверт был уже в руках у моей матери.

Отец встал из-за стола, и мы, позабыв обо всем на свете, повскакали со своих мест и окружили мать.

— Покажи! Покажи!

— Ну-ка тише! А то ничего не получите.

Мы вернулись на свои места. Конверт наконец открыли, и внутри — о радость! — лежали лиловые билеты. Билеты на цирковое представление и программа. Какая программа! Слова напечатаны большими буквами и вдобавок — цветные портреты всех артистов. Мой брат прочел все, что там было, вслух все от начала до конца. Ну просто чудо из чудес!

Прославленный акробат-тяжеловес Кендаль, каучуковый человек, знаменитый дрессировщик мистер Глэндис, красавица амазонка мисс Блатнер и ее белый конь-математик, остроумнейший клоун «Конфитито» — король клоунады Тихоокеанского побережья. И единственный в мире, неповторимый номер «Полет кондора» в исполнении самой молодой артистки — мисс Орхидеи.

У меня дрогнуло сердце. Конечно, эта девочка и есть мисс Орхидея. Но неужели она, такая хрупкая и беззащитная, способна совершать чудеса?

Мой старший брат и сестра чуть ли не прыгали от радости, а я, задумавшись, спустился в сад и оттуда ушел в школу. В тот вечер никто не услышал от меня ни единого слова,

В четыре часа в школе кончились занятия, и через пятнадцать минут я уже был дома. Я старательно складывал книги, как вдруг послышался топот ног, и мимо меня к двери пронеслись брат с сестрой.

— Артисты! Артисты!

— Абрахам! Абрахам! — звала меня сестренка. — Иди посмотреть гимнастов!

Втроем мы выбежали из дома. По улице к нам навстречу двигалась толпа, впереди которой шли музыканты. Вскоре они поравнялись с нашим домом. Барабанщик отчаянно бил в барабан, сверкали витые медные трубы. Высокий мужчина в красном камзоле и в шляпе с перьями вел за уздечку разряженного коня, на котором красовалась мисс Блатнер. У нее была очень тонкая талия, розовое трико и полные обнаженные руки. На другом коне, играя мускулами, проехал Кендаль, в ярком цирковом костюме. А на третьем коне сидела мисс Орхидея — непостижимо красивая девочка с грустной улыбкой.

Потом появилась обезьянка в затейливой курточке, молодой человек верхом на ослике и, наконец, «Конфитито» в окружении мальчишек, которые били в ладоши в такт музыке.

На углу улицы процессия остановилась и «Конфитито» запел веселый куплет:

«С бутоньерками в петлицах
нынче ходит молодежь,
а в карманах свищет ветер,
и гроша там не найдешь!»

Последние слова песенки утонули в гуле возбужденной толпы. Клоун низко склонил свою бритую голову и долго размахивал колпаком, приветствуя публику. Но вот барабан снова позвал в путь. Вскоре процессия свернула к железнодорожной линии, рядом с которой лежала дорога в город. Растянутое облако пыли долго плыло над ними, а потом разноцветный и шумный караван скрылся из виду за тополями, которые поднимались вдоль селитряного шоссе.

Брат и сестра едва притронулись к еде. Время тянулось еле-еле, и наконец настал долгожданный миг, когда надо было идти в цирк. Мы оделись — папа был в своем парадном костюме от «Карлоса Альберто» — и, простившись с мамой, вышли на улицу. Добравшись до площади, где

ходит конка, мы подошли к вагону, откуда раздавался звон колокольчика. Как только мы поднялись вверх, послышался свисток, затем хлопанье хлыста, и мулы потянули вагон по улице.

Цирк находился в самом центре городка на одной из узких улочек. В дверях цирка, освещенных огромными керосиновыми лампами, толпились люди. У входа прямо на тротуаре были расставлены столики с навесами, а на этих столиках переливались радугой стаканы, наполненные чичей из арахиса, желтели стручки сладкого гороха, лоснилась свиная колбаса, нашпигованная перцем... Куски маринованной рыбы лежали на огромных блюдах вместе с моченым в уксусе луком; рядом краснели вареные креветки и возвышались лиловыми горками спелые маслины. Продавцы на все лады расхваливали ароматную водку — «писко».

Мы прошли по узкому мощеному коридорчику, где теснилось много народу, и в конце концов очутились в дверях огромного шатра, откуда доносились смех, топанье ног и крики. Едва нас проводили на наши места, как прозвенел колокольчик.

— Второй! — закричали в толпе и начали аплодировать.

Цирк был переполнен. Публика усаживалась в рядах, образовывавших огромный ступенчатый круг, а внизу, там, где был партер, отделанный цоколем под парусиной, находились ложи, в одной из которых сидели мы с отцом. Прямо перед нами была площадка, арена, где должны были совершаться все чудеса, объявленные в программе.

Прозвенел долгий звонок.

— Третий!!! Браво, браво!!

Представление начал оркестр цирка. Под звуки увертюры на арену вышли все артисты. Они выстроились в два ряда и в такт музыке приветствовали собравшуюся публику. В самом центре улыбалась мисс Орхидея, необыкновенно прекрасная, похожая на статуэтку, в светлом трико и красных туфельках.

А вот и гимнаст, статный, мускулистый, с густыми, лихо закрученными черными усами. Неведомо откуда появился высокий турник. Гимнаст достал из потайного кармашка носовой платок, взлетел к брусьям, перекутил несколько раз, застыл в немыслимой позе, потом повис вниз головой, уцепившись ногами за брусья. Потом, ловко изогнувшись, он лег животом на перекладину и завертелся вокруг нее с головокружительной быстротой. Под конец

гимнаст исполнил захватывающее дух сальто-мортале и красиво опустился на ковер, расстеленный посредине арены. Аплодисменты долго не утихали. Все номера шли по порядку, объявленному в программе. Мисс Блатнер несколько раз пронеслась по кругу на белом коне, который показал свои математические способности: он копытом простучал до десяти, а когда наездница спросила его, правда ли, что дважды два — пять, отрицательно замотал головой. Мистер Глэндис вывел степенного медведя, который плясал, хитро поглядывая на своего хозяина. Обезьянка выделявала уморительные пируэты; клоун бил самого себя, на потеху публике, и, наконец, после второго антракта мы услышали:

— «Полет кондора»!

У меня все перевернулось внутри. Два человека в красных, расшитых куртках вынесли высоченные помосты, которые чуть ли не упирались в брезентовый купол, где тихонько покачивались две трапеции. Зазвенел пронзительный звонок, и в сопровождении двух артистов на арену вышла мисс Орхидея. Тихо улыбнувшись, она поклонилась зрителям и взялась за веревку. Один из молодых людей в красной куртке стал натягивать другой конец веревки, и вскоре маленькая артистка очутилась на высоком помосте. Снизу казалось, что на выступ крыши опустилась ласточка.

Мисс Орхидея должна была попасть на трапецию, которая висела под самым куполом, поймать на лету другую трапецию и с ее помощью долететь до противоположного помоста.

Прозвучал отрывистый мужской голос, девочка прыгнула с помоста и схватилась за трапецию, навстречу которой рванулась вторая трапеция... Музыка смолкла, и тишину нарушала лишь грозная непрерывная дробь одинокого барабана. До чего было жутко! Какое мучительное чувство ожидания! Я бы отдал все на свете, чтобы эта печальная белокурая девчонка не летала под куполом цирка! А между тем она с непостижимым хладнокровием исполняла этот опаснейший номер... Зрители словно приросли к своим местам и с замиранием сердца смотрели на бесстрашную гимнастку. Когда мисс Орхидея встала на второй помост и с уверенностью победителя приветствовала публику, в зале грянули аплодисменты. Это была настоящая овация.

Девочка уже стояла на арене, а аплодисменты не утихали. И она, в знак благодарности, стала выполнять сложнейшие акробатические прыжки, изгибалась дугой, вертелась волчком... Распущенные волосы маленькой артистки отливали золотым пламенем, и казалось, что на арене движется какое-то сказочное существо.

Аплодисменты нарастали. И тогда тот самый старик, что вел ее за руку на пристани, сказал что-то людям в красных куртках. Номер решили повторить.

Зал рукоплескал. Мисс Орхидея, бедняжка, подчинилась этому насупленному старику почти автоматически, бессознательно. Она снова поднялась на помост. Снова прозвучал отрывистый мужской голос. В зале была туго натянутая тишина, и я, впившись глазами в девочку, молил бога, чтобы все обошлось благополучно. Старик хлопнул в ладоши — и мисс Орхидея бросилась вниз... Никто не понял, как это случилось. То ли она не вовремя прыгнула с помоста, то ли неловко ухватилась за трапедию, замешкавшись на секунду... Она закричала вдруг страшным, захлебывающимся криком и упала, словно подбитая в полете птица, на сетку, которая спасла ее от верной гибели. Все в зале услышали сухой и короткий звук.

Девочку сняли с сетки. Она все время прикладывала платок ко рту, и я увидел, как он окрашивается алой кровью. Потом ее взяли на руки, и она исчезла за спинами людей под крики взбурдаженной толпы.

Папа тут же увел нас из цирка. Мы скоро дошли до вагона конки, поднялись наверх, и я, подавленный, молча вслушивался в то, о чем говорили вокруг меня. Во мне медленно закипала злорада. В тот день я впервые понял, что на свете бывают очень плохие люди.

Прошло несколько дней. Я все время думал о маленькой артистке, вспоминая, какой она была, когда появилась на арене. Бледная, улыбающаяся, в красивом трико. Я видел ее лежащей на сетке, видел платок, пропитанный кровью. Где же теперь мисс Орхидея? В цирке по-прежнему идут представления, но мой отец наотрез отказался сводить нас туда еще раз. Я знал, что в программе нет «Полета кондора».

В следующую субботу, когда я, вернувшись из школы, играл в саду вместе с сестренкой, слышались звуки веселого марша.

— Цирк! Акробаты!

Мы опрометью бросились на улицу. А вдруг среди артистов будет мисс Орхидея?!

С каким нетерпением я вглядывался в приближавшую процессию. Прошел барабанщик, отбивая на своем огромном барабане четкую дробь, прошли музыканты с медными трубами, со сверкающими тарелками, за ними — силач-акробат, а потом конь мисс Орхидеи, один, без седока, с черной лентой на голове. Я увидел всех артистов и неутомимую обезьянку, которая все так же бессмысленно гримасничала...

Где же мисс Орхидея?

Мне не хотелось больше смотреть. Я заперся у себя в комнате и, толком не понимая что к чему, плакал.

Несколько дней спустя я шел в школу берегом моря мимо домиков, которые стояли так близко у воды, что брызги волн нет-нет да и падали дождем на деревянные террасы. Возле одного из таких домиков я присел отдохнуть и стал смотреть на пристань, которая осталась слева. Неожиданно за моей спиной раздались голоса, и, когда я обернулся назад, у меня все похолодело внутри. На террасе в глубоком кресле сидела бледная тоненькая девочка и всматривалась в море. Нет, я не ошибся — это была мисс Орхидея. Она сидела неподвижно, кутаясь в зеленое одеяло.

Я смотрел на нее неотрывно, пока девочка не ответила мне ласковым взглядом. Конечно, она больна, больна тяжело! Вечером я возвращался тем же путем. Девочка по-прежнему сидела в кресле. Совсем одна. Наши глаза встретились, и она мне улыбнулась. Вот если бы подойти к ней, утешить ее! На следующий день я снова пришел и па другой — тоже. Я приходил восемь дней подряд, и мы, по-моему, подружились. Я стоял у террасы, мы молча улыбались друг другу, и так шли часы за часами. На девятый день девочки на террасе не было. У меня упало сердце. Я уже слышал разговоры о том, что цирк закрыт, что артисты собираются уезжать, и вспомнил, что в тот день уходил пароход. Было одиннадцать часов. Я пролетел по улицам, миновал таможню и, выбежав на пристань, сразу увидел артистов цирка с чемоданами и свертками. Девочки нигде не было. Я кинулся к причалу. Вскоре появились другие артисты в сопровождении шумной толпы. Ватага мальчишек вилась вокруг обезьянки и клоуна. А между мисс Блатнер и Кендалем, держа обоих под руки, медленно, шаг за шагом шла маленькая артистка. И кашляла, кашляла не переставая.

Я протиснулся вперед, чтобы увидеть, как она спустится в лодку, прикрепленную к причалу. Девочка искала кого-то глазами, потом увидела меня и, улыбнувшись, сказала:

— Прощайте!

— Прощайте!

Мистер Кеедаль на руках перенес девочку в лодку, покачивавшуюся на воде. Потом лодка отделилась от зашмелых досок причала. И мисс Орхидея все время смотрела на меня влажными и грустными глазами. Она тихонько махала мне платком, а я ей — рукой, и так шла минута за минутой. Вскоре можно было различить лишь белый платок, который трепетал на ветру, как сломанное крыло, как умирающая птица. А потом он пропал из виду, и вдали замелькала маленькая лодка, которая внезапно скрылась за пароходом...

Я пошел домой, а в пять часов вечера, возвращаясь из школы, поднялся на террасу пустого дома, туда, где сидела моя маленькая артистка. На горизонте виднелся пароход с гривкой дыма, который растекался темными пятнами по алому закатному небу.

Луиза Спитцер

Странные люди

— Папочка, возьми меня в цирк!

Отец продолжал читать газету.

— Папочка, — Билли потянул к себе газету, — пожалуйста, возьми меня в цирк. Я ни разу там не был, ты же обещал сводить меня. Я сейчас хочу пойти, папочка.

— Хорошо, Билли, не ной как грудной ребенок. Я тебя прекрасно слышу.

Отец оторвался от газеты и взглянул на сына, лотом он перевел взгляд на жену, сидевшую на другом конце дивана. Она аккуратно наносила на ногти яркий красный лак.

— Пойдешь, папочка?

— Куда? — рассеянно спросил отец.

— Пойдешь со мной в цирк? Джимми из соседней квартиры идет со своим отцом, — сказал Билли, еле сдерживая слезы.

— Так почему бы тебе не пойти с ними? Джимми с удовольствием взял бы тебя с собой.

— Я с тобой хочу, ты обещал.

— Фред, ради бога, сходил бы ты с ним, — сказала Элен и начала дуть на ногти. — Ты еще ни разу с ним никуда не ходил, и, по-моему, настало время проявить хоть какой-то интерес к собственному сыну.

И она опять стала дуть на ногти.

— Слушай, Элен, это же нечестно! Чего ты от меня хочешь? С работы я возвращаюсь поздно вечером, воскресенье — единственный день, когда я могу хоть немножко отдохнуть и отвлечься. Неужели я и на это не имею права? По-твоему, я должен тащиться сейчас в этот цирк?

— А я? Обо мне ты подумал? Представь себе, мне тоже хочется иногда отвлечься! Всю неделю я вожусь с ним

и слушаю его нытье. Я, по-твоему, не имею права отвлекаться и отдохнуть?

— Бедняжка, как мне жаль тебя! — сказал он, коротко и зло рассмеявшись.

— Смейся, смейся, я и не надеялась, что ты поймешь меня. Вот если бы ты провел с ним хоть одно утро, выслушивая бесконечные капризы, тогда бы ты меня понял.

— Очень мило с твоей стороны говорить подобные вещи при собственном ребенке. У детей, к твоему сведению, тоже есть чувства.

— Да он не слышит. Он, как видишь, занят игрушками, и вообще, я бы на твоём месте воздержалась от подобных замечаний. Насколько я понимаю, сам ты не горишь желанием сходить с ним в цирк.

— Ничего подобного, я просто немного устал. Ну-ка, Билли, — он легонько поддел его ногой, — если ты хочешь пойти в цирк, я схожу с тобой.

— Если тебе не хочется, мы можем и не ходить, тогда почитай мне что-нибудь смешное.

— Ну что ты, Билли! Конечно, мне хочется сводить своего маленького мальчика в цирк. В конце концов, всю неделю у меня нет времени, чтобы побыть с тобой. Собирайся, надевай шапку, пальто — мы идем.

Билли вскочил на ноги.

— Распрекрасно-хорошо, хорошо-прекрасно! — закричал он и бросился в свою комнату.

— Билли, дорогой, надень под пальто свитер, на улице холодно, ты простудишься! — крикнула ему вслед Элен и осторожно потрогала ногти, проверяя, высохли ли они...

— Леди и джентльмены! Перед вами — Лилиан, самая сильная женщина в мире, четыре сотни железных мускулов! Подойдите все сюда и взгляните на этого Геркулеса в образе женщины, на единственную женщину в мире, которая может разом поднять десяток крупных мужчин — почти тонну! Через несколько минут, леди и джентльмены, Лилиан продемонстрирует вам свое искусство. Сейчас мы пригласим на этот помост десять мужчин из публики, и все увидят, как она их поднимает, десять крупных мужчин, совершенно верно, сэр, — почти целую тонну.

Билли с отцом стояли в центре толпы. Отец взял его за руку и подвел ближе к огромной женщине. Билли откусил большой кусок от своей конфеты из сахарной ваты, оставившей у него на подбородке яркий след, и уставился на Лилиан. Она была грандиозна. Никогда в своей жизни

он не видел таких больших людей. На ее шее, плечах и руках вырисовывались мускулы. У нее была смешная маленькая головка с мягкими короткими волосами, подвязанными красной шелковой ленточкой.

Она сидела в большом, массивном кресле, широко расставив ноги, икры которых были так велики, что она не могла бы соединить ноги вместе. Она была обута в красные сатиновые сандалии. Две яркие красные ленты, поддерживающие эти сандалии, обвивали каждую из ее гигантских ног, как ленты балетных туфель, и по сравнению с могучим торсом ступни этих ног были так малы, что не верилось, что она сможет удержаться на ногах, если встанет. Она смотрела на толпу вокруг и приветливо улыбалась. На щеках у нее были две глубокие ямочки, а подбородок терялся в складках шеи.

Билли дернул отца за пальто.

— Пап, отчего она такая? — прошептал он.

— Тише, она может тебя услышать!

Лилиан улыбнулась Билли.

— Привет, детка, — сказала она. — Ты хороший мальчик. Как тебя зовут?

Билли прижался к руке отца и посмотрел на него снизу, словно прося помощи.

— В чем дело, Билли? Скажи ей, как тебя зовут. — Отец слегка подтолкнул его вперед.

Билли посмотрел в глаза Лилиан, они были голубые и добрые.

— Меня зовут Билли, — смущенно пробормотал он.

— Хорошее имя, — сказала она, — хочешь пожать мне руку, Билли?

Билли снова взглянул на отца.

— Ну, иди же, — сказал тот, — что с тобой? Она не сделает тебе больно.

Билли застенчиво протянул Лилиан руку, и она взяла ее в свою огромную лапу. Рука его потерялась в мягких складках потной плоти. Лилиан держала ее очень осторожно, а потом начала легонько поглаживать другой рукой.

— Видишь, — сказала она. — Я не сделаю тебе больно, ты такой хороший мальчик. Хотя я и правда очень сильная, но я никому не сделаю больно, особенно такому маленькому мальчику.

Билли убрал руку и прошептал отцу, что он хочет уйти. И пока они не потерялись в толпе, Лилиан провожала их взглядом. Они с трудом выбрались, люди стояли разинув рты, некоторые — широко раскрыв глаза, рассеян-

но жевали кукурузные хлопья, другие, прикрывая рот рукой, пересмеивались и перешептывались.

— Билли, хочешь хлопьев?

— У меня есть еще конфета, — ответил Билли. — Пап, думаешь, у нее есть свой маленький сыночек?

— Господи, откуда я знаю. Не представляю, кто мог бы жениться на такой женщине — разве что только из-за денег. Эти циркачи весьма здорово зарабатывают на таких вещах.

— Правда, а почему?

— Потому, что очень многие готовы платить деньги за то, чтобы посмотреть на них — ведь они уроды и встречаются очень редко. Почему ты захотел уйти, мне было интересно посмотреть, как она их подымет. Да уж, она действительно должна быть потрясающе сильной. Ну а теперь куда мы направляемся? Шпагоглотателей и чревоушителей мы уже видели. Давай посмотрим лилипутов, они должны понравиться тебе, они такие же маленькие, как ты.

— И им столько же лет?

— Не говори глупостей. Они совсем взрослые, как мы с мамой, только очень маленькие, как гномы из сказок.

— А они... настоящие?

— Конечно, как все люди. Их здесь много, и все они живут в крошечном домике. Пойдем же, Билли, только не висни на моей руке, а то мне приходится тащить тебя, ты уже большой мальчик.

Они стали проталкиваться сквозь толпу, мимо «гуттаперчевых» мужчин и женщин, извивавших и сгибавших свои тела, заставляя их принимать совершенно нечеловеческие позы, мимо дрессированных тюленей, мимо татуированной женщины и наконец добрались до колонии лилипутов. Четверо крошечных человечков с лицами старичков и телами детей сидели там на маленьких стульчиках и разговаривали с людьми, собравшимися вокруг. За их спиной стоял небольшой домик с непропорционально большими окнами, сделанными с таким расчетом, чтобы в них можно было легко заглянуть и убедиться, что он обставлен, как обычный современный дом. Над домом висела надпись, сообщавшая, что в нем живут пять самых маленьких в мире человечков.

— Ха, они не больше меня, — прошептал Билли своему отцу. — Какими же они были крошечными, когда были еще маленькими. Их и разглядеть-то было трудно, я-то знаю.

— Да нет же. Они родились такими же, как мы с тобой; просто они перестали расти, когда были еще детьми, — тоже шепотом ответил ему отец.

— Они в конторе работают, как ты, папа?

— Нет, конечно. Как могут такие маленькие люди работать в конторе? Им бы понадобилась специальная мебель и масса других нестандартных вещей.

— Чем же они тогда занимаются?

— Ну те, кому повезет, работают, например, в цирке. Не знаю, что делают остальные.

— Значит, они так и сидят здесь целыми днями, чтобы люди могли смотреть на них? Думаешь, им это нравится?

— Господи, да откуда же мне знать? — сказал отец. Все эти вопросы начинали действовать ему на нервы. — Они зарабатывают здесь приличные деньги и, наверное, довольны. Ведь это сравнительно легкая работа.

— А лилипуты женятся?

— О, думаю, что да, на других лилипутках, наверное.

— И у них рождаются крохотные лилипутики?

— Не знаю я, кто у них рождается! Не задавай столько вопросов, они могут тебя услышать. Нехорошо говорить о человеческих странностях.

— Каких странностях?

— О таких особенностях, которые отличают человека от остальных людей, делают людей такими уродами, которых показывают в цирке.

— А у меня тоже есть странности? Я могу перестать вдруг расти и остаться навсегда лилипутом? Что, если я никогда не стану таким высоким и большим, как ты, папа? — встревоженно спросил Билли.

— Конечно, нет, Билли. С чего это ты взял? Скажите, что там случилось, что там происходит?

Зазывала колонии лилипутов, стоявший молча в стороне, нагнулся и заглянул в одно из окон домика.

— Нет его, — сказал он, — где только черти носят эту тварь. Знает ведь, что должен сидеть перед домом. Джейк, — позвал он нетерпеливо, — где ты? А ну быстро выходи сюда!

В домике послышался шум, дверь приоткрылась, и на крыльцо вышел человек; несмотря на аккуратно пригнанный костюм и седеющие волосы, на первый взгляд его можно было принять за маленького мальчика. Он вышел неуверенно, словно ребенок, ожидающий шлепка, но при взгляде на его лицо с глубокими морщинами вокруг испу-

ганных глаз, твердой линией рта и бледной старческой кожей вас пронзало внезапное сознание того, что перед вами старик.

Зазывала подтолкнул его к свободному стулу и что-то шепнул ему на ухо.

— Я уж совсем собрался выйти, — сказал Джейк тоненьким голосом и, сев в креслице, съежился.

— И за что только, вы думаете, вам деньги платят, — зло ворчал зазывала, — за то, что вы тут сидите без дела, а мы за вас работаем? Да чего это вы о себе воображаете? — Он встряхнул стул, стул покачнулся на тонких ножках.

Джейк отчаянно вцепился в подлокотники.

— Ах, оставь меня наконец в покое, животное. Я ведь сказал тебе, что собирался выйти.

Зазывала снисходительно усмехнулся и вернулся на свое прежнее место. Он наклонился к людям, стоявшим вокруг него, и сказал громким шепотом:

— Этот никогда не бывает на месте вовремя. Вечно придумывает самые идиотские причины, чтоб уйти в дом, и что он там только делает все это время? — И он заговорщицки подмигнул аудитории. Люди засмеялись, а Джейк стал смотреть на свои ноги, делая вид, что он ничего не слышит.

— Пойдем, папочка, давай уйдем отсюда, мне здесь не нравится, — сказал Билли и потянул отца за рукав.

— Что с тобой, Билли, как только становится интересно, ты сразу хочешь уйти.

— Я-то думал, что маленьким мальчикам должны нравиться лилипуты, они ведь такие же маленькие, как они сами, — сказал человек, стоявший рядом с ним. — А ну-ка скажи, видел ты девушку с мхом на голове?

— Девушка с мхом вместо волос? Где она? — спросил отец Билли.

— Ее показывают рядом с Великаном. Волосы у нее спутанные и лохматые ярко-зеленого цвета и стоят дыбом, как настоящий мох. Она обыкновенная хорошенькая девушка — лицо, фигура и вообще, — только вот волосы ну прямо как у чучела, сынок, можешь мне поверить.

— Нет, серьезно? Как же это она ухитрилась? А волосы настоящие? — заинтересовался отец Билли.

— Да, волосы-то ее собственные, просто она с ними что-то сделала. Тут болтали, что она моет их очень старым пивом и какими-то семенами — вот они и стали такие, — сказал незнакомец.

— Зачем она это сделала? Так красивее? — спросил Билли.

— Как же, — засмеялся незнакомец, — видел бы ты ее! Жаль, я не взял жену, она навсегда перестала бы жаловаться на свой перманент. И зачем только девчонка это сделала? Подзаработать думала, побей меня бог.

— Ну что, Билли, хочешь взглянуть на нее? Нет, почему? Да что с тобой, наконец! Сначала просишь взять тебя в цирк, а потом ничего не хочешь смотреть, — обиженно сказал отец.

— Нет, я очень хочу, но я хочу смотреть настоящий цирк. Когда начнется настоящий — чтобы и клоуны были, и летающие люди, и слоны? Когда начнется представление?

— Теперь уже скоро, но у нас есть время. И мы могли бы увидеть еще много интересного. Не знаю, может, ты еще мал, чтобы ходить в цирк? Наверное, цирк — для более взрослых мальчиков.

— Нет, я уже большой. Некоторые ребята из нашего класса ходили уже в прошлом году.

— Ладно, тогда кончай канючить. Пойдем, я покажу тебе бородатую женщину — она тебе обязательно понравится, — сказал отец и, взяв Билли за руку, потащил его через толпу.

— Самый высокий человек в мире, — кричал зазывала, когда они проходили мимо, — восемь футов два дюйма! А теперь, леди и джентльмены, подойдите поближе и купите у него кольцо — всего 25 центов. Вы можете просунуть в него сразу три своих пальца — он же настоящий великан!

Они пошли дальше, мимо пожирателей огня и жонглеров. Билли тащился сзади, отец шел впереди и тянул его за руку.

— Ну же, Билли, поднимай ноги, не заставляй волочь тебя.

Наконец они пришли к будке, в которой сидела полная женщина с длинными черными волосами и густой бородой. Вокруг стояла большая толпа, и подойти ближе Билли с отцом не удалось.

— Пап, она мужчина или женщина? — спросил Билли.

— Женщина, просто у нее борода.

— А почему она не бреет ее, как ты?

— Тогда бы она стала почти такой же, как другие женщины, и не смогла бы выступать в цирке. Я думаю, такой способ зарабатывать деньги ее устраивает.

— По-моему, она больше похожа на мужчину. Она была бы совсем как мужчина, если бы постригла волосы, как ты, — правда, пап?

Люди стали оглядываться на них.

— Тише, Билли, поменьше вопросов — на нас уже обращают внимание. Даже если бы она обрезала волосы, все равно она осталась бы женщиной, — понизив голос, сказал отец.

— А почему?

Вокруг стали смеяться.

— А ну-ка ответь на этот вопрос, — предложил кто-то отцу Билли, вогнав того в краску. Отец схватил Билли за руку.

— Пойдем, — сказал он. — Сейчас мы увидим укротителя львов.

И он вывел его из толпы.

— Укротитель тебе понравится. Помню, я видел его, когда был мальчиком. Цирк бывал для меня целым событием. Надо сказать, мне он в твои годы нравился гораздо больше. Но, может, тебе больше понравятся акробаты и изящная танцующая лошадка. Представление скоро уже начнется, но мы, возможно, успеем посмотреть укротителя львов.

Они подошли к огромной клетке. Лев выглядел усталым; рядом с ним стоял невысокий худой человек в костюме для верховой езды и пощелкивал плеткой, которую держал в руке.

— А теперь, леди и джентльмены, чтобы показать вам, как велика моя власть над этим зверем, я открою его страшные челюсти и вложу в них свою голову. Я рискую жизнью, леди и джентльмены, и вынужден просить вас соблюдать полную тишину, потому что малейший звук может возбудить льва, а это, — он принужденно засмеялся, — может вызвать нежелательные последствия для моей шеи. Как вы сейчас увидите, этот дикий зверь является обладателем острых зубов. Все, кто не верит мне на слово, могут сами войти в клетку и убедиться в этом лично.

И он заставил себя засмеяться еще раз.

Аудитория мгновенно затихла. Все затаив дыхание следили за человеком в клетке.

— Пап, он...

— Замолчи, — прошипел отец. — Ты что, не слышал, что он сказал?

И отец сильно стиснул руку Билли.

Человек подошел к льву и хлестнул его плеткой по спине. Лев послушно вспрыгнул на помост в середине клетки. Снова послышался свист плетки — и лев громко зарычал. Укротитель медленно взял льва за морду и начал раздвигать ему челюсти. Все его мускулы напряглись, он бормотал какие-то слова. Сначала лев сопротивлялся и глухо рычал, потом он начал медленно уступать, обнажая неровные острые белые зубы и темную красноту пасти, которой, казалось, не было конца. Когда челюсти льва совсем раскрылись, укротитель вложил свою голову в эту жуткую черную полость. Зрители замерли.

— Папочка, я хочу домой, — начал Билли плачущим голосом.

— Сейчас же прекрати! Ты что, хочешь, чтобы лев откусил ему голову? — сердито прошептал отец и больно сжал руку Билли.

Билли заревел.

— Домой хочу, уйдем отсюда, — просил он, глотая слезы.

— Шшш, тише! — шептали люди, стоявшие рядом с ними.

Человек медленно вынул голову из пасти льва, и все облегченно вздохнули. Он посмотрел на зрителей. По лицу его струился пот, глаза нервно моргали, как будто он все еще оставался во власти грозных клыков. Но вскоре сознание безопасности разлилось по его лицу, и он улыбнулся широкой и гордой улыбкой. Громко шелкнула плетка, и лев, соскочив с помоста, уполз в дальний угол на прежнее место. Толпа дружно захлопала. Билли продолжал плакать.

— Ну что ты, Билли. Все уже кончилось. Ты же не хочешь, чтобы тебя считали плаксой? — теряя терпение, увещевал его отец.

— Ну и пусть считают, — настаивал Билли. — Я домой хочу.

И он потянул отца за рукав пальто.

— Да заткни ты ему наконец глотку, — сказал кто-то из стоявших рядом. — Обязательно какой-нибудь сопляк испортит настроение!

Билли заплакал еще громче, теперь уже вздрагивая всем телом при каждом всхлипе. Люди в толпе оборачивались, разглядывая его, переругиваясь между собой.

— Прекрати же наконец, и мы пойдем в зал, на наши места, уже начинают, — сказал отец и, взяв Билли за руку, повел его сквозь толпу.

Пока они шли к выходу в зал, Билли продолжал плакать.

— Мы не войдем, пока ты не перестанешь плакать. Можно подумать, что тебе два года и ходить в цирк тебе еще рано.

— Домой хочу, — плакал Билли. — Я больше ничего не хочу здесь смотреть.

— Как! Разве ты не хочешь посмотреть на акробатов, клоунов и слонов?

— Нет, я домой хочу. Мне не нравится в цирке!

— Пустяки! Давай высморкаем нос и вытрем слезы, тебе сразу станет легче. Ведь сейчас мы увидим самое интересное.

Отец вынул платок и поднес его к лицу Билли.

— Вот, а теперь сморкайся хорошенько. Так, теперь вытрем слезы и будем вести себя, как взрослые. Ты же не хочешь вернуться домой, чтобы мама подумала, что ты просто маленький плакса?

— Пожалуйста, пойдем домой, если можно! — Он смотрел на отца умоляюще, по щекам его текли слезы, глаза были красными, губы дрожали.

— Хорошо. Мы пойдем домой, только перестань плакать. Ты и так сделал из нас посмешище. Больше я с тобой в цирк никогда не пойду. Лучше бы я остался дома и спокойно дочитал газету.

— Надеюсь, вы хорошо провели время? — спросила Элен, когда Фред вошел в гостиную. — А где Билли?

— У себя в комнате. Всю дорогу домой он плакал. Честно говоря, я просто не знал, что делать, — сказал отец, опускаясь в кресло. — К черту! Ну и денек! С меня хватит.

— Господи, да что случилось? Почему он плакал?

— Не знаю, наверно, он еще мал и просто испугался.

— Надеюсь, Фред, ты не потащил его смотреть этих близнецов с двумя головами, такое зрелище напугает любого ребенка.

— За кого ты меня принимаешь! Слава богу, у меня есть голова на плечах. Не знаю, какая муха его укусила. Пока мы смотрели дополнительную программу, он без конца задавал всякие дурацкие вопросы, капризничал, не желая ничего смотреть, а когда увидел, как укротитель кладет голову в пасть льва — разревелся, как младенец. Ну как тут было не растеряться!

— Зачем же ты повел его смотреть такие вещи — это зрелище совсем не для маленьких. Не удивительно, что он плачет.

— Уж не знаю тогда, что ему было плакать. По-моему, ему там вообще не нравилось. А уж после укротителя он стал проситься домой и больше ничего смотреть не хотел, даже представление. Попусту загубленное время!

— Наверное, он еще просто мал для цирка. И вообще он и сам не без странностей. Надеюсь, ты понял, что значит провести с ним целый день. Может, теперь ты станешь уделять ему чуточку больше внимания.

— Зачем ты так говоришь — я достаточно к нему привязан. Куда, к чертям, девалась моя газета?

Вильгельм Буш

Любимый цирк

Моя любовь к цирку — с чего же она началась? Все началось с любви к лошадям у совсем еще маленького мальчика, который гонялся по саду дома в Бреслау, держа в левой руке старую метелку, призванную изображать хвост коня.

Он гонялся за упряжками пивных фургонов, не в силах оторвать глаз от взмокших великанов-тяжеловозов до тех пор, пока кучер не отрезвлял его метким ударом кнута по лошадиному крупу. Он знал всех извозчицких клыч города. Скучая над школьными уроками, он различал их уже по цоканью копыт; он точно знал, какая из них громыхла по улице — белая ли в серых яблоках, что хромала на левую заднюю, или рыжая, припадавшая на переднюю правую. Он еще и сегодня ясно видит перед собой ломового жеребца, у которого не хватало пол-уха. Норовистое животное вместе с бесцветным товарищем впрягали в одну телегу для перевозки строительного песка. При разгрузке высокое заднее колесо каждый раз по самую ступицу уходило в песок, который вываливали простым поднятием боковых досок. Когда нужно было вытянуть телегу, жеребец, по брюхо завязший в песке, брал с места таким мощным рывком, что телега тотчас высвобождалась.

Мальчик рвал траву с газонов для белой толстой лошадки с молочно-голубыми подслеповатыми глазками, развозившей в его квартале почту. Он заглядывался на рысистых жеребцов, развозивших фургоны с мясом; он радовался, встречая утром по дороге в школу элегантный кабриолет, на котором почтенный коммерции советник Хазе направлялся в свое бюро. Событием, сходным с посвящением в рыцари, была для него просьба одного извозчи-

ка подержать лошади заднюю ногу, чтоб сподручней было почистить ей копыто. И когда семья возвращалась с летних каникул и на главном вокзале его подсаживали на козлы между кучером и громадной корзиной и позволяли в тихих закоулках брать вожжи, это было для него самым прекрасным за все каникулы переживанием.

Не удивительно, что первый же свой заработок он потратил на уроки верховой езды, но к этому времени в жизнь его уже вошел цирк. Первое посещение цирка так ошеломило и захватило его, что из-за силы впечатления забылись частности. Воспоминание закрепилось лишь параллельным воспоминанием о возведении палаточного цирка. Живое чудо этого переживания — как в течение нескольких часов из хаоса возникает город-цирк — не поблекло для меня и по сей день. Оно и сегодня осталось той увертюрой, без которой немыслимо собственно цирковое представление.

Любовь к цирку давным-давно стала для меня «старой любовью», может быть, вообще больше любовью к цирку «за кулисами», к цирку, каким он предстает перед глазами в палаточных конюшнях, между жилыми фургонами и вагонами с реквизитом. Как влюбленному его возлюбленная кажется полуодетая еще прекрасней, так и пораженный страстью к цирку чувствует его всего острее, когда ему удастся подглядеть, как цирк производит туалет, принаряжается. Но, так или иначе, лошади остались для меня сердцем цирка. Бесстрашные акробаты, клоуны, пожинаящие веселый смех, мужественные укротители — все это составляет цирк. Но высшее воплощение циркового искусства — белое пламя штейгера, взрывающееся в затемненном на несколько секунд манеже. В моем детстве при больших цирках были еще и некие подобиya кунсткамера. В них показывали разные уродства. К этим жутким представлениям я ребенком не имел доступа. Но незабываемой для меня осталась дама, которая, уложив редкие волосы пучком на макушке, помахивая большой окладистой бородой, вязала чулок...

...В проходе между конюшнями кузнец собирается с помощью острого ножа чистить подковы. Это — трудная работа. Подручный кузнеца, держащий переднее копыто, и кузнец, склонившийся под крупом лошади, образуют живописную группу. Это как бы символ взаимоотношений — взаимная зависимость, лишенная сентиментальности.

Да, у кузнеца нелегкая работа.

Ему скоро семьдесят. Жеребцам нужны особые подко-

вы. Кузнец — лошадиный ортопед. Уход за копытами — его работа. Иной пациент может неожиданным пинком задней ноги превратить старика в калеку. Чтобы добратся до самых трудных из своих воспитанников, он построил специальное заграждение.

Когда цирк гастролировал в Рейнской области, на его родине, он впервые за долгое время мог переночевать в собственном доме, на своей постели, но это было не то — постель была слишком мягкая, а вокруг царила тишина. Без громаханий и звона железных поводов, без храпа лошадей над ухом он не мог заснуть. Поэтому старик вечно в пути, вечно при своих лошадях.

...Он уже так стар и слаб, что во время работы должен сидеть на перегородке. Пони, которого он чистит, стоит опустив морду в полотняную кормушку и, когда ему щекотно, прядает в сторону. Старик ругается не умолкая:

— Стой тихо, поганка! Стой тихо, тебе говорят, не то убью!

И так все время, а порой и похлеще. Но старая худая рука при этом ведет скребницу так осторожно, так нежно, словно он расчесывает волосы прекрасной юной фее.

Когда сидишь тихо, углубившись в свое дело, твоего присутствия не замечают. И прислуживающий у слонов, пробираясь между серыми колоссами и подметая помост, на котором стоят прикованные цепями слоны, наверняка не подозревает, что я сижу в углу шатра и рисую. Служитель явно новый. По-обеденному тихо. Слоны раскачиваются, время от времени сухо посапывают, цепи звенят, метла скребет пол, в шатре ни одного зрителя. Главного сторожа нет. Я рисую, каждый раз заново пораженный формами мощных черепов.

Вдруг я вижу, как хобот ощупью пробирается к руке сторожа, играючи хватая его за рукав. Тот в испуге отскакивает, но потом продолжает свое дело, подметает между другой парой животных. Теперь уже другой хобот еще решительнее атакует сторожа, отбрасывает его в сторону, тот несколько секунд колеблется, но в конце концов преодолевает страх и вновь подходит к зверям. Тут его хватает третий хобот и швыряет на сено, уложенное штабелями в углу шатра. В этот момент возвращается главный сторож; он видит, как его помощник пытается встать на ноги, тотчас понимает, в чем дело, берет тяжелую дубинку и начинает без разбора лупить слонов.

— Нельзя им спуска давать, — кричит он, — а то потом к ним будет не подступиться!

Я этого сторожа знаю давно; он хорошо ухаживает за животными и любит своих слонов. Я попросил Филакса, клоуна, сесть в уголок шатра к слонам; мне хотелось его нарисовать. Под серым полотнищем шатра хорошее освещение. Филакс садится, но ему явно не по себе.

— Филакс, что с тобой?

— Ничего, отстань.

— Нет, скажи, что такое?

— Малый работает па канате; если за ним не смотреть, упадет.

— Ну тогда беги к нему, рисование обождет.

— Нет, не надо. Пусть привыкает. Пора уж.

Да, это тип, с которым я не хотел бы повстречаться в лесу. Перебитый нос, опухшие, слезящиеся глаза пьяницы, щетина, свидетельствующая о том, что он много дней не брился, одежда такая помятая, словно ее несколько месяцев не снимали. Насквозь пропыленный, серый, всеми отверженный и наконец прибившийся к цирку в качестве погонщика верблюдов.

Солнце освещает шатры и фургоны, из шапито несется музыка. На площади по-воскресному весело. Много зрителей пришло смотреть животных. Вот откидывается полотняная стена верблюжьего шатра, и из него выскакивает худенький темно-кофейный верблюжонок, неловкий, брыкающийся передними и задними ножками. Ему не больше восьми дней от роду. За ним возникает этот мрачный тип. Он тащит за собой медленно ступающую мать верблюжонка за недоуздок. Тихо ступая, колыхая горбами, свесив губу, высокомерно глядя перед собой, тяжело ступает она по кругу. Верблюжонок жизнерадостно визжит от избытка сил и сучит длинными голенастыми ногами. Картина детской непосредственности и трогательной беспомощности. Тип не может отвести глаз от малышки. Мрачная рожа тает от умиления и превращается в доброе, милое лицо.

Я сижу на моем складном стуле у подножия маленькой лестницы, ведущей на сцену. Одни девушки из циркового балета сидят, другие стоят на лестнице. У самого моего лица — плетение сетчатых чулок, облегающих их ножки. Справа долетают гортанные выкрики африканцев из Северной Африки, которые после представления рабо-

тают бутафорами и кучерами. Надо мной и над моим рисовальным альбомом изгибаются благородные головы белых лошадей. Изнутри доносится музыка, сопровождающая номер на канате. Все насыщенно, плотно, во всем — игра светотеней, красок, запахов, звуков, все делает меня счастливым. Рисовать при этом нелегко. Вот беда — во всех этих беглых набросках, которые создаются с таким напряжением в течение минуты, только я один и могу увидеть полную картину пережитого.

Я опоздал. Шапито уже стоит. Но пока тут пусто. Тент еще не натянут. Как проста и целесообразна архитектура такого вот большого шатра. Есть в ней что-то идущее от прообраза, от архетипа, от исходной формы. Большой шатер — он бы не вызвал удивления в пустыне. Но здесь, посреди большого города, он выглядит чарующе чуждым знаком кочевья. Лишь несколько мужчин стоят под высокой холщовой стеной. Смелые, четкие силуэты на светлом фоне открытых боковых стен. Они сродни шатру и чувствуют себя как дома в этой беспокойной обстановке. Лихо отогнутые поля шляп на длинноволосых головах, клетчатые рубашки, порванные пуловеры. С вокзала подъезжают еще фургоны со зверями и аппаратурой. На громыхающих тракторах сидят фигуры, которые словно бы сошли с козел кареты из ковбойского фильма; эта пестрая толпа мужчин, несущая цирк, творящая его, переносящая с места на место, пакующая, возводящая, ухаживающая за зверями и кормящая их, приволакивающая реквизиты. Группа авантюристов. Они себя называют «кучерами», когда имеют дело со зверьем, — «кучерами» диких зверей, «кучерами» верблюдов и слонов. Странно — казалось, словно эти типы просто бесцельно слоняются взад-вперед, и все же в течение получаса, пока я стоял у фургона с хищниками, была натянута боковая стена, фургоны выстроились в порядке вокруг шапито, тюки с сеном были разгружены перед шатром-конюшней, решетчатый проход на арену присоединен к фургону с хищниками. Небрежно, как бы играючи, здесь выполняется самая тяжелая работа. Эти люди могли бы где угодно найти более легкую и лучше оплачиваемую работу. Но они работают в цирке потому, что могут работать, только когда работа их захватывает. Цирк — это особая стихия, и она притягивает к себе тех, кто не нашел себе обеспеченного места в обществе. Некоторые из этих «кучеров» не смогли найти

общего языка с людьми. А здесь, со зверями, они находят общий язык; здесь они могут быть добрыми. Вот, например, этот непоседа, вечно встревоженный, странно замкнутый, а тот — мечтатель, похож на того «большого друга» из сказки, который не переносил счастья. Встречаются тут и примитивные личности, просто наемники, которые приходят и уходят и не привязываются душою ни к чему на свете. Есть и молодые, которые рассматривают цирк лишь как промежуточную станцию, как трамплин к постоянно-му и прочному устройству в жизни. Честолюбцы добиваются здесь многого. Почти все укротители начинали с «кучера».

«Больше всего люблю блондинок, их легче прибрать к рукам», — слышу я, как говорит один. Сладковатый запах хищных зверей мешается с соленым запахом пота; грязная рубашка распахнута на волосатой груди; запястья шершавых рук сжаты широкими кожаными браслетами; глаза щурятся от света. «Кучер» хищников задвигает заслонку между решетками, отделяет тигров друг от друга для кормления. Звери беснуются в своих тесных клетках, выгибаются, падают на спину, шипят. На тяжелых железных вилах им просовывают под решетку прослоенную желтым жиром конину. Лапы просовываются сквозь прутья. «Кучер», их полновластный повелитель, действует в совершенном сознании своей силы и могущества. Он даже не оглядывается на девушку, которая перевесилась через оградительную решетку: он не беспокоится. «Ну-ну, гляди на меня, гляди на меня на здоровье...».

На позднем послеобеденном солнце сидят они на отставленных цоколях все вместе, пестрые клоуны. Вплотную у серо-желтой полотняной стены — старый Белый клоун в драгоценном костюме, осыпанном блестками. Отважно загнутая черная бровь придает лицу оттенок извращенной насмешливости. Крылья и кончик носа, уши намазаны огненно-красным цветом. Красное пылает на фоне холодного металлического блеска его костюма. Рыжий происходит от старинного артистического рода, он — все-сторонний артист, сильный мужчина средних лет, и легко нанесенный грим не отнимает ни единой дольки его здоровья. Он говорит на мужицком швейцарском диалекте. Широкая накидка падает множеством складок.

Здесь и мужчины с недоразвитыми конечностями, ставшие комиками по воле жестокой природы. Один из них,

державший за руку миниатюрную изящную дочь, — счастливый вариант этого типа. Веселый нрав дает ему возможность рассматривать ниспосланное ему уродство как художественное средство, как дар смешить публику. У другого — огромная львиная голова с грустными водянисто-голубыми глазами. Неаккуратно нанесенный грим не придает этому лицу веселости. Третий — мужчина с серьезным лицом, труженик, с которым творение сыграло злую шутку. Все трое в составе труппы — лишь пестрые кляксы. А вот и добрый Филакс — клоун у ковра и одновременно предводитель карликов, настоящий детский клоун: красный нос картошкой, обведенные розовой краской маленькие глазки и клочковатый льняной парик. На нем костюме из клеенки кричаще желтого цвета. Он говорит на твердом, смешном восточнопруссском диалекте. Между номерами, во время подготовки к следующему номеру, он должен кувыряться с карликами по манежу. С начала вечернего представления и до глубокой ночи он не снимает костюма. Определяющее звено программы. Добросердечный и всегда ровно веселый, он кажется добрым духом этого разношерстного общества.

Пестрая, как пасхальное яйцо, группа зашевелилась. Всем нужно подготовиться к большому выходу клоунов — к классическому номеру с плесканием воды. Площадка на несколько мгновений опустела, но уже входят слоны, входят под холщовую крышу, которая, из-за того что слоны задевают ее головами, внезапно кажется очень низкой.

Вот присел сын хозяина в костюме ковбоя, и я рисую его.

Вот вышли из шапито после номера Ривели. Целито прислонился к одной из шатровых стоек.

За нами громоздятся подпорки для слонов и другие реквизиты. Нам не видно лошадей, которых собирают у входа в шапито для большой карусели.

Кругом шорохи, голоса. И вдруг истерический вскрик жеребца.

Откуда в такой момент понять, что именно этот крик среди многих других означает несчастье?

Я вскакиваю, вижу, как конюх, прижав кулаки к животу, пытается выкарабкаться из-под шатра. И остается лежать.

Между ногами зверя я вижу грязно-белое лицо на коленях у дежурной сестры милосердия.

Музыка в главном шатре исполняет галоп, лошади пробиваются к манежу.

Целито улыбается. Беспомощная улыбка. Надо продолжать!

Карета «скорой помощи» уехала.

Как гром цокают копыта лошадей. Они уходят из шапито в свои конюшни...

Два клоуна беседуют друг с другом. Совершенно разумно; может быть, о рыбалке или о каком-нибудь другом хобби. У одного огненно-красный парик патлами свисает па известковое, загримированное лицо. У другого под красным носом намалевана вечная улыбка. На голове у него совершенно сумасшедшая шляпка. Кроме того, он втиснут в старомодный, слишком узкий фрак. У партнера широченные штаны жидким тестом обтекают огромные шлепанцы. Один по-светски протягивает другому никелированную зажигалку. Может быть, они беседуют о том, что неплохо бы вступить в строительный кооператив. Но вот их очередь выступать. Они идут к занавесу, быстро хватают свои чудовищные реквизиты и исчезают внутри шатра. Внутри — визги, крики, звенят пощечины, раздаются аплодисменты, дети смеются. Наверное, оба клоуна вытворяют там что-то немыслимо смешное. Через несколько минут раздвигается занавес, лошади протискиваются мимо выходящих па манеж клоунов. Один сдирает свой красный нос, другой стягивает парик. Они продолжают разговор; солнце сияет; оба идут, погруженные в беседу, между рядами публики, к фургону с гардеробом. Они не ощущают своей странности, оба представителя комического ремесла. Они не замечают больших глаз маленькой девочки, которая все никак не может оправиться от впечатления чуда, которое подарили ей эти пестрые дяди...

...Франски сидит в своей уборной перед зеркалом. Размалеванное красным гримом лицо резко контрастирует с белой кожей шеи. Сквозь сетчатую рубашку виден жилистый торс; на костлявых бедрах — подбитые ватой кальсоны; черные полуботинки на толстой деревянной подошве, верх которых состоит из сплошных заплат, стоят рядом на стуле.

Штаны, серая жилетка, слишком узкий пиджак висят на ширме. Спертый воздух, грим, пот, пыль.

Франеки стонет, прикладывает руку к горячему лбу.

— О, мне нехорошо, голова болит, температура, о-о... —

Это не притворство. Даже сквозь грим видно страдание. Стучат.

— Господин Франски, ваш выход!

Ноги — в штаны, зашнурованы бесформенные ботинки, нахлобучен котелок.

Зажав тромбон под мышкой, по узкому проходу мимо других уборных идет эксцентрик — обладатель нескольких домов в Брюсселе, великий мастер своего дела. Он вздыхает про себя, он ужасно одинок.

Имитирующий голоса зверей прыгает за кулисами, вспотевший, взвинченный, — еще раз на выход, еще раз кланяться перед публикой. Наконец он уходит. Начинается вальс на льду. Задняя кулиса взвивается кверху. Вместо нее спускается зимний пейзаж. Занавес раздвигается; сцена ярко освещена. Франски подымается с места, делает несколько скользящих движений на своих деревянных подошвах взад-вперед, скрещивает руки на груди и вылетает на своих неподатливых башмаках.

Тут ему нет равных — все эти восьмерки, пируэты и другие фигуры катания! Рраз — он упал, и теперь уже неукротимый рок преследует его: падение следует за падением, ловкость движений не помогает.

Публика рычит от радости, и все кончается отвратительным каскадом.

Затем следует номер с тромбоном.

Франеки, все еще неуверенно передвигающийся на коньках, которых у него вовсе и нет, проглатывает мундштук тромбона, разрывает на части инструмент, падает. Все пропало, все сломано. Занавес. Франеки трижды выбегает кланяться. Едва переводя дыхание, он становится рядом с пожарным, смотрит на него, хватается за голову, стонет: «Ох, как голова болит». Потом вновь возвращается по длинному коридору. Двери открываются-закрываются. Издалека доносится музыка.

А вот и Чарли Ривель. Вновь на сцене это бессмертное дитя в мужчине, смешное и трогательное одновременно, вновь повторяется призрачная игра с некоей третьей рукой, вновь он произносит свое классическое «отлично», чтобы после тысячи уловок закончить выступление великолепной пародией на оперу.

Публика неистовствует от восторга, а Чарли угощает ее новым чудом. Он делает себе клоунскую маску прямо на глазах у всех — отвага, до которой не доходил еще ни-

кто. Не разочаруется ли публика, если станет свидетельницей того, что не без основания обычно скрывают? Чарли Ривель сильно рискует. В зале полная тишина. Человеческое лицо становится маской. Процесс гримировки более чем за сорок лет практики стал пантомимой, совершенством, живым воплощением самого творчества. Чарли Ривель раскрывает тайну, он доверяется нам. И все же, окончательно превратившись в черно-бело-красного клоуна, пристыженно-лукавый, он ни на йоту не уронил своего достоинства. Его достояние, это сказочное богатство детской веселости, остается неисчерпаемым и при самом щедром даровании...

Как богато он одарил нас, пока мы хохотали, как много дал нам этот человек в маске, мы замечаем лишь тогда, когда Чарли исчезает за кулисами.

Выступления клоуна Осси Нобль проходят очень тихо. Даже когда он играет на ударных, он поражает сдержанным тремоло. А если знать, что отец и мать клоуна были глухонемыми, тонкий комизм игры сына получает новый аспект. В обращении с родителями ребенок, видимо, еще очень рано понял, что шумным поведением нельзя добиться подлинного контакта, что жест, взгляд гораздо вернее убедят и поразят собеседника. Когда Осси Нобль говорит — а он любит, как ребенок, подробно жаловаться на случившуюся с ним незадачу, — он обходится без слов. Он говорит на языке, на котором не говорят ни в одной стране земного шара. И если все же этот язык понятен повсюду на земле, то потому, что он одной лишь своей музыкальностью способен выразить радость и страдание, элементарные чувства любого человека глубже, чем слово, ограниченное смыслом.

Встречи с вещами, окружающими его на сцене, создают все новые неожиданности. В своей простодушной доверчивости Осси Нобль никогда не научится считаться с коварством, заключенным в вещах. Каждый раз он пугается.

Как ни хотелось бы ему оставаться незамеченным жизнью, погрузившись в свою тихую, неслышную игру, это ему не удастся. Осторожно ощупывает он, выбивая дробь барабанными палочками, почти ласково разные предметы. И они всегда реагируют — выстрелами, криком, дымом. А Осси Нобль остается наедине с собой. Этот английский клоун очень моден. Это не Чарли Ривель, который при всей своей впечатлительности остается здоровым. И хотя Осси Нобль тоже не устает внушать себе и нам, что

мир, несмотря ни на что, прекрасен, мы все же за его комизмом чувствуем беды, знакомые и нам. И как ни сияет его розовое лицо мистера Пикквика, все же этот человек мыслим лишь в эпоху, отмеченную неврозами и экзистенциальным страхом. Но он не был бы клоуном, не будь он оптимистом. И все же борьба с шезлонгом, который никак не хочет исполнять свое назначение, приводит в отчаяние и его. В конце концов он в слепом гневe швыряет этот упрямый предмет в сторону и уходит. И — о чудо! — шезлонг, оказывается, расставлен правильно — садись на него и сиди себе...

На огромном манеже цирка Буш в Берлине работает единственный клоун, мрачный тип, говорящий на жестком верхнесилезском диалекте. Он стоит тут особняком.

Он неприятно вульгарен в своих шутках. И тем не менее его игра захватывает.

Когда ему хлопают, смеются, он, делая угрожающие жесты и вытягивая худую шею из широких складок наде- того на него тряпья, орет: «Заткни глотку!»

И это настолько убедительно, что хлопки и смех робко умолкают.

Почему мне ни разу не удалось изобразить это лицо? Ни один из десяти рисунков не похож. Может быть, когда я его вижу в гриме, я не могу отвлечься от его подлинного лица?

Или это его лицо слишком просвечивает сквозь грим?

Это лицо под высоким лбом испанского гранда, лицо, лукавством своим напоминающее лицо Пикассо во время беседы, всегда по-комедиантски подвижно; это лицо взрослого мужчины и ребенка одновременно.

Может быть, мне не удастся схватить его подвижность, выражение серьезности, меланхолии, плохо сочетающееся с желанием веселить? Или вся трудность в том, что светлые янтарные глаза кажутся темными от белого грима? Брови, преувеличенно приподнятые к середине лба, остаются символом боли, а узкие черно-синие губы кажутся не менее чувствительными, чем губы великого трагика. Покрытый красным лаком нос во всей своей вызывающей глупости ничего не может поделаться с тоской глаз, мрачных даже под белыми известковыми веками.

И я не могу добиться того, чтобы эти два лица совпали.

Когда мне было восемнадцать лет, я имел счастье целыми днями рисовать Энрико Растелли во время репети-

ций. Рисунки, которые были тогда сделаны, потом потерялись, как и многое другое, в сумятице времени.

Это было в театре Либиха в Бреслау.

На слабо освещенной сцене Растелли репетировал часами с невероятным терпением и выдержкой. Я ни разу его не видел во время самого спектакля, но видеть, как он в забытьи играл своими мячами, повторяя все время одни и те же фигуры, было, наверное, еще прекраснее, чем видеть его при свете рампы. Его жена, беременная, на сносках, все эти долгие часы просиживала в глубине сцены. Каждый раз на сцене работало или просто стояло и разговаривало еще несколько артистов. Все много смеялись. Растелли сам любил посмеяться, например изображая, что у него уже родилось двое близнецов и он их подбрасывает и ловит.

Сколько бы раз мячи ни падали у него со лба, ни скатывались с затылка и ни соскакивали с ног — он оставался веселым. Даже со мной он был неизменно любезен: приносил мне стул, советовал, как быть с рисунками.

Работа артистов нелегкая. На репетициях все шло спокойно и размеренно. Редко у меня создавалось впечатление отталкивающей жестокости или грубости.

То, что во время представления на манеже кажется таким легким, дается большим трудом. Этой-то легкостью и восхищается публика. Ради этого восхищения, ради аплодисментов артист живет. Что же касается Энрико Растелли, то у меня всегда было ощущение, что он продолжал бы работать со своими мячами, занеси его судьба хоть на необитаемый остров.

Стремление добиться невозможного, невесомому с лёта придать тяжесть, а тяжелое освободить от веса, сгладить противоречия, создать гармонию было его прирожденным свойством. И когда ребенок играет с мячом, у него то же выражение лица, как и у Растелли, — взрослого мужчины... Я видел многих жонглеров. Они добивались поразительных вещей с помощью реквизитов и трюков — может быть, среди них был и такой, кто владел мячами с большим совершенством, чем Растелли, — но никто из них не воплощал до такой степени единство бытия и движения. То были самые обычные шары, возможно, купленные в простой лавчонке, а он заставлял их вертеться вокруг своей головы, перебегать с руки на руку и вверх по руке к груди и бросал мяч в публику, откуда он возвращался пря-

мо к нему на затылок, как птица в свое гнездо. Не помню уже, сколькими мячами одновременно Растелли мог жонглировать, да это и не важно. Так он и запомнился мне без публики с летящими мячами — самоотверженный человек, умевший дарить счастье, оттого что ему было дано на всю жизнь остаться ребенком.

...Наездница демонстрирует высшую школу верховой езды. На благородном белом коне влетает она на манеж. Своими формами — высокой шеей, пружинистым крупом, весь подтянутый — жеребец походит на ожившую барочную арабеску. На замшевом седле — юная наездница в черной уланке, отороченной белым мехом. Ножи в элегантных сапожках со шпорами легко и изящно подгоняют жеребца. На плечи падают длинные светлые волосы. Над кивером развевается белое перо.

Плавным галопом всадница объезжает манеж. Капельмейстер гибко приспособил музыку к ритму движений коня. Наездница и лошадь действуют слаженно. Это высшее мастерство верховой езды. Летящий галоп сменяется рысью. Жеребец послушно жует уздечку, белая пена хлопьями падает со взмыленной лошади.

Девушка тоже в напряжении — настоящая верховая езда требует напряжения, — но с виду она легка и полна прелести. Лошадь, несмотря на украшенную мишурой голову и танцевальные движения, полна серьезности. Темные глаза, суровый лоб, раздутые поздри, повороты корпуса на стальных, мускулистых ногах напоминают классических копей, увековеченных на фризе Парфенона.

Каждый раз одни и те же движения и фигуры. Школа верховой езды обусловлена и ограничена движениями, свойственными самой натуре лошади. Однако внутри этих возможностей наездник, учитывающий специфический характер и внешность собственной лошади, может доходить до совершенства и находить именно те оттенки, каких ждет от него знаток и любитель. Имена знаменитых всадников и их коней популярны не меньше, чем имена великих танцовщиков. Искусство это передается по традиции, а слава наездников закреплена молвой и преданием: мы знаем о частной жизни мастеров седла, знаем, что знаменитые наездницы нередко становились графинями. Все это мы знаем, но об особенностях движений, особенности каждого наездника и коня можем лишь подозревать, ибо словами такое не передается.

Юная всадница приподнимается в седле, заставляя своего жеребца, встав на дыбы, грациозно поклониться. Сама Тереза Ренц — великая женщина, мастер дамского седла — с сознанием, быть может, своего превосходства, но все же от души аплодировала бы Кристель Зембах-Кроне.

Венгерская труппа акробатов на трамплине до полудня репетирует в теплом полусвете главного шатра.

Вся семья за работой. Все вертится вокруг двенадцатилетнего сына, который участвует в вечернем представлении. Он образует вершину большой пирамиды. Ему надо научиться делать сальто.

На нем предохранительный пояс, и в случае чего два его брата могут подхватить его с помощью двух тросов.

Снова и снова его выбрасывает катапульта, на другой конец которой с подставки прыгает его сестра, и оба беспомощно повисают на тросах.

Так продолжается часами. Сальто никак не получается. Всей семьей им дают советы.

Надо еще поднажать. Ничего, ничего. Но мальчик разражается слезами. Не потому, что вконец замучился, а оттого, что не выходит проклятое сальто.

Репетиция продолжается до обеда. Аппаратура убрана. Отец, наклонясь, шнурует ботинок. Мальчик стоит рядом. Они о чем-то говорят на своем родном языке. Вот мальчик рукой обнимает отца за шею и смеется. На лице мужчины сдержанная улыбка.

Простая доска, четыремя железными штангами прикрепленная к оси. Качель высотой с дверь. Русские качели. Доска приводится в движение весом и усилиями трех-четырех мужчин.

Руководителя труппы я видел перед началом представления на цирковой площадке. Человек средних лет, стройный. Несмотря на перебитый, видимо бывший во многих переделках, нос, он сохранил ясную голову. Перебитый нос придает лицу даже какое-то особое выражение трагической мужественности.

На представлении я сижу так, что все время вижу его лицо. Игра начинается. Четверо взрослых стоят на доске и раскачивают ее. Стоящий на конце доски мальчик в наивысший момент раскачивания катапультируется и, перевернувшись в воздухе, становится на плечи отца. Нагнетается барабанная дробь; старший сын, по весу и росту — взрослый мужчина, выбрасывается в воздух, ввинчи-

вается в воздух, делает сальто и, упершись ладонью в отцовский лоб, делает стойку на одной руке.

О, это лицо, лицо ловца, лицо отца, устремленное вверх в ожидании человека-снаряда, несущегося на него каждый раз по иной параболе! Сколько же раз эта рука, вообразившая в себя весь вес взрослого человека, умноженный силой падения, — сколько же раз она больно ударила его по лицу? Перебитый нос дает ответ на этот вопрос. Но снова и снова, когда сын-партнер будет нестись на него с вышины, он снова и снова пружинисто и точно его удержит.

Антракт кончился; Евгений Вейдманн входит в центральную клетку. Молодой, сильный, стройный человек весь в белом.

Решетка взвигается вверх, и на манеж выскальзывают, выскакивают, тяжело вываливаются, тяжело ступают — в зависимости от рода и темперамента — разные звери, образующие смешанную группу хищников.

Звери занимают свои места на подставках, и сразу делается ясно, что выступление с хищниками требует от укротителя особых качеств.

Человек в клетке должен все время глядеть во все глаза и быть начеку. И если дрессировщик лошадей может полагаться на память своих животных и на их радость при повторении раз навсегда заученных фигур и рассчитывать на их стадное чувство, то укротитель хищных зверей имеет дело с отдельными существами, которые во время каждого представления держатся иначе — в соответствии со своей индивидуальностью и в зависимости от своих особенностей. Никогда нельзя рассчитывать, что зверь подойдет к своему месту точно тем же путем. Всегда существуют отклонения, варианты, и необходима невероятная бдительность и сосредоточенность, чтобы зверей, так сказать, спать в коллектив.

Евгений Вейдманн при всей своей быстроте и чуткости сдержан и спокоен. Взмах хлыста, тихое слово — и звери занимают свои места. Ни на секунду не выпуская зверей из виду, он расставляет посреди клетки подставки и помосты. Когда он проходит мимо огромного уссурийского тигра, тот каждый раз подрагивает полосатой передней лапой. Львы первыми подходят к установке. Два гималайских медведя, качаясь на задних лапах, идут за ними. Белые медведи — примитивные создания — садятся на

боковые подставки, тигры пружинисто вскакивают на самые высокие сиденья, а оба леопарда на своих досках, приделанных высоко к решеткам, усаживаются лениво, по-кошачьи. Живая картина готова. Евгений Вейдманн поднимает заклинаяще руки, и тигры, львы и медведи, шипя и брюзжа, застывают на несколько секунд и тотчас соскальзывают, убегают, уходят к своим местам у решетки.

Укротитель — это настоящий мужчина. И публика это чувствует. В его движениях тоже есть что-то хищное, его превосходство над зверями вызывает восхищение. И в то же время за него боятся. Он — герой, настоящий герой, и ему нисколько не вредит, что он в самоупоении к тому же еще и играет героя. При этом он играет не заученную роль, он играет самого себя. Суть и игра полностью совпадают. Пафос, с которым он вытягивает в руке горящий обруч, через который должны прыгать тигры, вполне убедителен, ибо здесь жест точно соответствует цели. Облик его не меняется и в моменты острой опасности. Вот одного из тигров сбило с толку что-то непредвиденное, он не нашел своего места и притаился под подставкой, а через миг уже проносится через манеж. Все в тревоге — вот-вот нарушится весь порядок. Вейдеманн тут как тут. Но хлыст, который должен указать испуганному зверю дорогу, застрял в прутьях. На несколько секунд Вейдеманн парализован. Рывок — хлыст не высвобождается. Тогда он шагает по направлению к решетке, уставив глаза на зверя. Тот в любой момент может на него кинуться. Вейдеманн хватается рукой хлыст, который ассистент молниеносно протягивает сквозь решетку. Порядок восстановлен, и когда Евгений Вейдеманн в конце представления обходит центральную клетку с тремя тиграми — это совершенная, гармоничная и законченная группа.

Маттис с мадам Ивонн, которая демонстрирует у Карла Альхоффа смешанную группу хищников, стоят перед клетками для молодняка — старый мастер и молодая женщина, достигшая значительных успехов. Они заняты увлекательнейшей беседой, необыкновенно интересно обсуждают на профессиональном жаргоне свои дела. Посреди огромного северогерманского города они говорят о тиграх из Индии примерно в тех же выражениях, в каких кроликовод стал бы обсуждать преимущества и недостатки голубых венских пород по сравнению с гамбургскими. Естественность, с какой эти двое беседуют со знанием дела

на такую весьма необычную тему, воплощает все чудо циркового мира.

Маттис на рубеже столетий пришел в цирк из буржуазной семьи, мадам Ивонн — квалифицированный ювелир. Два человека, мужчина и женщина, стар и млад, оба — простые, прямолинейные, их сближает то совершенство, с каким исполняют они свою опасную работу. Оба считают, что их ремесло основано на любви к хищникам, которые по самой своей природе вовсе не предрасположены отвечать им взаимностью. Госпожа Ивонн внимательно слушает того, кто владеет познаниями, приобретенными лишь долголетним опытом. Речь идет о кормежке, об уходе за животными, об их своеобразии. Ивонн рассказывает о первых репетициях. То, что мне давно известно из рассказов Маттиса, я опять узнаю из слов Ивонн. Чуть только в работе со зверями наступает неполадка, мадам Ивонн неизменно винит себя.

Звери никогда не виноваты.

Дитер Фарель работает со своими львами и тиграми в центральной клетке. Рядом со мной сидит пожилой господин. Наверное, для него это посещение цирка — экскурсия в далекое детство.

Все идет хорошо. Но вдруг что-то случилось. Один тигр пошел па льва, и через секунду они впились друг в друга. Дитеру Фарелю приходится действовать с молниеносной быстротой. Он палкой разгоняет их прежде, чем это инцидент стало катастрофой. Все улажено: звери вновь сидят на своих подставках. Мой сосед обращается ко мне и, улыбаясь, поясняет мне, что все, что только что произошло, конечно же, было подстроено. Я знаю, как номер должен проходить по программе, я знаю, что только что был очень опасный для укротителя момент. Симпатичный пожилой господин, конечно, не поверил мне, когда я объяснял ему то, что знал.

Рудольф Маттис, корифей дрессировки тигров, считает, что если бы ему еще привелось родиться на свет божий, он бы уже не стал заниматься хищниками. «Такая бестия чуть не голову у тебя отъест, а зритель говорит, что все это входило в программу. А когда звери сидят тихо как овечки, тот же зритель думает, что их чем-то оглушили. Был у меня как-то один тигр, так тот, пока я лежал на полу на спине, сожрал у меня на груди кусок мяса. И что же вы думаете?! Стали говорить: ах, какое милое, невинное это животное, если он ему так подставляется».

...В конце пустого прохода между конюшнями в белом кресле сидит бурый медведь. Конюх, готовящий его к выходу, ужасно страдает от зубной боли. Бедняга обмотал голову шерстяным шарфом, сидит перед медведем на корточках и пристегивает ему ролики.

Медведь мрачен, он тяжело откинулся в кресле, как толстый пожилой господин, положив руки на подлокотники, и угрюмо покоряется неизбежности. Вот для катания на роликах все готово.

Конюх встал, обнял медведя, прижался больной щекой к косматой голове, потом взял зверя под руку, помог ему встать. Так под руку они и идут к занавесу. Медведь неуклюже передвигается на проклятых роликах, поддерживаемый несчастным своим другом.

В шатре раздается музыка медвежьего номера, занавес раздвигается, человек подталкивает медведя, помогая ему сойти с неровного песчаного пола на гладкие половицы, ведущие к манежу.

И тот катится.

Злая старая коренастая макака с мощными клыками — опора семьи артистов. Они сводят концы с концами благодаря ее страстному темпераменту. А суровый этот кормилец живет с ними вместе в фургоне. Лучше всего с ним умеет обходиться маленькая дочка — четырнадцатилетняя девочка. Она одевает его перед представлением. Пока она натягивает на обезьянку фрак, та стоит на стуле. Серо-зеленые глаза беспокойно бегают. Нервно поднимаются и опускаются брови. По мере одевания она становится все более похожа на человека, фрачные брюки падают складкой на лакированные башмаки, крахмальная рубашка мешком висит на узкой груди, фалды фрака падают на пол, манжеты свисают на волосатые руки. Теперь осталось только подгримировать. Синим цветом покрыть веки, немного губной помады на узкие губы, так, а теперь еще осталось надеть на узкую голову цилиндр. И вот вам пожалуйста — злая карикатура на старика — прожигателя жизни конца прошлого века. На тонкой цепочке, прикрепленной к шее, этого джентльмена ведут на манеж. Там стоит миниатюрная спальня. Мать и дочь, волнуясь, следят за выступлением через щелку в занавесе.

И вот спектакль разворачивается вовсю, неизменный во всех деталях и все же всегда внушающий страх. Макака приветственно поднимает цилиндр, для чего ее дергают за поводок. Публика аплодирует, а у обезьяны первая вспышка ярости — она скалит зубы, издает какие-то неартикули-

рованным звукам. Если бы не цепочка, она бы бросилась на людей. Дальше все идет в том же духе. Маленькое чудовище сидит за столом и ужинает, фатально напоминая чело- века. И каждый раз на аплодисменты она отвечает вспыш- кой ярости. Она раздевается. Ну и потеха! Прежде чем лечь спать, она вынимает из ящика ночной горшок и са- дится на него. Вот потеха! Цирк взрывается от хохота. Обезьяна размахивает горшком, потеряв самообладание от бешенства. Вот она вскакивает в кровать и укрывается одеялом с головой. Можно лопнуть со смеху! Обезьяна покидает манеж, размахивая руками. За занавесом ее встречает девочка, берет на руки и уносит. Обезьяна об- нимает ее за шею и оглядывается через плечо. И светлые глаза беспокойно бегут.

В январе 1930 или 1931 года в старом здании цирка Буш у вокзала Бёрзе в Берлине я впервые увидел Васкон- челлос. Тогда цирку приходилось тяжело. Программы были вынужденно бедны. Можно было себе позволить максимум один выдающийся номер. И всегда это был Васкончел- лос. Все вокруг должно было стать фоном для его блеска. Он владел необычайно высокой школой верховой езды, имея на благородном копе вид испанского гранда. Второй его лошадью был маленький буланый жеребец, невероятно подвижный конь-танцор. Всадник и конь были словно сло- жены из одного куска. Он и по сей день все тот же. Позд- нее я видел на сцене «Зимнего сада» прямо-таки мамонта- тяжеловоза, который под Васкончеллосом безукоризненно выполнял самые тонкие упражнения верховой езды. Оче- видно, Васкончеллос любил, и сейчас любит, как под- линный артист сделать невозможное возможным. Чего только он не вытворяет со своими лошадьми! Он заставляет, например, лошадь галопировать на трех ногах, а под конец пятиться галопом. Самое невероятное то, что неес- тественное движение лошади выглядит вполне естествен- но. Это высшее мастерство. Такие виртуозы еще в конце прошлого века становились учителями верховой езды у князей и королей.

На сцене Цилли Файнт со своим гнедым. Я с мамашей Файнт стою в боковых кулисах. Она следит за каждым ша- гом, каждым пассажем, стонет, охает, трясет головой, ше- потом подсказывает Цилли, чтобы она сильнее подтянула

поводья. За нами стоит конюх с белым конем но кличке Паша. За кулисами ужасно тесно. А Цилли делает пируэты на своем Толстяке. Три раза под испанский марш обходит он сцену строевым шагом. Цилли трудно работать — ведь она проделывает это все на сцене, а не на манеже, у которого есть край, точно отмеченный барьером. Мамаша Файнт уже держит наготове кофту со стеклянными блестящими. Цилли, раскланявшись, направляет гнедого к кулисам, соскакивает на пол, быстро стягивает спортивный костюм, в котором ездила верхом, и с помощью матери надевает белую кофту. Гнедой тем временем трусит к выходу. Паша покусывает уздечку и мундштук, перебирает ногами. Цилли еще успевает бросить быстрый взгляд в протянутое матерью зеркальце.

Треуголка надета. Она подходит к Паше, хватая повод над загривком, сгибает под прямым углом левую ногу, кучер придерживает ее за колено, и вот Цилли в седле. Паша сам направляется к сцене, переходит на маховую рысь — и — о конфуз! — что-то роняет!

— Ах!

Мамаша Файнт стонет! Его от этого не отучишь. Как только он на сцене, ему нужно облегчиться, изящно выражаясь. Но это ничего. Паша — великолепный конь и свое дело знает великолепно.

Так проходит эта программа, разработанная на основе долгой традиции верховой езды. Паша работает па полной отдаче, сцена его не стесняет, он бы и на тарелке выделял такие же пируэты.

Изящно изогнувший шею Паша на редкость красив, подтянут и собран. Длинный хвост с размаху бьет но крупу. Все идет как по маслу. Мамаша Файнт сияет. По лицу Цилли — когда она поворачивает Пашу мордой к выходу — все время видно, как нелегко этой нежной особе сдерживать прыть норовистого животного.

Но сосредоточенное лицо улыбается, когда его освещают лучи прожекторов. И вдруг на сцене делается темно. «Светлячки, светите, светите!»

Покрытые фосфором сбруя и бандаж светятся блеклым лунным светом, мишура на кофте Цилли сказочно мерцает. Матово-белые силуэты коня и всадницы загадочно и бесшумно парят над ковром.

Сквозь музыку прорывается дружный вздох публики. Яркий свет, Паша становится на колени, громкая овация, поворот к кулисам. Цилли соскакивает с седла. Кланяется.

Совсем мокрая, запыхавшаяся, усталая, Цилли срывает треуголку с кудрей; теперь — поскорей сбросить тяжелую кофту и надеть халат; скорее в гардероб. Я жду снаружи. Мать растирает Цилли. Тут надо быть поосторожней. А у Цилли не в порядке почки.

Поскольку Дани Ренц говорит по-французски, а я этого языка не понимаю, нам приходится объясняться на чудовищном английском. Но мы неожиданно легко попадаем на понятия и образы, которые будто бы специально для нас создали великие наездники, вольтижеры и жокеи. Я еще видел, как работала его тетка — непревзойденная королева верховой езды Тереза Ренц в двадцатых годах в Берлине в цирке Буша. Незабываемое впечатление! С туго обтянутым корсажем, в черном костюме, в юбке, спадавшей на скрещенные в дамской посадке ноги, с букетом фиалок на лацкане, в цилиндре на темных пышных волосах, она уже семидесятилетней объезжала манеж и после ряда пассажей поднимала на дыбы рыжего коня. Я все еще как бы вижу кривошеего конюха в ливрее, стоящего у занавеса, который после работы ссаживает ее с коня, вижу, как эта истинная дама, приподнимая юбку над сапогами, ступает по манежу для последнего поклона и затем с неповторимой грацией и достоинством кланяется переполненному цирку. Дани Ренц был еще ребенком, когда смерть лишила нас этой великой актрисы. Он никогда не видел ее за работой. И, наблюдая его после нашей беседы в манеже, я понимаю, что и он обладает не только большим мастерством, но и шармом, и великолепными манерами, и вкусом, какие даются лишь благодаря долгой традиции.

Далее искусство верховой езды демонстрирует супружеская пара. Жена Дани Ренца, его кузина, также воспитанная в старой цирковой традиции, в костюме небесно-голубого цвета, и он — в сером фраке и сером цилиндре. Летящая смена галопа, сближения, отдаления. Потом — каждый отдельно — белые кони демонстрируют свое искусство в маховой рыси, в гордой рыси на месте, поднимаются и вертятся в галопном вольте в такт вальсу. Движения лошадей, управляемые еле заметными указаниями всадников, так прелестны, что невольно забываешь о дрессировке.

Далее следует антракт, а затем на манеж вылетает мощный белый конь, на нем пояс для вольтижировки, шея гор-

до наклонена к груди. В центре круга стоит юная фрау Ренц, ее стройные ноги обтянуты желтым трико, сверху — короткая кожаная куртка, на светлых волосах — заостренная охотничья шапочка. Мягкими взмахами хлыста она заставляет лошадь идти покачивающимся галопом. Сам Дани Ренц выскакивает из-за занавеса в столь же изящной одежде, что и его жена. Он уже стоит пружиня, во весь рост на крупе коня, идущего по кругу.

Начинается игра.

Каждый раз при прыжке Дани Ренц делает все новые фигуры, каждый прыжок над крупом бегущего в галопе коня отличается от предыдущего, но каждый раз ему удается встать обеими ногами на широкий круп. Вот он бежит рядом с лошадью, чтобы, на ходу сделав пируэт, перепрыгнуть через ее спину. С математической точностью высчитан угол, с которого только и возможно с разбегу вскочить на спину галопирующей лошади.

Затем — барабанная дробь, которая в цирке каждый раз объявляет о «неповторимом», «неслыханном», «единственном в своем роде»!

Сальто-мортале на галопирующем коне!

С исключительной сосредоточенностью, расслабив мускулы, Дани Ренц ждет той доли секунды, в которой достигается полная гармония между им и лошадью, ждет того момента, когда соскок даст ему возможность после вольта в воздухе уверенно встать на спину коня.

Чудесно!

Полная удача! Дани Ренц совершенно владеет своим телом и щедро показывает себя. Еще и еще раз демонстрируется «неповторимое»! Множество людей под высоким куполом захвачены этим ощущением силы, этим совершенством владения своим телом, которое демонстрируется на манеже. Они чувствуют себя одаренными, очастливленными. Аплодисменты не только признание, но и благодарность. Дани Ренц, тяжело дыша, улыбаясь, стоит посреди манежа рядом с женой. Они стоят на манеже — красивые и молодые.

Конь убегает за кулисы. Прибегает, громко стуча копытами, сильный рыжий жеребец, его челка колышется на бегу.

Значительно быстрее белого коня обегает он манеж, все набирая скорость. Дани ходит колесом рядом с бегущей лошадью. Держась за хвост, он на скаку взлетает на спину несущейся лошади. Крики восторга! Но вот снова манеж пуст, лишь сияют прожекторы и гремит овация. Дани

возвращается, становится на одно колено, простирает вперед руки для приветствия, и уже раздается музыка, готовящая нас к новому номеру.

Да, это было поистине «неповторимое».

Я опять думаю о Терезе Ренц. При всей ее женской сдержанности ее искусство было проникнуто тем же взлетом и темпераментом, которые сегодня делают таким неповторимым художником Дани Ренца. Незабываемо воспоминание о ней, как забываемо только что пережитое впечатление, как забываема маленькая деталь: перед началом грациозной игры, таящей в себе такую серьезную опасность, Дани Ренц украдкой поцеловал своего любимого белого коня.

От гардеробного фургона директор прошел по дождю к главному шатру. Он свободно накинул пальто на сильные плечи, защищая от дождя фрак. Сейчас он стоит за занавесом и ждет, пока объявят номер. Занавес раздвигается — члены труппы акробатов на турнике, потные, тяжело дыша, выбегают в темноту. Шефу протягивают хлыст и короткую плетку. Он торопится к центру превращенного в ипподром манежа. Все это — быстро, энергичными шагами.

Весь выход, несмотря на спешку, должен быть полным достоинства. Но вот сюда поспешают шестьдесят лошадей — стреноженных по трое. Сын шефа — кронпринц труппы — тоже тут. Хоровод великолепных лошадей — белых, черно-пегих, пегих, вороных — кружит по широко раскинувшемуся эллипсу. Умелый удар хлыста подгоняет и сдерживает напуганных животных. В полном галопе они меняют направление и по призывному возгласу директора — по трое — делают пируэты. Какое торжество силы и порыва! Все управляется волей одного-единственного человека, и собственный темперамент все шестьдесят жеребцов показывают лишь тогда, когда аллюром с грохотом покидают манеж...

...Но иногда цирк производит и гнетущее впечатление. Он тогда кажется серым, ободраным, жестким и безрадостным. И это не только кажется. Он бывает таким. От романтики не много тогда остается. Остается одно — перетерпеть. Не только цирк — всякий предмет любви, как известно, причиняет нам мучения. Чем человек чувстви-

тельнее, тем это острее, тем болезненней любишь. И тем не менее сохраняешь верность, потому что потерю не выдержишь. Сохраняешь верность из чувства собственного достоинства.

Утро. Осматривают животных. Серый день. Холодный ветер поднимает пыль на поле Святого Духа. «Кучера» в дурном настроении с похмелья после ночи, проведенной где-нибудь в кабаке на Санкт-Паули, и работают без радости. Звери из зоосада выглядят сегодня особенно жалко, как бессмысленные жертвы. Пара павианов в углу клетки прижимаются друг к другу, пытаясь согреться, голов почти не видно, сверкают лишь розовые зады.

Царственная осанка журавлей в тесной клетке выглядит совершенно неуместно. Общипанно и уныло глядят пеликаны. Они с неутомимой жадностью окунают клювы в погнутую жестяную ванну. Над крышами вагонов издевательским восклицательным знаком торчат шеи жирафов.

Покачивают глупыми головами желтые белые медведи. Мяуканье уссурийского тигра не к лицу могучему зверю. Это жалоба, которой он обучился в плену. Лениво, в обнимку развалились жирные львы. Странно не тронутыми повальной тоской кажутся жеребцы в длинном шатре. Переругиваются, чистя лошадей, конюхи. Тут жизнь — визг, фыркание, звон цепей. Но сегодня и это все звучит мрачно и, что бы ни делали звери, все представляется злой истерикой.

Гигантскими валунами стоят слоны, прикованные к постаменту. В них тоже молчаливый упрек. Даже ребятишки, которые копошатся между жилами фургонами, не разгоняют тоски.

Крики животных, людей, тяжелые удары молотков, отвратительный запах лошадиного мяса, которое жестоко разрубают на порции для хищников. В пустом холодном шاپито укротитель репетирует со своими шимпанзе. Он упрямо работает. Жена его больна, она не может ему помогать на представлениях и репетициях. Номер на грани развала. Пока он работает с одним животным, другие слезают со стульев — маленькие злые старики, с идиотским рвением все приводящие в беспорядок.

Почему же люди не уходят? Почему разочарованно не отворачиваются от мира, блеск которого покупается такой дорогой ценой? Старая притча о свете и тени — это прав-

да, которая ослепляет. Необычайно трогательна та невинность, с какой цирк обнажается и в блеске и в нищете. Когда в начале представления загораются огни рампы и начинается игра — но следует забывать темный фон, на котором все это происходит. Ради правды надо держать его в памяти.

Обеденный час. Мы у горы Пиннас в Альтоне.

Окруженная зданиями фабрик, жилыми домами и дворами, площадь покато поднимается, наталкивается на выгоревшие деревянные заборы и заканчивается взбирающейся вверх улицей. На фоне голубого неба выделяется башенка. Площадь засыпана клочками бумаги — после рынка, — кирпичными осколками, над всем царит обеденная нега. На солнцепеке спит пьяный.

Посреди площади разместился маленький бродячий цирк.

Два жилых фургона, трактор, фургон под реквизит. Под открытым небом — укрепленная металлическими скобами малосенькая арена — две белые штанги, веревочная лестница.

Привязанный к одному из вагонов, пони непонятного цвета дремлет, отгоняя тонким хвостиком мух. Все тихо. Лишь изредка пьяный ворочается во сне.

Вокруг бродит бездомный пес. Усталый послеобеденный ветерок листает грязные клочки бумаги.

Но вот в фургонах зашевелились.

Картонное объявление на штанге сообщает о том, что предстоят два представления. И пора уже готовиться к сегодняшнему вечеру.

Хозяин возится со старомодным громкоговорителем. Его дети стоят рядом. Немного погода начинает дребезжать музыка.

К площади поодиночке и группами сходятся окрестные ребятишки. Те, что постарше, ведут за собой младших. Несмотря на музыку, все тихо. Иногда только тишину нарушает недовольный крик пони, когда его пытаются погладить. Невероятно толстый мальчик лет шестнадцати растилает посреди манежа грязный ковер. Все больше детей вылезает из жилых вагонов; женщина на сносках принимает стулья, которые ей подают из вагона. Она расставляет их у края манежа.

Кто-то поставил литавры. Две девочки в трусиках ошупывают пистоны погнутых труб. Тем Бременем несколько

зрителей уже расселись на одной из скамей. Из окон жилых домов кто-нибудь то и дело высовывается — то мужчина, намыливающий лицо для бритья, то женщина, склонившаяся над цветочными горшками. Громкоговоритель плюется и хрипит; все еще спит пьяный; его не добудиться и стилигам, прикатившим сюда по неровной земле на трескучих мопедах. Давно уже пора начинать вечернее представление.

Однако никто не торопится — зачем? Публика терпелива. Только маленький мальчик, с мокрым носом, в спадающих штанишках, все пристает к сестре. Она не спускает с него глаз, как бы он не пополз на манеж. Умная не по годам, с очками на носу, она выдвигает против него тяжелую артиллерию доводов.

— Если ты сейчас же не успокоишься, я тебе потом не разрешу смотреть телевизор.

Но вот уже и началось.

Хозяин произносит слова приветствия. Неуклюжие, неправильно построенные фразы.

Литавры ударили туш.

Отец хватается за трубу.

Исполняется марш, меньшая дочка только передвигает пальцами.

Выходят акробаты.

Отец и сын работают вместе. Худенькое детское тело, стоящее головой на руке у отца, качается в разные стороны и вызывает жалость. Застывшие лица не меняются от жидких аплодисментов.

Брат, которому на вид примерно лет двенадцать, изображает Рыжего. На нем зеленая шляпа, короткая тужурка над широкими рванными штанами, завязанными под мышками. На грязном лице ярко-красный нос. Вся соль выхода состоит во взаимном недоразумении. Ломающийся голос подростка не годится для реплик. Ребенок не может подавать остроты. Грустно видеть маленького мальчика, исполняющего роль взрослого мужчины.

Натягивается проволока.

Тем временем беременная женщина обходит с тарелкой зрителей. Те, кто находится сзади, стараются уклониться от платы.

Маленькая девочка в китайском платьице делает книксен и подымается по веревочной лестнице к проволоке. Отец подает ей маленький зонтик. Мать тем временем ритмически сопровождает ее выступление «Персидским маршем» на литаврах, несущимся из громкоговорителя. Девоч-

ка вскакивает на канат и танцует. Отец снизу следит за ее движениями. В самом конце номера она балансирует зонтиком, делает шпагат и соскакивает па пол.

Толстый мальчик выводит пони на манеж.

Обе сестры вольтижируют. Маленький Рыжий шаржированно подражает им. Под конец он хватается за хвост пони и так едет по пыльному манежу.

Двое пьяных плотников, горланя, подходят к цирку, хулиганят, пробираясь между зрителями.

Хозяин не обращает на них внимания.

Рыжий стоит рядом с отцом, вытирает свою грязную руку о тужурку — пони его волочил не только по пыли. Интерес публики вот-вот переманят на себя плотники. Но вот им это все наскучило, они уходят, и одна из маленьких девочек без помех может выступить в роли «гуттаперчевого человечка».

Тем временем городок по-вечернему оживляется. Звуки радио из окон ближних домов смешиваются с цирковой музыкой. Автомобили съезжают по улице в сторону рыбного рынка.

Девочка на пыльной арене со сдавленной улыбкой выглядывает из-под собственных ног, балансируя, лежа на земле, и вертится вокруг собственной оси, держа на лбу небольшую вазу с искусственными цветами, потом, стоя на одной ноге, она пяткой другой ноги касается запрокинутого лба.

— Господи, бедное дитя, — негромко говорит старая женщина.

Теперь девочка стоит на одном колене, задрав другую ногу вверх, откинув далеко назад голову, метя волосами пол. Шея напряжена, руки грациозно вытянуты в стороны, ваза с жалкими цветочками стоит па лбу. Под аплодисменты девочка оживает и по-взрослому кланяется.

Хозяин взбирается вверх по одной из двух белых штанг, добирается до толстого каната, на довольно большой высоте свободно протянутого к другой штанге. Он на руках перебирается к середине каната, встает на него. Красная лента, которую ему бросили в полете, разворачивается, он ее ловит. Толстяк па манеже, переступая с ноги на ногу, раскачивает человека на канате. Из ближнего окна, расположенного над летящим человеком, аплодируют.

Женщина еще раз пытается заставить заплатить сидящих сзади.

Маленький мальчик непременно хочет выползти на манеж.

Но на очереди большой заключительный номер.

Он требует сложных приготовлений. Манежа недостаточно, публика должна образовать проход.

Старая дверь приспособлена под трамплин.

Хозяин вычурно говорит о том, что он сейчас будет прыгать через спины нескольких человек, приглашенных из публики, и что при этом он будет показывать сальто-мортале.

Тут же вызывается несколько мальчишек; они берутся образовать живую стену. Они стоят согнувши спины и выстраиваясь в ряд, который берет начало у трамплина. И уже разбегается человек, и перепрыгивает через спины, и выбрасывает в полете руки. Представление окончено.

Публика быстро расходится. Лишь несколько детей стоят возле манежа. Серый пони жует сено. Из трубы одного из вагонов поднимается дымок. Хозяин копается в тракторе. Пьяный ушел.

Я ее знал, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Дерзкая светловолосая девчонка, постоянно занимавшаяся гимнастикой на площадке цирка, висевшая на канатах-растяжках шатров, лазавшая по реквизитам, она и тогда уже большую часть времени проводила у лошадей. Годы спустя цирк вернулся в город. Клоун Филакс рассказывал, что он на этот сезон поместил свою дочь в интернат. Наверное, время это было тяжелым для маленькой непоседы. Теперь она опять путешествует с цирком. Вновь прошли годы, и ребенок превратился в высокую двенадцатилетнюю девочку. Конечно, она носит джинсы, а волосы у нее заплетены в косички. Как и прежде, она все время вертится между вагонами и не отходит от пони. Она их чистит, водит на поводке, ее движения энергичны и умелы.

В цирке никто не обращает внимания на девочку. А она так жаждет учиться. Наездник-казак перед представлением разрешает ей прокатиться верхом на жеребце. Она прочно сидит в седле, и с тяжелого конского крупа трогательно свисают ее тонкие ножки. Иногда она под руководством этого наездника вольтижирует по утрам на манеже. Она уже может без предохранительного пояса стоять на скачущем пони. Но всего этого мало честолюбивому ребенку. Конечно же, засыпая каждый вечер в своей каморке в вагоне, она мечтает стать великой наездницей. Спит она глубоким сном, потому что день был насыщен переживаниями, полон движения. Завтра днем и вечером она снова

будет смотреть представление, наблюдать за вольными упражнениями наездников, например за тем, как ее друг, казак, прошмыгнет под животом скачущего коня. Когда-нибудь она и сама всему этому научится, а пока она обучает своего маленького братишку. Все, чему она сама научилась, все, что высмотрела она у мастеров, она пытается проделать со своим братишкой на упругой спине своего любимого пони. Может быть, она всему этому научится уже к следующему приезду цирка в наш город. Возможно, я увижу тогда стройную юную даму, исполняющую классические па на большом коне, увижу, как она проскакивает сквозь бумажные обручи, протянутые отцом ей навстречу.

Незабываема маленькая невзрачная женщина, обслуживавшая в государственном цирке пять лошадей. Целый день она за работой. Лошади, до спины которых она с трудом доставала, были всегда чисты, чисты были и стойла. Во время представления она стояла у края манежа и не спускала глаз со своих подопечных.

Если лошади после утомительных переездов нервничали, она плакала. Однажды вечером неизвестно чего испугалась огромная гнедая лошадь, на которой работал жонглер. Лошадь внезапно остановилась. Жонглер был вынужден прыгнуть. Все смешалось. И тут-то маленькая женщина вбежала в яркий свет прожекторов, и заставила лошадь стронуться с места, и успела помочь жонглеру взобраться на копы. Она похлопала лошадь по шее, пробежала несколько шагов рядом с ней, отпустила поводья — и гнедая спокойно затрусила по манежу.

Существует старый-престарый номер «Дверная лошадка». Конюхи, неравномерно разместившиеся на манеже, держат в руках дверные рамы. Наряженный клоуном конюх проскакивает сквозь эти рамы, двигаясь словно по лабиринту. За ним скачет черная лошадка.

Упоительная игра!

Оборачиваясь на бегу, парень с разгона ударяется о косяк. Закрыв руками лицо, он шатается от боли и выбегает из манежа. Беспомощно и недоуменно застывает на месте лошадка.

Игра окончена.

Вечернее представление окончено. Но самые упрямые из публики не спешат домой. Надо переварить только что пережитое. Самые разные, самые неожиданные типы со-

бираются в буфете. Социальные различия не мешают здесь всем объединиться на почве общей любви к цирку. Отчаянные головорезы и самые что ни на есть скромники — все пьют пиво прямо из горлышка. Холодно. Стены шатра колеблются на ветру. Вот сквозь толпу пробивается укротитель; он становится на высокую ступеньку фургона-ресторана и протягивает пустые бутылки в обмен на полные. Сейчас он не привлекает внимания. А вон и еще любопытная живописная фигура — его знают циркачи, он много лет работает тут ветеринаром. Он-то уж знает, чем он обязан цирку. Знакомый черный костюм болтается на тощем его теле, галстук-«бабочка» под мятым воротником съехал вбок. Разумеется, все говорят о цирке. Артисты, в течение многих лет не встречавшиеся друг с другом, неожиданно встретились здесь.

Вопросам и ответам нет конца: семейные сплетни — кто у кого работает, кто на ком женился — великолепный треп. Вон тот старик совсем обуржуазился. Он стыдливо держит ответ перед бывшими друзьями. Громкий смех. Неожиданная тишина. Внимательные лица людей, попавших сюда только ради того, чтобы наскоро перед уходом домой съесть кусок колбасы.

Вы не поверите, что эта невзрачная женщина, которая держит за руку маленького мальчика, — жена жонглера на коне. Как сказочно она выглядит на манеже, когда помогает своему мужу! Теперь она беседует с женой клоуна о всякой всячине, наполняющей день любой домохозяйки. Карлик ловко карабкается на один из садовых стульев, подпирает свой уродливый лоб рукой и со спокойным достоинством супруга смотрит на свою жену — стройную итальянку, которая пытается протиснуться к столу, держа в руках два картонных блюда с бутербродами. А вон тот — с профилем индейца — откуда мы его знаем? Ах да, ведь он был когда-то режиссером в цирке Р. Кроме того, он работал стрелком. Он на какое-то время осел по семейным обстоятельствам, но в следующем сезоне он опять появится в цирке. Холодно, черт возьми! На покачивающихся на неровном полу столах, покрытых картонными тарелками, окурками и пивными крышками, становится все больше пустых бутылок. Серым, в неприкрашенной наготе предстает перед нами цирк. И все же уйти невозможно. Вот в мужчине в свитере узнаем мы канатоходца — звезду программы, который без предохранительной сетки, без штанги для балансировки отваживается дважды на дню на прыжок через партнера. Поразительный человек, бесстраш-

ный сумасшедший. Господи, каким одиноким он кажется здесь. Голодным взором он озирается вокруг. Здесь он не найдет того, что он ищет. Ему придется еще сегодня ночью отправиться дальше на поиски. Вот конюх, который в лошадином шатре караулит по ночам лошадей. Он пришел выпить. Пора уходить домой. По площади гуляет ветер; разноцветные лампочки качаются над шапито. Окна вагонов мерцают в ночи. У забора за шатром для слонов стоит парочка. Не оглядывайтесь: девушка — та самая блондинка, что так усердно кормила слопов.

Эрик Фрэнк Рассел

Немного смазки

Все в корабле жужжало, дребезжало, брэнчало. Нота была низкая, она напоминала звучание труб большого органа. Она стонала в обшивке корпуса, рыдала в шпангоутах, билась в костях и нервах, ударяла в усталые уши, и не слышать ее было невозможно. Во всяком случае — после недели, месяца или года. И уж тем более — после почти четырех лет.

Способа избавиться от шума не было. Он был неизбежен и неустраним, когда в цилиндр из металла с высокой звукопроводностью втискивали атомный двигатель.

В первом корабле скрежетало на сто герц выше, минута за минутой, час за часом — и он так и не вернулся. Наверно, еще и теперь, через тридцать лет, он по-прежнему завывал, никем не слышимый, в бесконечных пустынях космоса.

Во втором корабле двигательный отсек был обит толстым слоем войлока, а у дюз было кремниевое покрытие. Низкая нота. Гудение пчелы, усиленное в двадцать тысяч раз. Пчела так и не вернулась в свой улей; восемнадцать лет назад она вылетела в звездное поле и теперь слепо неслась в новую сотню, тысячу или десять тысяч лет.

А третий корабль, сотрясаясь от грохота, летел теперь обратно — домой. Нашупывая дорогу к невидимой еще красноватой точке, затерянной в тумане звезд, он, как заблудшая душа, ищущая спасения, был исполнен решимости не погибнуть. Третий по счету — должно же это было что-нибудь значить!

У моряков есть свои морские суеверия. У космонавтов — свои космические. В капитанской кабине, где Кин-

рад сидел, склонившись над бортовым журналом, на приклеенном к стене плакатике было написано: «Три — счастливое число!»

Они верили в это на старте, когда их было девять. Они готовы были верить в это и на финише, хотя теперь их осталось шесть. Но в промежутке были — и могли снова повториться — мгновения горького неверия, когда любой ценой, если потребуется — даже ценою жизни, людям хотелось вырваться из корабля — и провалились в преисподнюю весь этот полет! Жестокие мгновения, когда люди, силясь избавиться от мучающих их аудио-, клаустро- и полудюжны других фобий, затевали драки со своими товарищами.

Правая рука Кинрада писала, а около левой поблескивала вороненая сталь пистолета. Глаза смотрели в бортовой журнал, а уши вслушивались в грохот. Шум мог ослабнуть, стать прерывистым, прекратиться совсем — и благословение тишины одновременно было бы проклятием. Или на этом фоне могли слышаться совершенно иные звуки: ругательства, выстрелы, крики. Такое уже случилось однажды — когда спятил Вейгарт. Такое могло случиться снова.

Да и у него самого нервы оставляли желать лучшего. Когда неожиданно вошел Бертелли, Кинрад вздрогнул, а его левая рука инстинктивно придвинулась к пистолету. Однако он моментально овладел собой и, повернувшись на вращающемся сиденье, посмотрел прямо в печальные серые глаза вошедшего.

— Ну как, появилось?

Вопрос вызвал у Бертелли недоумение. Длинное грустное лицо с впалыми щеками стало еще длиннее. Углы большого рта опустились. Печальные глаза приняли безнадежно-остолбенелое выражение. Он был удивлен и растерян.

Кинрад решил объяснить:

— Солнце на экране видно?

— Солнце?

Похожие на морковки пальцы рук Бертелли судорожно сплелись.

— Да, Солнце наше, идиот!

— А, Солнце! — наконец-то он понял, и его глаза расширились от восторга. — Я никого не спрашивал.

— А я подумал, вы пришли сказать, что они его увидели.

— Нет, капитан. Просто мне пришло в голову — не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Обычное уныние сменилось на его лице улыбкой protesta, горящего желанием услужить во что бы то ни стало. Углы рта поднялись вверх и раздвинулись в стороны так далеко, что уши оттопырились больше прежнего, а лицо приобрело сходство с разрезанной дыней.

— Спасибо, — несколько смягчившись, сказал Кинрад. — Пока не надо.

Мучительное смущение овладело Бертелли с прежней силой. Лицо молило смириться и простить. Потоптавшись немного на своих безобразно больших ногах, он вышел, поскользнулся на стальном полу узкого коридора и только в самый последний момент, грохоча тяжелыми ботинками, каким-то чудом восстановил равновесие. Не было случая, чтобы кто-нибудь другой поскользнулся на этом месте, но с Бертелли это происходило всегда.

Внезапно Кинрад поймал себя на том, что улыбается, и поспешил сменить выражение лица на озабоченно-хмурое. В сотый раз пробежал он глазами список членов экипажа, но нового почерпнул из него не больше, чем в девяности девяти предшествовавших случаях. Маленький столбик, в котором три имени из девяти зачеркнуты. И та же самая строчка в середине списка: Энрико Бертелли, тридцати двух лет, психолог.

Если Бертелли был психологом или вообще имел хоть какое-нибудь отношение к науке, то он, Роберт Кинрад, был не иначе как голубой жираф. Почти четыре года провели они взаперти в этом стонущем цилиндре — шесть человек, отобранных из всего огромного человечества, шестеро, которых считали солью Земли, сливками рода человеческого. Но эти шестеро были пятеро — и дурак. Дурак.

Здесь скрывалась какая-то загадка. Он размышлял над ней в те минуты, когда мог позволить себе забыть о более серьезных делах. Загадка манила его, заставляла снова и снова рисовать в воображении ее носителя, начиная с его печальных глаз и кончая большими плоскими ступнями. В редкие минуты раздумий он обнаруживал, что снова и снова пытается (совершенно безрезультатно) разобраться в Бертелли, понять, чем тот живет.

Кинрад не упускал случая понаблюдать за ним, неизменно испытывая при этом изумление перед фактом такого умственного убожества — тем более у ученого, специалиста. Наблюдение за Бертелли так захватывало его, что ему даже в голову не приходило понаблюдать за другими и посмотреть, не заняты ли они тем же, чем и он, по тем же или очень похожим причинам.

Когда Кинрад пошел обедать, Марсден нес вахту у приборов управления, а Вейл — в двигательном отсеке. Остальные трое уже сидели в тесной столовой. Он кивнул им и сел на свое место.

Большой белокурый Нильсен, атомный инженер, которому пришлось стать также ботаником, сказал, смерив его скептическим взглядом:

— Солнца нет.

— Знаю.

— А должно быть.

Кинрад пожал плечами.

— Но его все нет, — не отставал Нильсен.

— Знаю.

— Ну и как, вас это трогает?

— Не валяйте дурака. — И, надорвав пакет с пайком, Кинрад высыпал содержимое в свою поделенную на несколько отделений пластмассовую тарелку.

«Бамм, бамм, бамм», — грохотали пол, потолок, стены.

— Так я, по-вашему, дурака валяю?

Нильсен подался вперед, уставившись на него со злобным ожиданием.

— Давайте есть, — предложил Арам, худой, черный и нервный космогеолог, сидевший около Нильсена. — И так тошно.

— Я хочу знать... — снова начал Нильсен.

Он замолчал, потому что Бертелли, пробормотав: «Простите», — потянулся перед его носом за солонкой, привинченной к другому концу стола.

Отвинтив се, Бертелли с солонкой в руке чуть не сел мимо выдвижного сиденья. От изумления он вытаращил глаза, вскочил, поставил солопку, выдвинул сиденье вперед, сел снова, сбил солонку со стола. Вспыхнув от стыда, поднял ее, посолил пищу с таким видом, будто держал в руках большое ведро, и, чтобы привинтить солонку на прежнее место, закрыл своим телом весь стол. Наконец привинтил ее и, подняв зад, сполз со стола на свое сиденье и опять сел на край, но на этот раз соскользнул и упал. В конце концов уселся, разгладил невидимую салфетку и обвел присутствующих загнанным, виноватым взглядом.

Глубоко вздохнув, Нильсен спросил его:

— Вы уверены, что вам достаточно соли?

Трудный вопрос поставил Бертелли в тупик. Он нашел глазами свою тарелку, идиотически внимательно оглядел ее содержимое.

— Пожалуй, достаточно, благодарю вас.

Перестав жевать, Нильсен поднял глаза и, встретив взгляд Кинрада, спросил:

— Что такое есть в этом парне, чего нет в других?

С улыбкой во весь рот Кинрад ответил:

— Сам бы хотел понять это, пытаюсь уже давно, но ничего не выходит.

Лицо Нильсена осветилось подобием улыбки, и он признался:

— У меня тоже.

Бертелли молча и сосредоточенно ел. Делал он это, как всегда, высоко подняв локти, и его рука неуверенно искала рот, мимо которого было невозможно пронести ложку.

Дотронувшись до экрана концом карандаша, Марсен сказал:

— Вот эта кажется мне розовой. Но, может быть, это только мое воображение.

Кинрад приблизил лицо к экрану и вгляделся.

— Слишком маленькая, ничего пока сказать нельзя. Прямо как острие иголки.

— Значит, зря я надеялся.

— Не обязательно. Возможно, цветовая чувствительность ваших глаз выше моей.

— Давайте спросим нашего дурачка, — предложил Марсен.

Бертелли стал рассматривать едва заметную точку, то приближаясь к экрану, то удаляясь от него, заходя то с одной стороны, то с другой. Наконец он посмотрел на нее, скосив глаза.

— Это наверняка что-то другое, — сообщил он, явно радуясь сделанному им открытию, — потому что наше Солнце — оранжево-красное.

— Цвет кажется розовым благодаря флуоресцентному покрытию экрана, — с раздражением объяснил Марсен. — Эта точка — розовая?

— Не разберу, — сокрушенно признал Бертелли.

— Помощник, нечего сказать!

— Тут можно только гадать, она слишком далеко, — сказал Кинрад. — Одного желания здесь мало — придется подождать, пока мы не окажемся немного ближе.

— Я уже сыт по горло ожиданием, — с ненавистью глядя на экран, сказал Марсен.

— Но ведь мы возвращаемся домой, — напомнил Бертелли.

— Я знаю. Это и убивает меня.

— Вы не хотите вернуться? — недоумевающе спросил Бертелли.

— Слишком хочу, — И Марсден с досадой сунул карандаш в карман. — Я думал, обратный путь будет легче, хотя бы потому, что это путь домой. Я ошибся. Я хочу зеленой травы, голубого неба и места, где можно свободно двигаться. Я не могу больше ждать.

— А я могу, — гордо сказал Бертелли. — Потому что надо. Если бы я не мог, я бы сошел с ума.

— Да ну? — Марсден окинул Бертелли взглядом, и его нахмуренное лицо начало понемногу проясняться. Наконец у него вырвался короткий смешок. — Сколько же времени вам для этого понадобилось бы?

Не переставая смеяться, он вышел из кабины управления и направился в столовую. Заверчивая за угол, он расхохотался.

— Что тут смешного? — удивленно спросил Бертелли.

Оторвав взгляд от экрана, Кинрад внимательно посмотрел на него.

— Как это получается, что каждый раз, когда кто-нибудь начинает...

— Да, капитан?

— Нет, ничего.

Корабль мчался вперед, сотрясаясь, рыдая всеми частями корпуса.

Появился Вейл — его вахта кончилась, он шел в столовую. Он был невысокого роста, широкий в плечах, с длинными сильными руками.

— Ну что?

— Мы не уверены. — И Кинрад показал на точку, сиявшую среди множества ей подобных. — Марсден думает, что это оно и есть. Вполне возможно, он прав, а может, и нет.

— Вы не знаете? — спросил Вейл, глядя на Кинрада, а не на экран, на который тот показывал.

— Узнаем, когда придет время. Еще рановато.

— Запели по-новому?

— О чем это вы? — резко спросил Кинрад.

— Три дня назад вы говорили нам, что теперь Солнце может показаться на экране в любой момент. Это подняло наш дух — а мы в этом нуждались. Я не привык распускать нюни, но должен сознаться: что-нибудь в этом роде было мне нужно. — Он смерил Кинрада злым взглядом. — Чем радужней надежды, тем сильнее разочарование.

— А вот я не разочаровываюсь, — сказал Кинрад. — Плюс-минус три дня — пустячная погрешность, если учесть, что обратный путь длится два года.

— Да, если курс правильный. А у меня пет в этом уверенности.

— То есть вы думаете, что я не в состоянии рассчитать правильные координаты?

— Я думаю только, что даже лучшие из нас могут ошибаться, — упорствовал Вейл. — Разве первые два корабля не отправились к праотцам?

— Не из-за навигационных ошибок, — с глубокомысленным видом вставил Бертелли.

Скривившись, Вейл уставился на него и спросил:

— Вы-то что смыслите в космической навигации?

— Ничего, — признался Бертелли с гримасой человека, у которого удаляют задний зуб, и кивнул на Кинрада. — Но он смыслит.

— Да?

— Обратный маршрут был рассчитан покойным капитаном Сэндерсоном, — сказал Кинрад, лицо которого начала заливать краска. — Я проверял и перепроверял вычисления больше десяти раз, и Марсден тоже. Если этого вам мало, возьмите и проверьте их сами.

— Я не навигатор, — сердито сказал Вейл.

— Тогда закройте рот и помалкивайте, и пусть лучше другие...

— Но я и не открывал его! — возмутился Бертелли.

Переключившись на него, Кинрад спросил:

— Чего вы не открывали?

— Рта, — обиженно сказал Бертелли. — Не знаю, почему вы ко мне придираетесь. Все ко мне придираются.

— Вы ошибаетесь, — сказал Вейл. — Он...

— Вот видите, я ошибаюсь. Я всегда ошибаюсь. Я никогда не бываю прав.

Бертелли громко вздохнул и, тяжело поднимая большие ноги, побрел прочь. Лицо его выражало страдание.

Проводив его изумленным взглядом, Вейл сказал:

— Похоже на манию преследования. И такой, как он, считается психологом! Прямо смех.

Вейл приблизил лицо к экрану и начал внимательно его рассматривать.

— Которая, по мнению Марсдена, Солнце?

— Вот эта, — показал Кинрад.

Вейл хищным взглядом впился в светящуюся точку и наконец сказал:

— Ладно, будем надеяться, что он прав. — И вышел.

Кинрад сел и вперил в экран невидящий взгляд. Мысли его были заняты проблемой, которая, может быть, имела смысл, а может быть, смысла не имела: когда наука становится искусством? Или, может, наоборот — когда искусство становится наукой?

На следующий день свихнулся Арам. У него начался приступ «чарли», того же психотического синдрома, который привел к гибели Вейгарта. У болезни этой было и медицинское название, но очень немногих людей его знало и еще меньше могло выговорить. Бытовое же обозначение болезни пришло из древней, почти забытой войны, когда, бывало, хвостовой стрелок большого боевого самолета, или, как его называли, «Чарли-на-хвосте», слишком много думавший о тяжелом грузе бомб и тысячах галлонов высокооктанового горючего рядом с его кабиной, похожей на клетку попугая, вдруг начинал выть и биться о стены своей прозрачной тюрьмы.

Начало этой космической болезни у Арама было типичным. Он сидел рядом с Нильсеном и спокойно ел,ковыряя вилкой в своем разделенном на отделения пластмассовом подносыке с таким видом, будто у него совсем нет аппетита. Внезапно, не сказав ни слова и не изменившись в лице, он оттолкнул подносик, вскочил и бросился вон из столовой. Нильсен попытался было подставить ему ножку, но не сумел. Арам, как кролик, спасающий свою жизнь, пулей вылетел в дверь и помчался по проходу к люку. Нильсен последовал за ним, на шаг позади Нильсена был Кинрад. Бертелли замер на своем месте, не донеся вилки до рта, уставившись тупым взглядом в стенку напротив, прислушиваясь своими большими ушами к доносящимся из прохода звукам.

Они схватили Арама в тот момент, когда он с лихорадочной поспешностью пытался повернуть винт люка в сторону, обратную возможной. Люк он все равно не успел бы открыть, даже если бы поворачивал винт правильно. Его худощавое лицо было бледным, и он задыхался от натуги.

Оказавшись рядом, Нильсен резко повернул его к себе и ударил в челюсть. Удар был сильнее, чем могло показаться со стороны. Арам, маленький и щуплый, покатился и, потеряв сознание, мешком плюхнулся у передней двери прохода. Потирая костяшки пальцев, Нильсен проворчал что-то себе иод нос и проверил, хорошо ли закручен винт. Потом он взял Арама за ноги, а Кинрад за плечи, и они

отнесли его, провисшего между ними, на койку. Нильсен остался сторожить его, а Кинрад пошел за шприцем. Следующие двенадцать часов Араму предстояло проспать. Это было единственное известное средство для таких случаев — искусственно вызванный сон, дававший возможность взбудораженному мозгу отдохнуть, а взвинченным нервам — успокоиться.

Когда они вернулись в столовую, Нильсен сказал Кинраду:

— Хорошо еще, что он не прихватил с собой пистолет.

Кинрад молча кивнул. Он знал, что тот имеет в виду. Вейгарт, готовясь бежать из корабля на пузыре воздуха к иллюзорной свободе, попытался не подпустить их к себе, угрожая пистолетом. Броситься на него, не рискуя жизнью, они не могли, и им пришлось, откинув всякую жалость, застрелить его, пока не стало слишком поздно. Вейгарт погиб первым из экипажа, и случилось это всего через двадцать месяцев после старта.

Новой потери они допустить не могли. Впятером можно было вести корабль, контролировать его движение, совершить посадку. Пять — это был абсолютный минимум. Четверо были бы обречены остаться навечно в огромном металлическом гробу, слепо громыхающем среди звезд.

С этой проблемой была связана и другая, которой Кинрад так и не мог разрешить — во всяком случае, удовлетворительным для себя образом. Следует ли держать выходной люк запертым на замок, ключ к которому был бы у одного капитана? Или же в случае внезапной аварии это могло бы дорого им стоить? В чем больше риска — в безумной попытке к бегству со стороны одного или в препятствии к спасению всех?

А ну все к черту — сейчас они летят домой, и когда прилетят, он сдаст бортовой журнал с подробными записями, и пусть умные головы разбираются во всем сами. Это их обязанность, а его — обеспечить благополучное возвращение.

Кинрад перевел взгляд на Нильсена, увидел сосредоточенно-угрюмое выражение его лица и понял, что тот тоже думает о Вейгарте. Ученые и инженеры при всем своем высокоразвитом интеллекте, в сущности, такие же люди, как все. Они не могут, несмотря на все свои познания и умения, изолировать себя от остального человечества. Вне круга своих профессиональных интересов это обыкновенные люди с такими же заботами и переживаниями, что и у всех прочих. Они не могут думать только о своей спе-

циальности и позабыть обо всем остальном. Иногда они думают о других людях, иногда о самих себе. Нильсен обладал высокоразвитым интеллектом, был умен и восприимчив — и тем больше была для него вероятность свихнуться. Кинрад чувствовал, что уж Нильсен, если побежит к люку, прихватить с собой пистолет не забудет.

Вынести долгое заточение в огромном стальном цилиндре, по которому день за днем, час за часом без передышки молотит дюжина дьяволов, могли только более тупые, более толстокожие — такие, про кого говорят, что у них коровьи мозги. Тут тоже было над чем призадуматься умным головам. Дураки терпеливей и выносливей всех прочих, зато от них мало толку; умники необходимы, чтобы управлять кораблем, зато у них больше шансов свихнуться — хотя бы временно, не насовсем.

Каков же итог? Ответ: идеальный экипаж космического корабля должен состоять из безнадёжных тупиц с высоким интеллектом — качества, явно взаимоисключающие.

Не именно ли в этом — осенило его вдруг — скрывается разгадка тайны Бертелли? Те, кто проектировал и строил корабль, а потом подбирали для него экипаж, были люди неслыханной хитрости и прозорливости. Нельзя поверить, чтобы они выбрали такого, как Бертелли, и им было наплевать, что из этого получится. Подбор был целенаправленным и тщательно обдумывался — на этот счет у Кинрада не было никаких сомнений. Быть может, потеря двух кораблей убедила их в том, что, набирая экипаж, следует быть менее строгими? А может, они включили Бертелли, чтобы посмотреть, как покажет себя в полете дурак?

Если это предположение правильно, то кое-чего они достигли, но немногого. Наверняка спятит и побежит к люку Бертелли последним. Однако с точки зрения технических знаний в его пользу нельзя было сказать ничего. Из того, что необходимо знать члену космического экипажа, он почти ничего не знал, да и то, что знал, перенял у других. Любое дело, которое ему поручали, оказывалось виртуозно испорченным. Более того, большие, неуклюжие лапы Бертелли, лежащие на рычагах управления, представляли бы собой настоящую опасность.

Правда, его любили. В известном смысле он даже пользовался популярностью. Он играл на нескольких музыкальных инструментах, пел надтреснутым голосом, был хорошим мимом, с какой-то развинченностью отбивал чечетку. Когда раздражение, которое он сперва вызывал у них, прошло, Бертелли стал казаться им забавным и жа-

лким; чувствовать свое превосходство над ним было неловко, потому что трудно было представить себе человека, который бы такого превосходства не чувствовал.

«Когда корабль вернется па Землю, руководители поймают: лучше, когда на корабле нет дураков без технического образования», — не совсем уверенно решил Кинрад. Умные головы провели свой эксперимент, и из этого ничего не вышло. Ничего не вышло. Ничего не вышло... Чем больше Кинрад повторял это, тем меньше уверенности чувствовал.

В столовую вошел Вейл.

— Я думал, вы уже минут десять как кончили.

— Все в порядке. — Нильсен встал, стряхнул крошки, показал на свое сиденье. — Ну, я пошел к двигателям.

Взяв тарелку и пакет с сдой, Вейл сел; поглядев на Кипра да и Нильсена, спросил:

— Что случилось?

— У Арама «чарли», он в постели, — ответил Кинрад.

Лицо Вейла не выразило никаких эмоций. Он резко ткнул вилкой в пищу и сказал:

— Солнце вывело бы его из этого состояния. Увидеть Солнце — вот что нужно нам всем.

— Солнц миллионы, — сказал Бертелли тоном человека, с готовностью предлагающего их все.

Поставив локти на стол, Вейл произнес резко и многозначительно:

— В том-то все и дело!

Взгляд Бертелли выразил крайнее замешательство. Он беспокойно задвигал тарелкой и нечаянно сбросил с нее вилку. Продолжая глядеть на Вейла, нащупал вилку, взял ее за зубцы, не глядя ткнул ручкой в тарелку, потом поднес ручку ко рту.

— А может быть, лучше другим концом? — спросил Вейл, с интересом наблюдая за ним. — Он острее.

Бертелли перевел взгляд на вилку, и лицо его начало приобретать рассеяннo-удивленное выражение. Он по-детски беспомощно развел руками и, одарив собеседников обычной для него извиняющейся улыбкой, одновременно, как бы между прочим, одним движением большого и указательного пальца положил вилку ручкой к себе в ладонь.

Вейл не заметил этого движения, но Кинрад заметил, и на миг у него появилось странное, трудно объяснимое чувство, что Бертелли допустил маленькую оплошность, крохотную ошибку, которая могла пройти незамеченной.

Кинрад был уже в своей кабине, когда услышал по системе внутренней связи голос Марсдена.

— Арам очнулся. Щека у него распухла, по сам оп вроде бы поостыл. По-моему, снова колоть его не нужно — во всяком случае, пока.

— Пусть ходит, но будем за ним присматривать, — решил Кинрад. — Скажи Бертелли, чтобы болтался около него — хоть при деле будет.

— Хорошо.

Марсден помолчал, потом добавил, понизив голос:

— Что-то Вейл киснет в последнее время — вы заметили?

— По-моему, с ним все в порядке. Иногда нервничает, но не больше, чем все мы.

— Пожалуй.

Голос Марсдена прозвучал так, словно ему хотелось добавить еще что-то, но ничего больше он не сказал.

Закончив в журнале последние записи за этот день, Кинрад посмотрел на себя в зеркало и решил, что повременит с бритьем еще немного — маленькая роскошь, которую он мог себе позволить. Процедуру эту он не любил, а отпустить бороду у него не хватало смелости. Разные люди — разные понятия.

Он откинулся в своем вращающемся кресле и задумался — сперва о планете, которая была для них домом, потом о людях, пославших в космос корабль, а потом о людях, летящих в нем вместе с ним. Они, шестеро, впервые достигшие другой звезды, прошли подготовку, которая отнюдь не была односторонней. Трое из них (профессиональные космонавты) приобрели каждый быстрое и основательное знакомство с какой-нибудь областью науки, а вторая тройка (ученые) — все прослушали курс атомной техники или космонавигации. По две специальности на каждого. Кинрад подумал еще немного и исключил Бертелли.

Подготовка к полету этим не ограничивалась. Лысый старикан, заведовавший сумасшедшим домом, с видом знатока наставлял их по части космического этикета. Каждый, объяснял он, будет знать о своих товарищах только три вещи: имя, возраст и специальность. Никто не должен расспрашивать других или пытаться заглянуть хоть краем глаза в их прошлую жизнь. Когда жизнь человека неизвестна, говорил он, труднее найти повод для иррациональной вражды, придинок и оскорблений. У «ненаполненных» личностей меньше оснований вступать в конфликт. Было

условлено, что ни один из них не должен требовать откровенностей от другого.

Таким образом, Кинрад не мог узнать, почему Вейл чрезмерно раздражителен, а Марсден — нетерпеливей остальных. Он не располагал данными о прошлом своих товарищей — данными, которые помогли бы ему понять, почему Нильсен потенциально самый опасный, а Арам наименее устойчивый. И он не мог настаивать на том, чтобы Бертелли объяснил свое присутствие на корабле. До успешного завершения их миссии история каждого оставалась скрытой за плотным занавесом, сквозь который лишь иногда можно было разглядеть что-то малозначительное.

Прожив бок о бок с ними почти четыре года, он теперь знал их так, как не знал никого, по все же не так, как узнает в один прекрасный день на зеленых лугах Земли, когда полет станет прошлым, табу будет снято и они смогут делиться воспоминаниями.

Он любил размышлять об этих вещах, потому что у него возникла одна идея, которую он по возвращении собирался предложить вниманию специалистов. Идея касалась отбывающих пожизненное заключение. Он не верил, что все преступники глупцы. Наверняка многие из них — умные люди с тонкой душевной организацией, которых что-то столкнуло с пути, называемого прямым. У некоторых из них, когда они оказывались запертыми в четырех стенах, начинался приступ «чарли», они пытались вырваться любой ценой, бросались с кулаками на надзирателя — все, все, что угодно, лишь бы бежать — и вознаграждались одиночным заключением. Это все равно что лечить отравленного еще более сильной дозой отравившего его яда. Неправильно, неправильно, неправильно — он был твердо убежден в этом! В Кинраде определенно было что-то от реформатора.

На его рабочем столе всегда лежал аккуратно написанный им план лечения пожизненно осужденных, которым угрожает помешательство. Планом предусматривалось постоянное индивидуальное наблюдение и своевременное использование трудотерапии. Была ли в нем какая-либо практическая ценность, Кинрад не знал, но по крайней мере план был конструктивным. Это было его любимое детище. Пусть известные психологи рассмотрят его и проверят на практике. Если он окажется стоящим (а Кинрад был склонен думать, что так оно и будет), их полет принесет миру пользу еще в одном совершенно

непредвиденном отношении. Ради одного этого стоило его предпринять.

Тут его мысли были прерваны неожиданным появлением Нильсена, Вейла и Марсдена. За ними стояли, не входя, Арам и Бертелли. Кинрад выпрямился, не вставая, и проворчал:

— Прелестно! У пульта управления — ни души.

— Я включил автопилот, — сказал Марсен. — Он поддерживает корабль на курсе четыре-пять часов, вы это нам говорили сами.

— Верно. — Он обвел их лица пристальным взглядом. — Ну, так что же означает эта мрачная депутация?

— Кончается четвертый день, — сказал Нильсен. — Скоро начнется пятый. А мы по-прежнему ищем Солнце.

— И?..

— Я не уверен, что вы знаете, куда мы летим.

— А я уверен.

— Эго факт или увиливание?

Поднявшись на ноги, Кинрад сказал:

— Хорошо, допустим, я признаюсь, что мы летим вслепую — что вы тогда сделаете?

— На этот вопрос ответить легко, — сказал Нильсен тоном человека, худшие опасения которого оправдываются. — Когда умер Сэндерсон, мы выбрали в капитаны вас. Мы можем отменить решение и выбрать другого.

— А потом?

— Полетим к ближайшей звезде и постараемся найти планету, на которой мы могли бы жить.

— Ближайшая звезда — Солнце.

— Да, если мы идем правильным курсом, — сказал Нильсен.

Выдвинув один из ящиков стола, Кинрад извлек оттуда большой, свернутый в трубку лист бумаги и развернул его. Сетку мелких квадратиков, густо усыпанную крестиками и точками, пересекала пологой кривой жирная черная линия.

— Вот обратный курс. — Он поочередно ткнул пальцем в несколько крестов и точек. — Непосредственно наблюдая эти тела, мы в любой момент можем сказать, правилен ли наш курс. Есть только одно, чего мы не можем знать точно.

— Что? — спросил Вейл, хмуро глядя на карту.

— Нашу скорость. Ее можно измерить только с пятипроцентной погрешностью в ту или другую сторону. Я знаю, что наш курс правильный, но не знаю точно,

сколько мы прошли. Отсюда — четырехдневная задержка. Предупреждаю вас, что она может затянуться даже на десять дней.

Подчеркнуто внятно выговаривая каждое слово, Нильсен сказал:

— Когда мы летели с Земли, созвездия были сфотографированы. Мы только что накладывали на экран транспаранты — не сходится.

— Как же может сойтись? — В голосе Кипрада уже звучало раздражение. — Ведь мы не в той же точке. Обязательно будет периферическое смещение.

— Хотя мы и не получили настоящей штурманской подготовки, кое-что мы все же соображаем, — огрызнулся Нильсен. — Да, есть смещение. Но распространяется оно от центра, вовсе не совпадающего с розовой точкой, которая, по вашим словам, и есть Солнце. Центр этот находится примерно на полпути между розовой точкой и левым краем экрана.

И, презрительно фыркнув, он добавил:

— Интересно, что вы теперь скажете.

Кинрад тяжело вздохнул и провел пальцем по карте.

— Как вы видите, это кривая. Полет с Земли шел по сходной кривой, только выгнутой в противоположную сторону. Хвостовой фотообъектив сфокусирован по оси корабля. Пока мы были в нескольких тысячах миль от Земли, он был обращен в сторону Солнца, но чем дальше уходил корабль, тем больше отклонялась от этого направления его ось. Ко времени, когда мы пересекли орбиту Плутона, она указывала уже черт те куда.

Всматриваясь в карту, Нильсен задумался, а потом спросил:

— Если вы искренни: каков абсолютный предел задержки?

— Я уже сказал — десять дней.

— Прошла уже почти половина. Подождем, пока пройдет вторая.

— Спасибо! — с иронией сказал Кинрад.

— Тогда мы или убедимся, что видим Солнце, или назначим нового капитала и полетим к ближайшей звезде.

— Кому быть капитаном? Надо бросить жребий, — предложил стоявший сзади Бертелли. — Может, и мне удастся покомандовать кораблем!

— Сохрани нас бог! — воскликнул Марсен.

— Мы выберем того, кто лучше остальных подготовлен, — сказал Нильсен.

— Но ведь потому вы и выбрали Кинрада, — напомнил Бертелли.

— Возможно. Но теперь мы выберем кого-нибудь другого.

— Тогда я настаиваю, чтобы рассмотрели и мою кандидатуру. Все испортить один дурак может не хуже другого.

— Ну, гусь свинье не товарищ, — поспешил сказать Нильсен, в глубине души чувствуя, что все его усилия Бертелли незаметно сводит на нет. — Вот когда вы уши оттопырите, тут мне за вами не угнаться.

Он посмотрел на остальных:

— Правильно я говорю?

Они закивали улыбаясь. Это не был триумф Нильсена. Это был триумф кого-то другого. Просто потому, что они улыбались.

Вечером Бертелли устроил очередную пирушку. Впервые поводом для нее не послужил его день рождения. Каким-то образом он ухитрился отпраздновать за четыре года семь дней рождения, и почему-то никто не счел нужным их посчитать. Но лучше не перегибать палку, и на этот раз он объявил, что выдвигает на пост капитана свою кандидатуру и поэтому хочет снискать расположение избирателей — повод не хуже любого другого.

Они навели в столовой порядок, как делали уже раз двадцать. Раскупорили бутылку джипа, разлили поровну, с угрюмой сосредоточенностью выпили. Арам, как всегда, посвистал, имитируя птичье пение, и получил обычную порцию вежливых аплодисментов. Марсден прочитал наизусть какие-то стишки о карих глазах маленькой оборванки. Ко времени, когда оп кончил, Нильсен оттаял достаточно, чтобы пропеть своим глубоким, звучным басом две песни. Оп в этот раз обновил свой репертуар и был вознагражден за это громкими аплодисментами.

Правда, не было Вейгарта с его фокусами. И не принимали участия Докинс и Сэндерсон. Но, предвкушая выступление премьера, крохотная горстка зрителей па время забыла об отсутствующих.

Премьер? Бертелли, кто же еще! В этой области равных ему не было, и именно поэтому к такому недотепе, как он, притерпелись, стали снисходительны и, быть может, даже прониклись любовью.

Когда они устроили пирушку по случаю посадки на незнакомую планету, он почти целый час играл на гобое и проделывал с ним штуки, в возможность которых никто

из них раньше не поверил бы. Под конец он изобразил на нем столкновение автомобилей — тревожные гудки, звук удара и яростную перебранку водителей. Нильсен тогда от смеха чуть не скатился со своего сиденья.

Уже возвращаясь на Землю, они без какого-либо особенного повода устроили еще две-три такие вечеринки. Бертелли вынимал челюсти (отчего лицо его стало как резиновое) и с извивающимися как змеи руками показывал пантомиму.

В первый раз это был моряк, который, сойдя на берег, ищет себе подругу. Находит, преследует, пытается завязать знакомство, получает отпор, уговаривает, идет с ней на шоу, провожает домой, задерживается на пороге и получает синяк под глазом.

В следующий раз он сменил эту роль на противоположную — стал пухлой блондинкой, преследуемой жаждущим любви моряком. Без слов, но с жестами, позами и мимикой, по выразительности равными речи или даже превосходящими ее, он показал те же события, завершившиеся оплеухой на крыльце ее дома.

А на этот раз он стал застенчивым скульптором, ваяющим из невидимой глины статую Венеры Милосской. Создавая несуществующую фигуру, он робко гладил ее, нервно похлопывал, смущенно делал ее почти зримой. Он скатал два шара с пушечное ядро каждый, прилепнул, зажмурившись, ей на грудь, а потом скатал две пилюльки, прилепил их, стесняясь, и мягкими движениями пальцев придавал им нужную форму.

Двадцать веселых минут потребовалось Бертелли, чтобы почти вылепить ее, после чего он вдруг заметался в тревоге — стал осматривать горизонт, выглянул за дверь, заглянул под стол, дабы убедиться, что он наедине со статуей. Успокоенный наконец, но полный смущения, робко шагнул к Венере, попятился, снова набрался смелости, опять ее лишился; испытал судорожный приступ отваги, которая затем, в критический момент, снова его покинула.

Вейл давал ему забористые советы, а Нильсен, откинувшись, держался за ноющую диафрагму. Собравшись наконец с духом, Бертелли метнулся к невидимой статуе, упал, зацепившись одной ногой за другую, и проехался лицом по стальным листам пола. Нильсен задыхался. Рассвирепев, Бертелли вскочил на ноги, закинул нижнюю губу на кончик своего носа, подвигал ушами, похожими на уши летучей мыши, зажмурил глаза, ткнул в статую пальцем — и у Венеры появился пупок.

В последующие дни, вспоминая пантомиму, они то и дело обводили руками в воздухе невидимые округлости или тыкали друг друга пальцем в живот. Призрачная Венера веселила их до тех пор, пока не появилось наконец долгожданное Солнце.

К концу восьмого дня, во время очередной проверки, Марсден обнаружил, что при наложении одной из пленок на экран звезды на пленке, если принять за центр точку на два дюйма левее розового огонька, ставшего заметно ярче, совпадают со звездами на экране. Он издал вопль, услышав который все бросились к нему, в носовую часть корабля.

Это действительно было Солнце. Они смотрели на него, облизывали пересохшие от волнения губы, смотрели снова. Когда ты закупорен в бутылке, четыре года в звездных полях кажутся сорока годами. Один за другим заходили они в кабину Кинрада и, ликуя, перечитывали висящий на стене плакатик:

ТРИ — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО!

Дух экипажа поднялся до небывалых еще высот. Дрожание и гудение корабля перестали казаться назойливыми — теперь они вселяли надежду.

Новое бремя, совсем не похожее на прежнее, легло на издерганные нервы — бремя ожидания того, чему скоро предстояло свершиться. И наконец они услышали в приемнике чуть слышный голос Земли. Голос крепчал день ото дня, и вот он уже ревел из громкоговорителя, а передний иллюминатор закрыла половина планеты.

— С места, где я стою, я вижу океан лиц, обращенных к небу, — говорил диктор. — Не меньше полумиллиона людей собралось здесь в этот великий для человечества час. Теперь вы уже в любой момент можете услышать рев первого космического корабля, возвращающегося из полета к другой звезде. Нет слов, чтобы передать...

Хуже всего было сразу после приземления. Оглушительная музыка, гром приветствий. Рукопожатия, речи и позирование перед фоторепортерами, кинохроникой, телеобъективами, перед бесчисленным множеством любительских кинокамер.

Наконец все закончилось.

Кипрад попрощался с экипажем. Рука его ощутила померевшей мощную хватку Нильсена, мягкое и сердечное рукопожатие Арама, робкое, застенчивое прикосновение Бертелли.

Глядя в его печальные глаза, Кинрад сказал:

— Ну, теперь они как волки набросятся на все данные, которые мы для них собрали. Надеюсь, вы свою книгу кончили?

— Какую книгу?

— Ну-ну, меня не проведешь. — И он многозначительно подмигнул. — Вы официальный психолог, не так ли?

Ответа он ждать не стал. Забрав бортовые записи, отправился в управление.

Ничуть не изменившийся за четыре года, Бэнкрофт грузно уселся за свой стол и с виновато-иронической улыбкой сказал:

— Ты видишь перед собой толстяка, радующегося повышению но службе и более высокому жалованью.

— Поздравляю.

Кинрад свалил ему на стол свою ношу и тоже сел.

— И то и другое я с удовольствием отдал бы за молодость и приключения.

И, бросив полный жадного любопытства взгляд на принесенное Кинрадом, Бэнкрофт продолжал:

— Меня распирает от вопросов, но ответы заперты где-то среди этих страниц, а сам ты, наверно, спешишь домой.

— За мной должен прийти вертолет, если продерется через эту толкотню в воздухе. У меня есть еще минут двадцать.

— Тогда я ими воспользуюсь. — И Бэнкрофт, вперив в него испытующий взгляд, подался вперед. — Что ты можешь сказать о судьбе первых двух кораблей?

— Мы обыскали семь планет — никаких следов.

— Не сажались, не разбивались?

— Нет.

— Значит, полетели дальше?

— Очевидно.

— Почему, как ты думаешь?

Кинрад заколебался, потом сказал:

— Это всего лишь мое предположение. Я думаю, они потеряли несколько человек — несчастные случаи, болезни и тому подобное. А оставшихся было слишком мало, чтобы управлять кораблем.

Он помолчал и добавил:

— Мы сами потеряли троих.

— Плохо, — помрачнел Бэнкрофт. — Кого именно?

— Вейгарта, Докинса и Сэндерсона. Вейгарт умер еще па пути с Земли. Так и не удалось ему увидеть новое

Солнце, не говоря уж о своем. Сам прочтешь — там все записано. — Кивком головы он показал на бумаги. — Другие двое погибли на четвертой планете, которую я считаю непригодной для заселения.

— Почему?

— Под ее поверхностью живут большие прожорливые организмы. Слой почвы в шесть дюймов толщиной, а под ним — пустоты. Сэндерсон ходил, смотрел и вдруг провалился прямо в красную мокрую пасть размером в четыре на десять футов, которая сразу его поглотила. Докинс бросился на выручку и провалился в другую такую же.

Его сплетенные пальцы напряглись, и он закончил:

— Ничего нельзя было сделать — ничего.

— Жалко их, очень жалко. — Бэнкрофт грустно покачал головой. — А остальные планеты?

— Четыре непригодны. Две — как по заказу.

— Это уже что-то!

Бэнкрофт бросил взгляд на небольшие часы, стоявшие на его столе, и торопливо заговорил:

— Теперь о корабле. Твои докладные наверняка полны критических замечаний. Ничто не совершенно, даже лучшее из того, что нам удалось создать. Что ты считаешь самым главным его недостатком?

— Шум. Он сводит с ума. Его необходимо устранить.

— Не совсем, — возразил Бэнкрофт. — Мертвая тишина вселяет ужас.

— Если не совсем, то хотя бы частично, до переносимого уровня. Поживи с ним недельку, тогда поймешь.

— Прямо скажу — не хотелось бы. Эта проблема решается, хотя и медленно. На испытательном стенде уже новый, не такой шумный тип двигателя. Сам понимаешь, прогресс — как-никак четыре года прошло.

— Это самое необходимое, — сказал Кинрад.

— А что ты скажешь об экипаже? — спросил Бэнкрофт.

— Лучшего еще не было.

— Так мы и думали. В этот раз мы сняли с человечества сливки — на меньшее согласиться было нельзя. Ни один из них в своей области не знает себе равных.

— Бертелли тоже?

— Я знал, что ты о нем спросишь. — Бэнкрофт улыбнулся чему-то. — Хочешь, чтобы я рассказал?

— Я не могу настаивать, но, конечно, хотелось бы знать, зачем вы включили в экипаж балласт.

Бэнкрофт больше не улыбался.

— Мы потеряли два корабля. Один мог погибнуть случайно. Два не могли. Трудно поверить, чтобы столкновение с метеоритом или какое-нибудь другое событие вроде этого с вероятностью порядка один против миллиона могло произойти два раза подряд.

— Я тоже не верю.

— Мы потратили годы на изучение этой проблемы, — продолжал Бэнкрофт, — и каждый раз получали один и тот же ответ: дело не в корабле. Причина скрыта в человеческом факторе. Проводить четырехлетний эксперимент на живых людях мы не хотели, и нам оставалось только размышлять и строить догадки. И вот однажды, чисто случайно, мы набрели на путь, ведущий к решению проблемы.

— Каким образом?

— Мы сидели здесь и, наверно, в сотый или двухсотый раз ломали голову над проклятой проблемой. Вдруг эти часы остановились. — И он показал на часы, стоявшие перед ним. — Парень по имени Уиттейкер с научно-исследовательской станции космической медицины завел их, встряхнув, и они пошли. И тут его осенило.

Взяв часы со стола, Бэнкрофт поднял заднюю крышку и показал собеседнику механизм.

— Что ты видишь?

— Шестеренки и колесики.

— И больше ничего?

— Пару пружин.

— Ты уверен, что это все?

— Во всяком случае, все, что важно, — твердо ответил Кинрад.

— Так только кажется, — сказал Бэнкрофт. — Ты впал в ту же ошибку, в которую впали мы, когда снаряжали первые два корабля. Мы создавали огромные металлические часы, где шестеренками и колесиками были люди. Шестеренками и колесиками из плоти и крови, подобранными с такой же тщательностью, с какой подбирают детали к высокоточному хронометру. Но часы останавливались. Мы проглядели то, о чем внезапно догадался Уиттейкер.

— Что же это было?

— Немного смазки, — улыбнувшись, сказал Бэнкрофт.

— Смазки? — выпрямившись в кресле, удивленно спросил Кинрад.

— Упущение наше было вполне понятно. Мы, люди техники, живущие в эру техники, склонны думать, будто мы — все человечество. Но это совсем не так. Возможно, мы составляем значительную его часть, но не более. Не-

ременной принадлежностью цивилизации являются и другие — домохозяйка, водитель такси, продавщица, почтальон, медсестра. Цивилизация была бы настоящим адом, если бы не было мясника, булочника, полицейского, а были бы только люди, нажимающие на кнопки компьютеров. Мы получили урок, в котором некоторые из нас нуждались.

— Что-то в этом есть, — признал Кинрад, — хотя я не знаю, что именно.

— Перед нами стояла и другая проблема, — продолжал Бэнкрофт. — Что может служить смазкой для людей — колесиков и шестеренок? Ответ: только люди. Какие люди выполняют роль смазки по своей профессии?

— И тогда вы выкопали Бертелли?

— Да. Его семья была смазкой для двадцати поколений. Он — носитель великой традиции и мировая знаменитость.

— Никогда о нем не слышал. Он летел под чужим именем?

— Под своим собственным.

— Я его не узнал, и никто из остальных тоже — какая же он знаменитость? Может, ему сделали пластическую операцию?

— Никакой операции не потребовалось.

Поднявшись, Бэнкрофт вразвалку подошел к шкафу, открыл его, порылся немного, нашел большую блестящую фотографию и протянул ее Кинраду:

— Он просто умылся.

Взяв фото в руки, Кинрад уставился на белое как мел лицо. Он не отрываясь рассматривал колпак, нахлобученный на высокий фальшивый череп, огромные намалеванные брови, выгнутые в вечном изумлении, красные ромбы, нарисованные вокруг печальных глаз, гротескный нос в форме луковицы, малиновые губы от уха до уха, пышные кружевные брыжи вокруг шеи.

— Коко!

— Двадцатый Коко, осчастлививший своим появлением этот мир, — подтвердил Бэнкрофт.

Взгляд Кинрада снова вернулся к фотографии.

— Можно ее взять?

— Конечно! Я всегда могу достать хоть тысячу таких фото.

Кинрад вышел из управления как раз вовремя, чтобы увидеть предмет своих раздумий преследующим наземное такси.

Вокруг руки Бертелли мячиком плясала сумка с наспех запиханными в нее вещами, а сам он двигался шаржированно развинченными скачками, высоко поднимая ноги в больших тяжелых ботинках. Длинная шея вытянулась вперед, а лицо было уморительно печальное.

Много раз Кинрад задумывался, чувствуя в позах Бертелли что-то смутно знакомое. Теперь, зная то, что он знал, Кинрад понял, что видит классический бег циркового клоуна, что-то ищущего на арене. Если бы Бертелли вдобавок испуганно оглянулся через плечо на скелет, во-лочащийся за ним на длинной бечевке, картина была бы совсем полной.

Бертелли догнал такси, бессмысленно улыбнулся и, забросив в машину сумку, влез сам. Такси рванулось с места и умчалось, извергая две одинаковые струи газа из реактивных двигателей под корпусом.

Кинрад стоял и смотрел невидящим взглядом на небо и на обелиски космических кораблей. А внутренним взором он обозревал сейчас весь мир и видел его как гигантскую сцену, на которой каждый мужчина, женщина и ребенок играет необыкновенно прекрасную и необходимую для всех роль.

И, доводя до абсурда ненависть, себялюбие и рознь, над актерами царит, связывая их узами смеха, клоун.

Если бы Кинраду пришлось набирать экипаж, он не мог бы выбрать лучшего психолога, чем Бертелли.

Об авторах

Ульрих Бехер (Ulrich Becher, род. 1910) — немецкий писатель-антифашист, книги которого пользуются популярностью во многих странах. Бехер известен и как романист, и как автор новелл, и как драматург. Наибольшую известность получили его новелла «В начале пятого» и роман «Охота на сусликов» («Murmeljagd»), отрывок из которого («Гиакса и Гиакса») публикуется здесь.

Конрад Эйкен (Conrad Aiken, 1889—1973) — современный американский писатель, известный в первую очередь как новеллист. Рассказ «Два викинга два» («A pair of vikings») взят из полного собрания новелл К. Эйкена («The collected short stories of Conrad Aiken», 1960).

Ярослав Ивашкевич (Jaroslaw Iwaszkiewicz, род. 1894) — крупнейший польский писатель, председатель Союза писателей Польской Народной Республики, лауреат нескольких Государственных премий ПНР. Я. Ивашкевич — автор многочисленных романов, рассказов и сборников стихов, пользующихся заслуженной популярностью как на родине писателя, так и за ее пределами. Центральное место в творчестве Ивашкевича занимает монументальный роман «Честь и слава» (1956—1962). Рассказ «Зигфрид» («Ziegfried») взят из собрания рассказов Я. Ивашкевича «Opowiadania. 1918—1953».

Агапито Хоакин (Agapito Joaquin) — современный филиппинский писатель, пишущий на тагальском языке. Рассказ «Сын акробата» («Anak ng sirkero») взят из сборника рассказов А. Хоакина «Tulay na buhangin» (1965).

Джованни Арпино (Giovanni Arpino, род. 1927) — известный итальянский писатель, автор многих романов и рассказов. Его роман «Тень над холмами» опубликован на русском языке в журнале «Иностранная литература». Рассказ «Лилипутка Габи» («Gaby la nana») взят из его сборника «La babbina e altre storie» (1967).

Элберт Карр (Albert Carr, род. 1902) — американский писатель. Рассказ «Похищение кошки» («A case of catnapping») взят из ежегодника детективных рассказов «Ellery Queen's Awards» (1956).

Гилберт Кит Честертон (Gilbert Keith Chesterton, 1874—1936) — известный английский писатель, критик и журналист. Романы Честертона и серия новелл о патере Брауне построены на острой, занимательной интриге, изобилуют парадоксами, часто представляют собой своеобразные памфлеты против правящих кругов Англии. Рассказ «Отсутствие м-ра Кана» («The absence of Mr Glass») взят из сборника «Father Brown Omnibus» (1935).

Марсель Эме (Marcel Aymé, 1902—1967) — французский писатель старшего поколения, вошел во французскую литературу как автор романов, драматург и новеллист. Самое значительное место в его творчестве занимают новеллы — они составляют шесть сборников. Рассказ «Лилипут» («Le nain») взят из сборника с тем же названием, вышедшего в 1934 г.

Стивен Винсент Бене (Stephen Vincent Benet, 1898—1943) — американский писатель первой половины XX в. Мастер новеллы, которая у него часто пронизана юмором и фантастична по сюжету. Рассказ «Ангел был чистокровным янки» («The angel was a Yankee») взят из сборника рассказов С.-В. Бене «The last circle» (1948).

Ивар Лу-Юханссон (Ivar Lo-Johansson, род. 1901) — один из крупнейших писателей и публицистов современной Швеции. Перу Лу-Юханссона принадлежит несколько романов (в основном о жизни людей труда), множество рассказов, статей. Рассказ «Лилипут и королева трапедии» («Dvarg och primadonna») взят из недавно вышедшего сборника его рассказов «Passionerna. Alskog».

Вольфганг Хильдесхаймер (Wolfgang Hildesheimer, род. 1916) — западногерманский писатель, автор романов и рассказов. Некоторые произведения Хильдесхаймера уже знакомы советскому читателю. Рассказ «Почему я стал соловьем» («Warum ich bin in Nachtigall gewandelt») был напечатан в сборнике рассказов В. Хильдесхаймера «Lieblose Legenden» (1952).

Лазар Добрич (1880—1971) — всемирно известный болгарский цирковой актер, впервые осуществивший знаменитый номер «лупинг». «Трапедия смерти» — отрывок из опубликованной посмертно автобиографии Л. Добрича «Смертельный прыжок» («Смъртният скок», София, 1971).

Джордж Гаррет (George Garrett), род. 1929) — современный американский писатель. Его перу принадлежат сборники стихов «Повелитель гор», «Спящая цыганка», романы «Конченный человек», «Кто же враг?», «Нож Авраама», «Сэр Слоб и принцесса», сборники рассказов «Среди колючек» (1961), «Венок для Гарибальди» (1969) и др. Джордж Гаррет — лауреат нескольких литературных премий. Он ведет отдел поэзии в журнале «Трансатлантик ревью» и преподает английскую литературу в Холлинс-колледже. Рассказы «Прыжок» (в оригинале «An evening” performance», то есть «Вечернее представление») и «Лев» («Lion») взяты из сборника рассказов Дж. Гаррета «In the briar patch» (1961).

Владимир Михал (Vladimír Michal), род. 1925) — чешский писатель. Первые его рассказы появляются в газетах и журналах вскоре после 1945 г. Рассказы «Медведь в оркестре» («Medved v orchestru»), «Кобыла на трапедии» («Kobyla na hradze»), «Под градом ножей» («V desti nozu»), «Безмолвный кларнет» («Klarinetove ticho») и «Индус и его змеиная семейка» («Hindusova nadi rodihka») взяты из его сборника коротких цирковых новелл «Svetaci», вышедшего в 1958 г. и переизданного в 1969 г.

Элери Куин (Ellery Quinn) — коллективный псевдоним двоюродных братьев Фредерика Даниея и Манфреда Б. Ли (ныне покойного). Под этим псевдонимом Ф. Даннеем и М.-Б. Ли написано множество романов и рассказов, прославивших их как мастеров детективного жанра. Романы обычно написаны от лица Элери Куина — частного следователя, образованного и проницательного человека, который помогает отцу, инспектору нью-йоркской полиции Ричарду Куину, распутывать сложные криминальные загадки. Рассказ «Смерть акробатки» («The hanging acrobat») взят из сборника «Ellery Queen's Challenge to the Reader» (1940).

Франц Фюман (Franz Fühmann), род. 1922) — известный немецкий прозаик, поэт-лирик и переводчик (ГДР), лауреат премии Генриха Манна (1956) и Национальной премии ГДР (1957). Его рассказы последних лет «Еврейский автомобиль» («Das Judenauto», 1962), «Богемия у моря» («Bohmen am Meer», 1962), сборник рассказов

«Царь Эдип» («Konig Odipus», 1966) отличаются яркой антифашистской направленностью. Советский читатель знаком с его творчеством по сборнику рассказов «Суд божий» (М., «Молодая гвардия», 1966). Рассказ «Жонглер в кино, или Остров мечты» взят из одноименного сборника («Der Jongleur im Kino, oder Die Insel der Traume», 1970).

Филлис Боттом (Phyllis Bottome, 1884—1963) — английская писательница первой половины XX столетия, автор многих романов и рассказов, пользовавшихся широкой популярностью. Рассказ «Кусочек тюля» («A little piece of tulle») взят из ее сборника «Innocence and experience» (1934).

Говард Мйер (Howard Meier) — американский прозаик, автор романов, пьес, критических статей и рассказов, активно работавший в конце 40-х — начале 50-х гг. нашего столетия. Рассказ «За стеклом аквариума» («The world outside») взят из ежегодника лучших американских рассказов «Best American short stories» (1950).

Бернар Клавель (Bernard Clavel, род. 1923) — французский писатель, автор романов и рассказов, часть которых переведена на русский язык. Рассказ «Хлыст» («Le fouet») взят из его сборника «L'espion aux yeux verts» (1969).

Томас Вулф (Thomas Clayton Wolfe, 1900—1938) — известный американский писатель. В 1929 г. вышел в свет его первый роман — «Оглянись на отчий дом, ангел», принесший ему большой успех и признание. Второй роман, «О времени и реке», и сборник повестей и рассказов «От смерти к утру» появились в 1935 г.; посмертно были изданы романы «Паутина и скала» (1939), «Домой не вернешься» (1940), несколько сборников новелл и незаконченный роман. Романы и новеллы Вулфа во многом автобиографичны: рассказывая историю жизни одной семьи, автор повествует о социальных потрясениях своего времени, воссоздает широкое полотно жизни Америки. Публикуемый здесь рассказ Т. Вулфа «Цирк на рассвете» («Circus at dawn») взят из сборника «The portable Thomas Wolfe» (1946).

Станислав Бубеничек (St. Bubenicek, род. 1920) — чешский писатель и журналист. Выпустил книги «В старой риге», «Рассказы бродяги» и др. Рассказ «Павиан Ферда» («Pavian Ferda») взят из журнала «Советская эстрада и цирк».

Абраам Вальделомар (Abraham Valdelomar, 1888—1919) — перуанский поэт, журналист, драматург, мастер рассказа. Одним из пер-

вых обратился к тематике, связанной с жизнью средних классов перуанской провинции. Автор широко известного сборника новелл «Кабальеро Кармело» (1918). Произведения Вальделомара неизменно входят в состав антологий перуанских рассказов. Рассказ «Полет кондора» («El vuelo de los condores») взят из сборника «Antología del cuento peruano» (1963).

Луиза Спитцер (Louise Spitzer) — американская писательница. Рассказ «Странные люди» («Peculiar ones») был напечатан в антологии рассказов молодых американских писателей «Writers for tomorrow» (1948).

Вильгельм Буш (Wilhelm M. Busch, род. 1909) — западногерманский журналист и художник, в прошлом — артист цирка. «Любимый цирк» («Geliebter Zirkus», 1969), вошедший в настоящий сборник, издан в ФРГ отдельной книгой с иллюстрациями автора.

Эрик Фрэнк Рассел (Eric Frank Russell, род. 1905) — один из виднейших английских научных фантастов, автор многих романов и рассказов (с некоторыми из них советский читатель уже знаком). Рассказ «Немного смазки» («A little oil») взят из его сборника «Deep space» (1956).

Содержание

<i>Шар на ладони.</i>	5
Ульрих Бехер. <i>Гуакса и Гуакса.</i>	9
Перевод с немецкого И. Каринцевой	
Конрад Эйкен. <i>Два викинга два.</i>	33
Перевод с английского И. Гуровой	
Ярослав Ивашкевич. <i>Зигфрид.</i>	47
Перевод с польского К. Старосельской	
Агапито Хоакин. <i>Сын акробата.</i>	61
Перевод с тагальского И. Подберезского	
Джованни Арпино. <i>Лилипутка Габриэлла.</i>	60
Перевод с итальянского Л. Вершинина	
Элберт Карр. <i>Похищение кошки.</i>	75
Перевод с английского Е. Коротковой	
Г.-К. Честертон. <i>Отсутствие м-ра Кана.</i>	90
Перевод с английского Н. Трауберг	
Марсель Эме. <i>Лилипут.</i>	101
Перевод с французского Л. Завьяловой	
Стивен Винсент Бене. <i>Ангел был чистокровным янки.</i>	114
Перевод с английского В. Хинкиса	
Ивар Лу-Юханссон. <i>Лилипут и королева трапеции.</i>	127
Перевод со шведского И. Бочкаревой	
Лазар Добрич. <i>Трапеция смерти.</i>	141
Перевод с болгарского Е. Фалькович	
Вольфганг Хильдесхаймер. <i>Почему я стал соловьем.</i>	149
Перевод с немецкого Р. Рыбкина	
Джордж Гаррет. <i>Прыжок.</i>	154
Перевод с английского Ю. Жуковой	
Джордж Гаррет. <i>Лев.</i>	164
Перевод с английского Ю. Жуковой	
Владимир Михал. <i>Под градом ножей.</i>	176
Перевод с чешского Е. Аникст	
Владимир Михал. <i>Кобыла на трапеции.</i>	179
Перевод с чешского Е. Аникст	
Владимир Михал. <i>Безмолвный кларнет.</i>	184
Перевод с чешского Е. Аникст	
Владимир Михал. <i>Индус и его змеиная семейка.</i>	188
Перевод с чешского Л. Минц	

Элсри Куин. <i>Смерть акробатки.</i>	193
Перевод с английского Л. Беспаловой	
Франц Фюман. <i>Жонглер в кино, или Остров мечты.</i>	215
Перевод с немецкого К. Ракичиной	
Филлис БОТТОМ. <i>Кусочек тюля.</i>	229
Перевод с английского Т. Луковниковой	
Говард Майер. <i>За стеклом аквариума.</i>	243
Перевод с английского М. Островер	
Бернар Клавель. <i>Хлыст.</i>	250
Перевод с французского Н. Кудрявцевой	
Томас Вулф. <i>Цирк на рассвете.</i>	257
Перевод с английского Л. Васильевой	
Станислав Бубеничек. <i>Павиан Ферда.</i>	263
Перевод с чешского Е. Аникст	
Абраам Вальделомар. <i>«Полет кондора».</i>	270
Перевод с испанского Э. Брагинской	
Луиза Спитцер. <i>Странные люди.</i>	280
Перевод с английского Т. Ротенберг	
Вильгельм Буш. <i>Любимый цирк.</i>	291
Перевод с немецкого Ю. Богатырева	
Эрик Фрэнк Рассел. <i>Немного смазки.</i>	322
Перевод с английского Р. Рыбкина	
Об авторах	345

Любимый цирк

Рассказы
зарубежных
писателей

Составитель Ростислав Леонидович Рыбкин

Редакторы *С. А. Николаева, Т. Н. Петрунина*

Художник *С. М. Бархин*

Художественный редактор *Ю. А. Марков*

Технический редактор *А. Н. Кузнецова*

Корректоры *Т. В. Кудрявцева и А. А. Паранюшкина*

Сдано в набор 11/IX 1973 г. Подписано к печати 26/Ш 1974 г. Формат издания 84х108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 17,811. Изд. № 1146. Тираж 30 000 экз. Заказ № 645. Цена 1 р. 8 к. Издательство «Искусство», 103051, Москва, Цветной бульвар, 25. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109